



# СОВРЕМЕНИК

SOVREMENNİK

No. 45-46

ТОРОНТО  
1980

# СОВРЕМЕННОК

ЖУРНАЛ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И  
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЫСЛИ



Благодарю Тебя, Творец, благодарю,  
Что мы не скованы лжемудростию узкой,  
Что с гордостью я всем сказать могу, я — русский.  
Что пламенем одним с Россией я горю.

*Аполлон Майков*

1980

№ 45 - 46

1980

---

Торонто

Канада

# СОВРЕМЕННОК

ОСНОВАН ПРОФ. Л. И. СТРАХОВСКИМ

в 1960 г.

Главный Редактор с 1963 по 1975 гг. – В.Л.Савин.  
Главный Редактор с 1975 по 1979 гг. – Л.Е.Фабрициус.

Журнал издает Редакционная коллегия

Главный Редактор – А.Г. Гидони  
Ответственный Секретарь – Г.А. Румянцева

*Subscription prices:*

**For institutions – \$30.00**

**Individual subscriptions – \$20.00 for 4 issues.**

**Senior citizens – \$15.00 per year.**

**Single copy – from \$7.00 to \$10.00**

**Special issue – \$14.00**

*Copyright © 1980 by The 'Sovremennik' Publishing Ass'n Inc.*

Sovremennik Publishing Ass'n Inc.

SOVREMENNİK  
P.O. Box 2217, Station 'C'  
Downsview, Ontario  
CANADA M3N 2S9

# Sovremennik

## CONTENTS

Contents in English .....	3
Summary .....	5

### *On the occasion of the twentieth anniversary of founding of Sovremennik*

Galina Rumiantseva. Twenty years later.....	6
Lev Fabricius. In memory of our predecessors .....	11

### *Creative prose, Essays, Criticism, Poetry and Translations*

Nina Muravina. New roads and old quarrels .....	14
V. Pereleshin. Poem without topic, Song number six .....	35
A. Guidoni. Joseph and his non-brothers, Novel .....	65
M. Volkov. Two poems .....	99
G. Shakhnovich. Passport for Victor Laurier. Pamphlet .....	101
G. Rumiantseva. Poems .....	115
P. Petrov. Karl and Ingrid. Novelette .....	119
E. Vertlib. Two poems .....	124
D. Panin. Four in one .....	125
A. Rostovskiy. Two poems .....	132
P. Boldyrev. Duties of Russian intelligentsia .....	133
G. Ryskin. From 'Diary from communal quarters' Poems .....	148
Interview with Edward Limonov .....	151
G. Panin. Acrostic .....	160
E. Vertlib. What makes people alive and what makes them dead. ....	161
P. Borisov. American classics. Sonnet .....	169
S. Tol. Poem .....	169

### *Literary Heritage*

F. Kafka. Lecture in the Academy of Sciences. Translated from German by T. Prokopova .....	170
T. Filonovskaya. Life after life .....	177
Translations from Thomas Hardy and Alfred de Musset by Rosa Krasilshchikova .....	181
E. Karmazin. Non-fabulous kingdom .....	183
A. Ryvin. Execution of Khlebnikov .....	187



## *Historiography and Philosophy*

A. Druzhinin. Technics of philosophical lie .....	190
P. Boldyrev. The lone giant .....	215
T. Hunchak. Pan-Slavism or Pan-Russianism .....	221

### *Canada*

O. Bukov. Changes in Canada .....	228
Chronicle notes .....	231
A. Guidoni. History of philosophy in Canada. A chapter from the book .....	232
A. Guzman. Twists of Canadian gymnastics .....	241

### *Forum*

D. Panin. Evaluations differ. ....	243
Editor's Notes .....	246
Rebuttal .....	249
Alfred Vedom. To argue sincerely .....	251
V. Rudinskiy. Reply to Nefedov .....	255
Barukh Shilkrot. Jungles of freedom .....	259
O. B. On the skids .....	261
K. Akula. When pretensions surpass knowledge.....	263
A. Udodov. Soviet-Chinese war? .....	266
M. Armalinskiy. Sexual counter-revolution in the U.S. ....	270
Statement by the Association for the Liberation of Ukraine .....	279
Chronicle .....	281

### *Bibliography*

P. Boldyrev, V. Tiemin, V. Rudinskiy, K. Akula, George Guidoni	
M. Bely .....	284- 315
Notes and announcements .....	316

### *Appendix*

Letter to a Russian Friend .....	321
Contents in Russian .....	341

## S U M M A R Y

Volume 45-46 of *Sovremennik* – the jubilee issue – marks 20 years of its existence, and is headed with articles written by its secretary-treasurer Galina Rumiantseva and member of editorial board (formerly editor-in-chief from 1975 to 1979) Lev Fabricius.

The prose, poetry and features contain the following: final chapters of Alexander Guidoni's novel *Joseph and his non-brothers*, picturing last months of Stalin's rule, with the background of a plot organized against him which resulted in his murder. Book of essays by N. Muravina – *New trails and old polemics* – presents a particular interest for the reader, filled, as it is, with speculations on Russia's destiny and on Russian dissidents and emigrants.

Politically razor-sharp, and written with a great talent, a pamphlet *Passport for Victor Laurier* by G. Shakhnovich condemns the state anti-Semitism in the USSR.

This issue contains V. Pereleshin's sixth song of his *Poems without topic*. There is poetry of G. Panin, A. Rostovskiy, G. Rumiantseva, S. Tol and others.

Different chapters of the magazine contain literary, political and philosophical articles by K. Akula, P. Boldyrev, A. Druzhinin, E. Vertlib, D. Panin, E. Karmazin, A. Udodov, T. Hunczak and others.

Chapter of Literary Heritage contains translation from German of Franz Kafka's story by T. Prokopova.

Chapter *Canada* includes a review of Canadian political reality.

A. Guzman, in his sport article, looks on the progress of gymnastics in Canada.

A. Guidoni in his article devotes attention to *History of philosophy in Canada*.

Chapter on bibliography presents material by K. Akula, P. Boldyrev, M. Beley, V. Rudinskiy, V. Temin and others.

*Forum* of the present issue includes a number of polemical material.

*Chronicle* contains news on events in connection with condemnation of Soviets' Afghanistan invasion and violation of human rights within the USSR.

Of great interest is a special supplement, entitled *Letter to a Russian Friend*. The text of this document which has reached the West through the channels of Byelorussian Samizdat is a testimony of Byelorussian national resistance and ideological struggle of Byelorussian patriots against the politics of Russification and Moscow colonialism.

Finally, the editors of *Sovremennik* present the idea of candidacy of outstanding Ukrainian writer Ulas Samchuk (editorial board member) to receive the Noble Prize for Literature in 1980.

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА

### "ДВА/ЩАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"...

Избрав заголовок "под /Дюма", я не хочу создавать впечатление, будто история журнала "Современник" посит романтически-авантюрный характер. Однако свой интерес и свою глубокую поучительность эта история имеет. В ней отразились проблемы и комплексы эмигрантской литературной и общественно-политической жизни; на людей, которые сопричастны "Современнику", легла печать приобщения к достаточно большому и культурно-полезному делу, основание коего было заслугой профессора Л.И.Страховского. Именно он, работая в Торонтском университете, занимаясь вопросами исследования русской истории и литературы, создал в 1960 году журнал "Современник".

Первые его номера (представляющие ныне библиографическую редкость) — это маленькие каное в сравнении с крейсерами — толстыми выпусками нынешнего "Современника". Ни разнообразием отделов и рубрик, ни слишком большим количеством авторов первоначальный "Современник" похвастаться не мог. Не выдерживалась регулярность его выхода. Однако сам факт основания журнала, стремление пропагандировать русскую культуру и национальную мысль, были событиями большого значения. Поэтому ныне мы с благодарностью вспоминаем имена создателя "Современника" профессора Л.И.Страховского и продолжившего его дело на посту редактора В.Л.Савина.

Однако отметив это, мы должны честно признать, что с самого начала в основании "Современника", именно как журнала под столь *обязывающим* названием, таилась некоторая двусмысленность. Сам профессор Л.И.Страховский — бывший выпускник Царскосельского Лицея и уже по одному этому ревнитель пушкинских традиций, понимал эти традиции в ограниченно-старомодном смысле. Подзаголовок, данный "Современнику", — "журнал русской культуры и национальной мысли", не мог оправдать себя на путях стерильной, замкнутой в себе "литературности" и "аполитичности". Ссылки на авторитет Пушкина в данном аспекте были исторически двусмысленны и неверны фактически. Ведь Пушкин, создав свой "Современник" в XIX веке, лишь по цензурным соображениям был

вынужден отграничивать себя от "политики". Это прекрасно понимали еще в то время. Недаром, когда после смерти Пушкина, редактором журнала стал безликий Плетнев, то в письме к нему Гоголь отчитал его именно за "аполитизм". И неслучайно всего ярче заиграл "Современник", став лучшим русским журналом прошлого века, когда его руководителем сделался Н.А.Некрасов, придавший ему актуальность, боевой полемический задор, в сочетании с высокой художественностью. Это и было наиболее верным прочтением смысла "пушкинской традиции".

Торонтский "Современник" в первые годы существования явно не оправдывал надежд, связанных с его гордым именем. Приданные ему старомодность и наивная "салонность" суживали горизонты журнала, круг авторов и читателей. Чисто журналистская неопытность сказывалась на плохой верстке материалов, бессистемности в их подаче, отсутствии строгих вкусовых критериев при их выборе. Конечно, среди авторов "Современника" были талантливые люди и даже авторы с большим литературным авторитетом. Достаточно отметить публикации в журнале Бориса Зайцева, весьма интересных писателей Юрия Трубецкого и Владимира Дукельского, социолога и философа Анатолия Шпаковского, блестящего литературоведа К.Вильчковского. Несомненной заслугой "Современника" было опубликование на его страницах произведений З.Н.Гиппиус, прежде не печатавшихся. Однако, наряду с этим, помещались и вещи дилетантские; весьма слабым был критический отдел, направлявшийся таким сомнительным критиком, как Ю.Терапиано. Сам Л.И.Страховский (печатавшийся и под псевдонимом Леонид Чацкий) был, к сожалению, средним стихотворцем и прозаиком. Отдельные материалы попадали в печать по соображениям, далеким от принципиальных, и это порой принимало скандальную окраску. Например, в "Современнике", № 11 за 1965 год, была напечатана статья Н.Косачевой "Природа в произведениях Чехова" (стр. 68-76), а в номере 16 за 1967 год – ее же статья "Реализм в романе Пушкина "Евгений Онегин" (стр. 86-104) – вещи, стоявшие на уровне плохого школьного сочинения. Когда, перелистывая подшивку старых номеров "Современника", натыкаешься, видя "перлы" Косачевой, на блестящую статью К.Вильчковского о Гоголе ("Современник", № 6, 1962, стр. 43-56) или солидное критико-библиографическое исследование профессора В.Седуро "Достоевский в послереволюционной эмигрантской критике" (печаталось в нескольких номерах журнала), начинаешь поражаться тому, каким шатким было критическое чутье редакции, путавшей плевелы с шедеврами. Разумеется, ни один журнал не застрахован от появления на его страницах слабых материалов, однако в "Современнике" это объяснялось не случайностью, а господством духа "радения родному человечку", эмигрантских интриг, отсутствием подлинной принципиальности. Всё это привело к такому упадку, что в середине 70-х годов встал вопрос о закрытии журнала.

Ситуация резко изменилась, однако, после прихода в "Современник"

новых людей и — добавим — *новых идей* тоже. К 1975-76 годам относится внутриредакционный кризис, когда старые члены Редколлегии Э.И.Боброва и Г.Н.Жекулин, упорно сопротивляясь принципиальным изменениям смешной, порочно-"аполитичной" линии журнала, поставили себя вне "Современника". Не желая заниматься серьезной практической работой, они предпочитали "оппозировать" всему новому. Так, в штыки встретили они предложение о создании в журнале специального отдела "Форум", где давалась возможность свободно дискутировать на самые различные темы литературного, политического и социального характера. Они сопротивлялись демократической и антикоммунистической ориентации журнала и, объективно говоря, позиция Г.Н.Жекулина и Э.И.Бобровой была в этом плане *прокоммунистической*. Только один из прежних членов Редколлегии — Л.Е.Фабрициус, сумел правильно понять необходимость изменений и отмежеваться от былых ошибочных установок на "аполитичность" и псевдосалонную замкнутость. Можно смело сказать, что после того, как журнал распрощался с г-ном Жекулиным и с г-жей Бобровой, а также с некоторыми из безнадежно отставших от жизни сотрудников, началось его возрождение как журнала, продолжающего в условиях Зарубежья лучшие традиции пушкинско-некрасовского "Современника".

Журнал вырос как в количественном, так и в качественном отношении. Он стал *современным* — в полном соответствии со своим заголовком. Он начал отражать "национальную мысль" не на уровне дежурных восхвалений "русских березок", а на подлинно большом дыхании, сочетающем любовь к России с полезным критицизмом в адрес темных сторон русского прошлого и советского настоящего. Решительно борясь с шовинизмом, "Современник" стал первым из толстых эмигрантских журналов на русском языке, который последовательно проводит курс на дружбу со всеми угнетенными коммунизмом народами, курс, направленный на развал московско-советской колониальной империи. На этом пути мы приобрели много друзей среди украинцев, белорусов, прибалтийцев и представителей других народностей, и заслужили почетную для нас ненависть шовинистов. О нашей позиции в борьбе с этими последними можно сказать словами поэта Алексея Михайловича Жемчужникова:

"... Те мне, Русь, противны люди,  
Те из твоих отборных чад,  
Что, колотя в пустые груди,  
Всё о любви к тебе кричат.

Противно в них соединенье  
Гордыни с низостью в борьбе  
И к русским гражданам презренье  
С подобострастием к тебе.

Противны затхлость их понятий,  
Шумиха фразы на лету  
И вид их пламенных объятий,  
Всегда простертых в пустоту.

И отвращения и злобы  
Исполнен к ним я с давних лет,  
Они — "повапленные" гробы...  
Лишь настоящее прошло бы,  
А там — им будущего нет..."

Мы исходили и исходим из уверенности, что истинный патриотизм предполагает не слепое обожание всего "отечественного", но и критику "отечественных грехов"; мы, говоря словами Бердяева, считаем, что "русская идея шире русской народности". В настоящее время мы также не мыслим себе подлинного патриотизма без борьбы против безбожной коммунистической идеологии.

Издание "толстого" журнала в условиях эмиграции — дело весьма трудное. Оно требует самоотверженности и самоотдачи, которые под силу далеко не всем. Неудивительно, что люди, лишенные принципиальности и привычки к напряженной литературной работе, постепенно отсеиваются. Так было некогда с Жекулиным и Бобровой; так случилось сравнительно недавно с г-ном Г.Галиным. Точно такое же произошло и с некоторыми из лихих авторов "третьей волны", кто — по советской привычке — хотел бы видеть в журнале элементарную "кормушку", в самом прямом, материально-грубом значении этого слова. Таким людям не по пути с "Современником", а "Современнику" не по пути с ними.

Зато тем более ценим мы совместную работу на благо журнала наших, сравнительно новых, но высоко полезных авторов и членов Редакции. Очень много для "Современника" сделал и делает выдающийся белорусский писатель, стойкий антикоммунист Кастусь Акула; в работу Редакции включился известнейший украинский писатель, произведения которого составляют эпоху в украинской литературе, — Улас Самчук; активно сотрудничает в "Современнике" талантливый социолог, философ и общественный деятель Петр Болдырев. В результате журнал "Современник" расширил число своих отделов, приобрел по-настоящему боевое лицо, дал дорогу многим новым литературным именам, не забывая и наших "старых" авторов. Стремясь к сочетанию принципиальности и толерантного подхода к чужим мнениям, "Современник" стремится печатать как можно больше материалов дискуссионного характера, пробуждающих критическую мысль и умение рассматривать проблемы с разных сторон. Однако, как несколько раз подчеркивал в своих выступлениях редактор "Современника" А.Гидони, хотя мы пытаемся *отражать* на страницах журнала

различные точки зрения, бытующие в эмиграции, *выражаем* мы нашу принципиальную позицию в первую очередь. Вот почему особенно беспочвенными являются попытки некоторых эмигрантских критиков обвинить журнал во "всеядности". Широта и принципиальность взгляда — вещи, не только совместимые, но и должны быть совмещенными. Мы рады, что "Современник" это доказывает на практике.

Ныне, перейдя через двадцатилетний рубеж существования нашего журнала, мы с чувством оптимизма смотрим вперед. Несмотря на все трудности, мы верим, что миссия служения русской идее и культуре на стезе демократических принципов оправдана как в перспективе истории, так и в настоящем. Мы верим также, что наши авторы, подписчики и читатели умножат свои усилия в поддержке журнала, который уже сделал немало полезного и который — будем надеяться! — сделает еще больше в будущем. Итак — навстречу юбилею *тридцатилетнему!*

Галина Румянцева,  
Ответственный Секретарь "Современника".

## ПАМЯТИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

В марте этого года исполнилось двадцатилетие со дня выхода первого номера "Современника". За это время смерть унесла моих двух предшественников на посту редактора — профессора Леонида Ивановича Страховского и Валерьяна Лукьяновича Савина.

Их заслуги перед журналом были в свое время отмечены на страницах "Современника", и в этой статье я стремлюсь не столько сохранить для будущего их чисто литературную деятельность, сколько пытаюсь вызвать их жизненный облик.

Идея создания русского литературного журнала возникла у профессора Страховского в 1958 году. При содействии небольшой группы, в которую входили М.П.Наумов, М.М.Зозуля и Э.И.Боброва, Страховский через два года осуществил свой план.

Параллельно с организацией журнала возникла ассоциация "Современник", задачей которой являлось изыскание финансовых средств.

Обладая большими связями в литературном мире, Л.И.Страховский сумел привлечь в ряды сотрудников журнала многих представителей литературного Зарубежья. Уже в первых номерах "Современника" мы встречаем имена Юрия Трубецкого, Бориса Зайцева, Юрия Терапиано, Бориса Раневского, Ирины Одоевцевой и других.

Моя первая встреча с профессором Страховским произошла, когда я, будучи в то время председателем Русского Культурно-Просветительного Общества в Торонто, обратился к нему с просьбой прочесть доклад об отмене крепостного права в России. Несмотря на свою крайнюю загруженность, Леонид Иванович согласился, и через месяц выступил в Обществе с блестящим докладом, познакопив слушателей не только с самим историческим событием, но и с атмосферой России XIX века и с причинами, вызвавшими ликвидацию крепостного права.

С этого началось наше знакомство. Мы продолжали изредка встречаться — обыкновенно в столовой филологического факультета Торонтского университета. Всегда очень сдержанный и немного чопорный, за обедом Леонид Иванович оживлялся и начинал говорить, преимущественно на литературные темы. Иногда наши дискуссии затягивались — так, однажды, за разговором о Цветаевой и Адамовиче, мы провели часа два вместо положенных на обеденный перерыв сорока пяти минут.

Скончался Леонид Иванович скоропостижно 24 апреля 1963 года, оставив, кроме написанных им трудов, незаконченную книгу своих стихотворений.

Тяжелую ношу редактора журнала взвалил на свои плечи Валерьян Лукьянович Савин — человек кристальной души и необычайной доброты.



Он и предложил мне войти в состав редакционной коллегии. Совместная работа сблизила нас, и я с удивлением начал открывать в этом сдержанном и очень скромном человеке черты характера, присущие очень немногим. Он обладал необыкновенной внутренней силой, которую ни двенадцать лет Беломорлага, ни война и последующий плен, ни тяжёлая эмигрантская жизнь в Канаде не могли сломить. Не потерял он и веру в человека. "Безнадежно плохих людей нет, — сказал он как-то, рассказывая о своей тюремной жизни, — в лагере я встречал больше хороших людей, чем на воле. Даже среди администрации попадались очень хорошие люди."

Попал в лагерь Валерьян Лукьянович по обвинению в... басмачестве, о чем он всегда рассказывал с улыбкой. Да, обвинить экономиста-плановика, высококультурного человека, в басмачестве, — до такого шедевра могла додуматься только советская юстиция.

Врожденное чувство такта позволяло Валерьяну Лукьяновичу в его сношениях с авторами и членами редакционной коллегии сообщать даже не особенно приятные новости в приемлемой форме. Он выражал свое мнение прямо и открыто, обращаясь непосредственно к заинтересованному лицу. За многие годы я ни разу не заметил, чтобы он осуждал кого-либо за глаза. Наоборот, отсутствующий всегда мог рассчитывать, что В.Л. Савин станет на его защиту.

Как-то раз, разговаривая с Валерьяном Лукьяновичем, я вскользь заметил, что написал рассказ из моей студенческой жизни. Валерьян Лукьянович оживился: "Обязательно принесите, обязательно, " — сказал он. "Но ведь я рассказов никогда не писал. В стихах грешен, каюсь, — ответил я со смехом, — а писать рассказы никогда не пробовал, это мой первый опыт." "Все начинали с первого опыта," — резонно ответил Валерьян Лукьянович.

Рассказ "Две сестры" был напечатан в следующем номере журнала.

После этого опыта, постоянно подталкиваемый Валерьяном Лукьяновичем, я написал несколько небольших рассказов для "Современника". "Почему люди, которые не могут писать, — говорил он мне, показывая рукой на горку рукописей, — пишут, — а те, кто могут, не хотят писать?"

В 1972 году В.Л. Савин решил уйти на пенсию. Он ликвидировал свою мастерскую по починке часов, одновременно исполнявшую роль конторы и редакции журнала. Я перевез в подвал своего дома картонки с оставшимися журналами, книги и прочие мелочи, и обратил внимание на сиротливо стоявший посреди комнаты письменный стол, когда-то покрашенный черной краской, исцарапанный, во многих местах обожженный сигаретами. Письменный стол мне был нужен, и я спросил Валерьяна Лукьяновича, что он собирается делать с этим столом. "Оставляю здесь, — ответил он, — дома у меня есть другой. Может быть, вы возьмете?" — предложил он мне.

Я перевез стол к себе домой, поставил его в гараж, и на следующий день принялся оттирать его наждаком. Стол оказался Золушкой — под слоем черной краски скрывалось красное дерево. Когда через несколько дней

Валерьян Лукьянович приехал ко мне, я с торжеством подвел его к письменному столу, стоявшему на почетном месте в моем кабинете, и с гордостью спросил: "Что вы скажете, Валерьян Лукьянович?" Он посмотрел на сиявший свежим лаком стол, погладил рукой блестящую доску и сказал с улыбкой: "За этим столом будут написаны великие произведения".

За этим столом я впоследствии писал немало, хотя написанное едва ли можно занести в категорию "великих" произведений.

В декабре 1974 года Валерьян Лукьянович позвонил мне и заговорщицким шепотом сказал: "У меня завтра пельмени будут, целую миску накрутил. Приезжайте к четырем".

Пельмени не обошлись, конечно, без водки. После обеда Валерьян Лукьянович сел за пианино (он был прекрасный пианист) и сыграл несколько этюдов Шопена.

В сочельник я позвонил Валерьяну Лукьяновичу и его сын сообщил мне, что отец находится в госпитале. — У него удар, — добавил он. — Его увезли сегодня утром.

Я навещал его в госпитале часто. Говорил он с трудом и двигаться не мог, правая половина тела была парализована. Промучался Валерьян Лукьянович до 5-го апреля, когда милосердная смерть сжалилась над ним.

Последний раз я видел Валерьяна Лукьяновича в погребальном доме, вечером, накануне кремации. В зале было пусто; кроме меня, никого не было.

Я сел на скамью и долго смотрел на молчаливого друга. "Какой у него благородный, классический профиль", — думалось мне. — "Как же за эти годы я никогда этого не замечал?"

НИНА МУРАВИНА

## НОВЫЕ ДОРОГИ И СТАРЫЕ СПОРЫ

### 1. Поездка в Корсику.

Железные и шоссейные, воздушные и ледяные, конные тропы и узкие пешие стежки... Не сосчитать, по скольким дорогам носила меня судьба, но всегда от одной пограничной пахотной полосы до другой, взад и вперед: от Карпат до Курил, от Белого моря до Суйфуна. Казалось, всю жизнь суждено мне только издали видеть огни чужих островов, живущих по собственным законам, не спрашивая вашего согласия. И вот свершилось чудо: расступились кордоны и после страшных утрат выпустили меня на волю.

Теперь в моем дорожном документе записана фраза: "действителен всюду, кроме СССР". Горько, что нет возврата. Зато, взамен одной шестой части света, я получила пять шестых. Ветер странствий носит меня по всем странам и всем морям.

Заманчиво звучат для меня слова: Корсика, корсиканцы, корсары... По русским масштабам, от Парижа до всей этой романтики рукой подать: меньше суток пути. Путешествую я самым дешевым способом: с палаткой за плечами, по принципу: "всё свое я ношу с собой". До Ниццы добирюсь ночным бесплацкартным поездом. Напротив — свободное место. Можно вытянуть ноги и мечтать о незнакомом острове, где всерьез любят и всерьез ненавидят, без скептической французской усмешки и страха кому-нибудь показаться смешным; где даже нищие крестьяне славятся безрассудной щедростью и гостеприимством; где до сих пор чтут верность и презируют вероломство и ложь.

Под ровное, монотонное жужжанье и свист, так не похожие на лязг и перестук наших разболтанных русских колес и тряских буферов, я вспоминаю о "корсиканской проблеме", возникшей оттого, что французское правительство, дважды нарушив взятое на себя обязательство, поселило на осушенных американцами землях, арендованных у коммуны Гизоначча, в образцовых фермах, построенных для корсиканских крестьян, — изгнанных из Алжира в 1958 году колонистов.

Корсиканцы сочли себя обманутыми и обиженными. Крупные денежные ссуды, выданные "пье нуар", позволили тем скупить у бедняков, округлить свои владения. Теперь тремстам колонистам принадлежат 22 тысячи лучших виноградников и садов, а всем корсиканским крестьянам вместе взятым — всего восемь тысяч. В корсиканских отелях — восемь тысяч четырехста комнат. У приезжих французов и иностранцев — в три раза больше.

Приезжие вытесняют корсиканцев из Корсики. Среди двухсот тридцати тысяч жителей осталось только сто десять тысяч местных уроженцев.

Взамен Франция предлагает корсиканцам считать себя такими же французами, как французы из Парижа, Лилля, Бордо. Никакой дискриминации! (Ситуация, которая легко разрешила бы в Советском Союзе еврейский вопрос и проблемы многих других национальных меньшинств; давно обрусевших и не знающих родного языка). Но в Корсике с таким решением согласны только старики, живущие на пенсии, выплачиваемые французами. Молодежь же требует земли для корсиканских крестьян, открытия университета в старинной столице Корсики Кортэ, создания корсиканского радио и телевидения, преподавания в школах не только на французском, но и на корсиканском языке. Покой и доверие давно потеряны. Этому, с одной стороны, способствуют сепаратисты из подпольной организации "Фронт национального освобождения", взрывающие французские учреждения и виллы богатых иностранцев, а с другой — крайняя правая организация САК, подбрасывающая взрывчатку в квартиры видных националистов и редакции корсиканских газет — орган умеренных корсиканских автономистов "Арритти!" ("Встань!") пережил двадцать пять взрывов. Словом, "остров красоты" охвачен одним из самых распространенных в нашем веке эпидемических заболеваний — национализмом в его центробежной форме. Везде и всюду народы, потерявшие после Второй Мировой войны веру в человеческий разум, разочаровавшиеся в религии, отчаявшиеся в справедливости, хватаются за последнюю соломинку — национализм, и все более разъединяются и ожесточаются друг против друга. Каждый ищет потерянный смысл существования в собственном прошлом и в своем обособлении от других. Разъединению нет конца... На свет родились сотни национализмов, похороненных еще в Средневековье. Везде идет война между националистами-государственниками и националистами-автономистами.

Чтобы увидеть эти столкновения, нет даже нужды уезжать из европейских столиц. Накануне отъезда я была в парижском зале "Мютюалитэ" на митинге французских националистов (партии "Новых сил" и "Национальный фронт"). Еще ни разу в жизни ни на одном человеческом сборище я не слышала таких исступленных криков, воплей и топота. Атмосфера была неотличима от митингов "гитлерюгенд", знакомых каждому, кто видел кинохроники Германии тридцатых годов. Помимо массовой истерии,

сходство подчеркивалось прямыми заимствованиями: стуком башмаков (оказывается, патриотическое иступление, переходящее в экстаз, легче всего выражать копытами), подниманием устремленных вперед рук и бурными салютами при появлении гостей из Италии — последователей Муссолини, и франкистского полковника — соратника Гитлера в минувшей войне. Я не выдержала и вышла из зала.

Пишут, что в Англии, когда нео-наци устроили съезд в окрестностях Лондона, не помогли даже жандармы, оценившие район: были раненые и убитые. Словом, не только в Белфасте, Бильбао, в Бретани, в Корсике, в Канаде, но и в столицах Англии и Франции, славящихся терпимостью и плюрализмом, национальный вопрос действует сегодня на человеческие массы, как динамит.

Неудивительно, что в трагические эпохи "переоценки ценностей" на поверхность часто всплывают атакические, отзывающиеся глубокой древностью, идеи. Национализм, как и коммунизм, — это возвращение к стабильности, враждебное идеалу человеческой личности, созданной христианской культурой.

И французы, и англичане знают на опыте, как легко вырождается национализм т.н. "государственников" в тоталитаризм нацистского толка, и поэтому остерегаются крайних правых националистов больше, чем автономистов, требующих децентрализации.

Мысленно я пытаюсь представить себе, какую смуту способен вызвать национальный вопрос у нас, на "одной шестой", где нет ни плюрализма, ни терпимости, а отсутствие у народа политического опыта и навыков политической борьбы уже привело к затянувшейся на шестьдесят лет с лишним исторической трагедии. Правда, с тех пор наш народ поумнел и стал грамотней. Но единственным правом, которое сполна гарантировала ему советская власть, оказалось (как и предсказывал Достоевский) право на бесчестие. Поэтому и на национализм большинство смотрит, как на право на привилегии без заслуг. И где уж рядовому советскому человеку (при государственной-то монополии на средства информации) разобраться, чем национализм диссидентов отличается от шовинизма и антисемитизма руководства КПСС?

Какую зловещую путаницу предвещает уже одна одинаковость лозунга, провозглашенного политическими противниками! Не так ли было в Смутное время, когда русские города присягали в верности трем Лжедмитриям и Лжепетру? Или во время гражданской войны, когда крестьяне прятались то от белых, то от красных, то от зеленых, отбивавших у них лошадей?

...За окнами вагона, в темноте, вспыхивают ослепительные огни.

— Что же будет дальше? — спрашиваю я себя. — Ведь самое страшное, когда тонущему не за что ухватиться... Можно ли сегодня возродить русскую идею в том виде, в каком она существовала сто лет назад, когда в России было громадное количество православных? Ведь уже тогда Дос-

тоевский предостерегал, что духовное противостояние верующей России католическому и атеистическому Западу может быть "только вопрос времени" и ужасался тому, что произойдет, если "русский Бог не устоит против развития капитализма и железных дорог"... И вот то, чего он страшился, свершилось: православие разрушено под корень. Церковный культ из-за запрета Библии и отсутствия религиозного обучения даже и у многих из верующих превратился в идолопоклонничество. Противопоставление православия, контролируемого органами безопасности, католичеству утратило смысл. Что же остается? Неужели только идеализация прошлого и право на привилегии? Амфитеатров еще в двадцатом году предсказал, что Совдепия непременно кончит тем, что провозгласит "Россию для Русских", но духовную смуту, которая может возникнуть в результате столкновения двух противостоящих друг другу великодержавных русских национализмов и нескольких десятков местных, и он, конечно, не способен был вообразить.

Словом, нет даже сравнения, насколько корсиканский вопрос проще русского.

### 3. Знакомство с полицейскими.

Едва ступив на корсиканскую землю, я вижу полицейских. Господи, сколько их сюда нагнали! Возле Соленцары и Порто-Веккио дорога так запружена блюстителями порядка, что машины ползут медленной вереницей. На завтра, когда я лежу на раскаленном песке городского пляжа в Бастии, ко мне подсаживаются две, соответствующие установленным условиям, мужские фигуры.

— Вы одна? А где вы мужа оставили? — интересуется крупный шатен в полосатых трусах, похожий на солидного советского ответственного работника. — И мы тоже одни. Нас сюда на месяц прислали из Парижа... Ну кому мы тут нужны? Это журналисты, как всегда, шум подняли. А на самом деле здесь спокойно. День дежурим, день — отдыхаем. Мы — молодые. Любим повеселиться. Хотите составить нам компанию?

— На весь месяц, — подчеркивает солидность предложения тощий длинный брюнет в черных трусах.

Оказывается, полицейские. Я уже усвоила свойственное французам презрение к "фликам" и смотрю на них со скукой. В жизни почему-то всё устроено так, что, если встречаешь людей, то обычно не тех, кого нужно.

— О, никто во всем мире не умеет так *faire l'amour*, как мы! — длинный брюнет садится на корточки, ссутулив спину, и вдвое уменьшается в размерах, как складная кровать. Приятель его усаживается рядом, вытянув ноги на песок. — С арабами нас в этом отношении даже сравнить нельзя! Араб хлоп-хлоп, и уже пустой, как кролик. А я могу целый час без передышки!

'*Faire l'amour*' — здесь такие предложения не считаются неприличными. Это здесь и в театре со сцены произносятся, и в песнях поют. Ни одно

слово во Франции не произносят так часто, как "амур". Даже о совокуплении кошек и собак французы вежливо говорят: 'Ils font l'amour'.

— Женщины у нас времени не теряют, — просвещают меня полицейские. — Уехал, например, у богатой дамы муж в командировку. Он там, конечно, развлекается. Только фалократ может требовать, чтобы его жена целую неделю страдала от одиночества. Она свои права знает и поступает так же, как и он. Идет в кафе и заказывает гарсону: две чашки кофе и пти жен пейян.\* У того на этот случай имеется клиентура... Во-первых, равенство... Во-вторых, зачем же ей скучать? В третьих, деньги всем нужны...

— А слышали, как сейчас передовые люди живут? — Черные трусы стараются ошеломить меня эрудицией, делая ставку на мою провинциальность. — А вот как! Модерные пары меняются на ночь партнерами, а некоторые зараз спят с двумя. Прогресс! Но молодежь еще дальше пошла! Многие возвращаются к групповому браку, как пещерные люди, и спят со всеми по очереди, как будто у каждого собственный гарем. Вот у кого сладкая жизнь!

— Говорят, корсиканцы за жену или дочь убить могут? — перебиваю я.

— Отсталый народ, — ухмыляется солидный шатен.

— Кого же из нас вы выберете? — ставит вопрос ребром длинный брюнет.

— Никого.

Они огорченно встают... Должно быть у каждой нации — свои слабости. Наш отечественный почитатель зеленого змия не понимает того, кто отказывается от дармовой выпивки, и при этом ссылается на курицу: курица и то пьет... Француз же не понимает тех, кто отказывается от случайной любви — от l'amour par occasion, и при этом ссылается на кюрэ:

— Думаете, они и правда не спят с женщинами? Как бы не так! А если педерасты, спят с мужчинами...

Назавтра я опять вижу на пляже знакомые фигуры. Заметив меня, длинный смущенно отводит глаза. Стыдно, что вчера некстати разболтался. Представляю, какой вид был бы у обоих, если б вдобавок узнали, что я — журналистка...

### 3. Праздник в Сервионе.

Я возвращалась с дальнего пляжа и "голосовала" на обочине одной из многочисленных корсиканских дорог, по которым рейсовые автобусы никогда не ходят. Наконец, одна машина остановилась. На ее багажнике была наклеена черная голова мавра в белой повязке. Из окружавших ее букв складывались слова: "Я — корсиканец и горжусь этим".

За баранкой сидел брюнет лет тридцати в очках в роговой оправе. Рядом с ним — растрепанная молодая женщина с диковатым взглядом. За

---

\* Молодого человека за плату.

спиной у них качалась в гамачке маленькая девочка, капризничавшая из-за жары.

Лоб у мужчины был узкий. Но несмотря на это, лицо его показалось мне умным и интеллигентным. Я спросила, чем он занимается. Он ответил, что год назад опубликовал свой первый роман, в основу которого положил был, услышанную от деревенских стариков. Это история молодого корсиканца, который умирает от безнадежной любви к женщине, принадлежащей к недоступному для него социальному кругу.

Мне было приятно услышать, что корсиканцы все еще верят, что можно умереть от любви. Я спросила Жана-Клода Роглиано, на каком языке написан его роман. Оказалось, что на французском. Даже самые яростные защитники корсиканской культуры не умеют сегодня писать на своем родном языке.

Перед отъездом я видела по французскому телевидению несколько передач о Корсике. В одной из них была прекрасная песня "Ту си", захватившая меня силой страсти и романтизмом. Роглиано оказался автором этих передач. Он сказал, что песня написана его другом — Жаном-Полем Полетти о трагической гибели героя его романа. Певец теперь у него в гостях и купается вместе с девушками из его ансамбля на одном из диких пляжей. Роглиано тут же разыскал его, познакомил нас и отвез в Сиско, на виллу родителей своей жены.

Полетти — рослый кареглазый крепыш с широкой грудью и круглыми плечами. Он похож на молодого Наполеона. Такое же овальное лицо с высоким, начинающим лысеть лбом, большие, задумчивые, часто меняющие выражение глаза. От своего отца — корсиканского крестьянина, он унаследовал дар импровизации. Он — один из лучших горнолыжников острова. Служил в армии. Теперь руководит домом культуры.

Лет пять назад в деревне Сервионе, при местном храме, где служба идет на корсиканском языке, образовался церковный хор, заменивший Полетти и его друзьям консерваторию. Вскоре Жан-Поль стал его руководителем. Теперь это лучший фольклорный ансамбль острова, пользующийся одинаковым успехом и у интеллигенции, и у крестьян.

Еще до того, как мы вошли в дом, Жан-Поль успел рассказать мне, как Корсика в 1729 году сбросила генуэзское иго и затем избрала собственное правительство во главе с философом и правоведом Паскалем Паоли.

— Перед Паскалем Паоли преклонялся Вольтер. Конституция, созданная Паоли, легла в основу американской. У нас в Корсике женщины первыми в мире получили избирательное право! — торопится он вбить мне в голову самые необходимые с точки зрения корсиканского националиста сведения.

Когда я уезжала из Парижа, знакомые меня предупредили: у корсиканцев два священных имени: Наполеон и Тино Росси.

Но оказалось, что Жан-Поль считает манеру пения Тино Росси пош-



лым подражанием итальянским канцонам, изменой корсиканской народной традиции. Наполеон же для него — ненавистный предатель, завершивший колонизацию острова, незаконно проданного генуэзцами французскому королю.

Позднее, в Алерии, в мюзикхолле поселка Каферачча, переполненный зал принялся при мне топать и свистеть, когда на экране показали статую Наполеона. Таким же свистом провожали и портреты четырех корсиканских депутатов, избранных в парламент, как уверяют местные националисты, с помощью фигурировавших в списках "мертвых душ".

Полетти пригласил меня на праздник в деревню Сервионе, где хор "Канту э популу корсу" должен был через несколько дней исполнить мессу на корсиканском языке, а вечером дать концерт под открытым небом.

...Сервионе стоит на отвесной скале и издали кажется недоступным орлиным гнездом. Когда-то в таких "гнездах", окруженных крепостными валами с бойницами, островитяне прятались от воинственных чужеземцев. Теперь раз в день, кружа по террасам, на которых лежат лачуги из нетесанных камней и растут ели с мягкими, загибающимися на концах иглами, медленно взбирается в гору автобус. На одной из верхних улиц расположен храм, напоминающий венецианскую базилику Святого Марка. Прихожане чувствуют себя в церкви, как дома. Все сиденья заняты. Наконец, праздничный шум и детские голоса стихают.

Пастыр — простой, суровый старик, читает короткую проповедь. Затем начинается месса. Хотя я не понимаю по-корсикански, мне все время чудится что-то знакомое. Когда исполняют "Глорию", мне слышатся за ее широкими, протяжными мелодиями то грузинские, то тягучие многоголосые русские деревенские песни... Такое же чувство знакомости внезапно ошеломило меня в Венеции при виде темной большеокой Богородицы, как родная сестра, похожей на русские иконы... Даже в ту далекую эпоху для культуры не существовало географических границ.

За ужином, устроенным коммуной в честь артистов, Жан-Поль подтверждает мою смутную догадку: до пятнадцатого века корсиканская церковь была православной и так же, как русская, находилась под властью византийского экзарха.

...Справа от меня сидит Франческо Бюто — экс-чемпион Корсики по атлетизму, стройный, светлородый фавн с насмешливыми голубыми глазами. Он много читал. В разговоре упоминает имена Вергилия, Байрона, Данте, которые редко случается услышать в наши дни даже из уст парижан. В девятнадцать лет Франческо был уже офицером французской армии. Примкнув к корсиканским националистам, он отказался от военной карьеры и вернулся в родную деревню, хозяйство которой пришло в упадок.

— Чем же вы теперь занимаетесь? — спрашиваю я.

— Развожу коз и свиней на общественных землях.

— Французы — колонизаторы! Мы хотим сами управлять экономикой нашего острова, — рвется в бой молодой человек с маленькими черными усиками, сидящий слева от меня. И мы не дадим им стереть с лица земли нашу культуру и язык!

— Не преувеличивайте! — пытаюсь я его урезонить. — Пока у вас на острове веками царила нищета, не было и национализма. Напротив, сотни тысяч корсиканцев эмигрировали в Латинскую Америку. Признайтесь, что ваш национализм проснулся только после того, как Франция вложила в вашу землю огромные капиталовложения и превратила ваши виноградники и сады в источники миллионных доходов... Только теперь, когда Корсика из нищенки превратилась в богатую принцессу, вы вспомнили о своей любви к ней, потому что хотите, чтоб ее богатство принадлежало вам.

— Мы здесь родились, — возражает мой собеседник. — Но для нас нет никакой работы, кроме сезонной. За последнюю четверть века пятьдесят пять тысяч молодых корсиканцев уехали на материк, лишь бы не быть лакеями и официантами. Зато на остров прибыло девяносто тысяч не-корсиканцев, и для них работа нашлась. Восемь тысяч двести французов занимают у нас ведущие должности. По-вашему это справедливо?

Накануне радио сообщило, что сепаратисты — подпольный Фронт национального освобождения Корсики — в течение одной лишь ночи произвели около тридцати взрывов в Бастии и Ажаччио. Как всегда, ни одной человеческой жертвы. Зато Франции нанесен огромный материальный ущерб.

За столом по какому-то беспроволочному телеграфу уже получена новость: днем полиция арестовала несколько корсиканцев, подозреваемых в участии в подпольной организации.

— Неужели в демократической стране нельзя обойтись без взрывчатки? — удивляюсь я.

— На французов слова не действуют! Их надо ударить по карману! — хором отзывается несколько голосов.

— Оборвав традиционную связь с Францией, Корсика немедленно станет добычей одной из сверхдержав! Неужели вы надеетесь, что она хоть что-нибудь от этого выиграет? Будете учить русский язык или английский, если вам не нравится французский...

— Мы согласны предоставить Франции функции обороны и внешней торговли, но пусть она не лезет в наши внутренние дела...

Начавшийся спор сменяется пением. Сначала участники хора поют за столом. Затем пение продолжается на площади перед школой. Там же работает бар. Многие слушают песни с кружками пива или стаканами вина.

Полетти поет песню, в которой называет Корсику "сестрой Ирландии"; поет о корсиканцах, убитых в столкновениях с жандармами, и о политических узниках всего мира. Хотя корсиканцы постоянно жалуются на то, что французы ограничивают их свободу, никто не мешает поэту исполнять песни протеста на площади под бурные аплодисменты толпы.

Все они даже не имеют понятия, насколько они свободнее нас. Никто не включает их за любовь к родине в черные списки, не выгоняет с работы, не сажает в сумасшедшие дома, не убивает их детей, даже не отнимает у Полетти сборы от концертов, которые он потом распределяет среди немногочисленных в Корсике политических заключенных (их не больше сорока).

К часу ночи толпа начинает редеть. Вокруг певцов остаются только любители музыки и друзья. Еще никогда в жизни я не видела одновременно столько сияющих глаз. Удивительно, до чего украшают человеческие лица вера, надежда, любовь!

Юноши и девушки входят в вестибюль школы, наполняют бокалы (езде у них буфеты, скатерти-самобранки;) и опять с упрямой влюбленностью затягивают те протяжные деревенские песни, которые только что пели под открытым небом. Я тоже пытаюсь им подпевать. Уже третий час. Кажется, пора бы подумать о сне. Но где там? Жан-Поль и не собирается кончать. Его голосовые связки так же неутомимы, как темперамент.

Бледнеют звезды. С гор веет утренним холодом. Наконец, все в четвертый раз поют "Але тутти фрателли" и гимн свободе, как клятву повторяя слово "Либерта". Лишь после этого кавалькада из трех машин трогается в путь и сопровождает меня за семьдесят километров в монастырь Святого Янсента, где в оливковой роще возле маленького кладбища стоит моя палатка.

#### 4. Свобода или власть?

Когда в обмен на разрешение опубликовать в "Новом Мире" "Раковый корпус" правление союза писателей потребовало, чтобы Солженицын дал отповедь Западу, он завоевал всеобщее уважение смелым отказом. Теперь же дал такую, что превзошел ожидания своих прежних гонителей.

Говорят, "в своем отечестве нет пророка". Но Солженицын на родине "глаголом жег сердца людей". Однако с тех пор, как он переехал в Америку и начал выступать в роли обличителя западной интеллигенции, многое изменилось.

Я не раз задумывалась, почему в чужом отечестве речи нашего пророка у многих вызвали печальное разочарование?

Все мы, оказавшись в "свободном мире", воспринимаем демократические свободы как атрибут капиталистического общества, отличающий его от знакомой нам социальной структуры, которую здесь не без иронии именуют "реальным социализмом". Мы видим, что люди здесь живут лучше. Понятно, что мы недоверчиво относимся к манифестациям, забастовкам, ко всем проявлениям оппозиции. Нам кажется, что они ставят под угрозу "хорошую власть" и ослабляют ее. Но проходят годы и кое-кто из нас начинает замечать, что внутренние различия между Россией и Западом глубже, чем мы предполагали. Главное из них заключается в том, что между демократическими свободами и высоким экономическим уров-

нем существует равновесие. Поэтому они не приводят к потрясениям и революциям, к которым привели в России. И мы догадываемся, что дело не в том, кто в данный момент стоит здесь у власти, а в том, что взаимодействие между обществом и правительством здесь иное, чем у нас, и государство зависит от общества, следящего, чтобы власть не переродилась в авторитарную. Демонстрации, забастовки, критические статьи и споры в парламентах служат регуляторами, с помощью которых общественное мнение воздействует на власть.

Солженицын критикует западную интеллигенцию за то, что она, будто бы, ведет свои правительства к поражению перед советской военной мощью. Ему кажется, что усиление социалистических тенденций в той или другой стране приведет к всемирной катастрофе и к всемирному гулагу.

А между тем, ни в Швеции, ни в Германии, ни в Англии при существующих там демократических структурах эти тенденции ни к каким катастрофам не привели. Хозяином положения остался избиратель, который в любой момент может сменить не угодившее ему правое правительство левым и — наоборот.

Не потому ли Солженицын обошел молчанием тех современных западных мыслителей и писателей, которые разоблачают духовную опустошенность потребительского общества, власть моды и масс-медиа еще резче, что критика эта обычно исходит слева? Едва ли эта передовая западная интеллигенция, надевшаяся найти в нашем "пророке" союзника, могла предвидеть, что он начнет призывать ее склониться перед властью и "вернуться назад, к Средневековью!" Многие здесь считают нашу эпоху эпохой упадка, но тем не менее, предпочитают движение вперед движению назад. Западные социалисты знают, что руководители КПСС предпочитают иметь дело с капиталистами, чем с соперничающими с ними социалистическими партиями, в которых они видят своих главных врагов.

Они ставят перед собой задачу не допустить появления социализма с человеческим лицом и преследуют ее с таким же упорством, как самые реакционные правые партии фашистского типа. Не знаю, читал ли Солженицын интервью, которое Роже Гароди дал журналу "Нувель обсерватор", где приводится стенограмма разговора между Дубчеком и советским диктатором.

Д у б ч е к. Нас поддерживают западные партии: итальянская, французская, испанская...

Б р е ж н е в. У нас есть средства, чтобы довести их до состояния незначительных группировок.

Д у б ч е к. Итак, в Западной Европе никогда не будет социализма?

Б р е ж н е в. Его не будет! Он там не нужен!

Даже еврокоммунистов, не признающих гегемонии Советского Союза и отказывающихся следовать его образцу, Брежнев считает раскольниками. На социалистов же в СССР еще при жизни Ленина привыкли смотреть как на врагов, непримиримая борьба с которыми является первой обязан-

ностью каждого коммуниста. Теперешняя партийная верхушка КПСС, давно уже предавшая и извратившая социалистические идеи, знает, что никакое сосуществование с западными социалистами для нее невозможно. Недаром же незадолго до муниципальных выборов во Франции, когда левые могли победить, если бы этому не помешали коммунисты во главе с Ж.Марше, советское правительство уже за несколько месяцев до выборов прекратило те технические связи, которые оно поддерживает с французскими капиталистами.

При такой противоречивой расстановке сил, обличения Солженицына пришлось по душе только крайним правым элементам, сторонникам "сильной власти". Так, на упомянутом мною митинге крайних правых в зале "Мютюалитэ" его называли "великим Александром". Те же молодчики, которые приветствовали итальянского и испанских фашистов, выражали готовность признать автора "Архипелага Гулага" своим духовным вождем. Противники же их, зорко следящие за тем, чтобы их правительство постоянно чувствовало свою зависимость от общества и именно в этом видящие главный залог политической свободы, слушая пророчества Солженицына, резонно замечают, что гулаг, как никак, существует у нас, а не у них, и не выражают страха перед этим советским призраком. Даже собственных "новых философов" они упрекают в том, что те "кормятся трупами" и что смысл их напоминаний о гулаге сводится к призыву к сохранению существующего порядка и того "статус кво", который одинаково выгоден для крупнейших капиталистов и для советских партийных боссов.

Солженицын, никогда не готовившийся к роли международного политического лидера, попавший на Запад против воли, лишь показал, что наши отечественные ключи не подходят к западным дверям. Он все еще стоит обеими ногами на русской земле, на всё смотрит с русской точки зрения, на Запад же глядит чужими глазами.

Русская эмигрантская печать — по советской привычке, не рассуждая, выполнять приказ начальства — довела мысли Солженицына до полного абсурда.

"Если мы начнем с политической свободы, обязательно придем к духовному закрепощению", — вещает в "Русской Мысли" редактор "литературного, общественно-политического и религиозного" журнала "Континент". И добавляет: "Духовная свобода должна предшествовать политической."

Казалось бы, кому, как не нам, знать, что в Советском Союзе, где все стороны жизни подчинены гипертрофированной, вездесущей авторитарной политической власти, духовные перемены невозможны без политического раскрепощения. Но так же, как и в международном плане, редактор "Континента" призывает русский народ и во внутривнутриполитическом плане, во имя сохранения статус кво, отказаться от политической борьбы. Максимов идет еще дальше и даже утверждает, что "демократические свободы приведут только к закрепощению", как будто в настоящую минуту

русский народ еще не закрепощен, а станет таким только после того, как получит демократические свободы.

Подобная галиматья, возможная лишь в русской эмигрантской прессе, не заслуживала бы внимания, если б не была высказана от имени претендента на роль лидера эмиграции. Этот "лидер", выполняя полученный "сверху" социальный заказ, зовет русский народ в "никуда". Он не только не выдвигает перед ним программы политической борьбы, но призывает всех и каждого разойтись по углам и ждать, когда к нему сойдет в виде благодати духовное совершенство, до сих пор никогда не сопутствовавшее бесправью и лжи.

Прочитав это лживое заявление, я вспомнила, что еще сто лет назад Мопассан, друживший с Тургеневым и знавший Россию по его рассказам, объяснял ту склонность русских к анархии и саморазрушению, которая с такой силой проявилась через сорок лет, именно отсутствием политической свободы. Он называл русских "в глубине души нигилистическим народом, у которого стремление к разрушению доходит до болезни, — правда, болезни неизбежной, если принять во внимание, какими крохами свободы пользуется этот народ по сравнению с соседями."

Заметим, что это писалось в эпоху, когда, по словам Солженицына, "крох свободы" у русских людей было значительно больше, чем в наши дни. (Последнее, кстати, не мешает ему утверждать, что духовной свободы у советских людей, несмотря ни на что, даже больше, чем в Европе и в Америке).

Что же такое "духовная свобода", с которой все мы, по словам Максимова, обязаны начинать? Удел Диогена, который счастлив в своей бочке, даже если рядом убивают его соседа? Бред алкоголиков и наркоманов, потерявших чувство реальности, благодаря "искусственному раю"? Самодовольство сытого мошенника, которому хорошо во все эпохи и при всех режимах?

Какими критериями будут определять у нас степень духовной свободы, проявляющейся в политической индифферентности? Теми же, что Гитлер, Сталин и любая власть, смешивающая область общественной жизни с областью духа и карающая подданных даже за мысли, не произнесенные вслух?

Читая туманное и невразумительное утверждение Максимова, что "политическая свобода привела Запад к еще большему закрепощению", можно вообразить, будто Запад закрепощен, а мы свободны. Но кто ж этому поверит, если единственными "крохами" свободы мы обязаны сегодня не себе, а этому Западу!

Да, у нас есть люди, готовые заплатить жизнью за свою веру. Я видела на Дальнем Востоке монахинь с Западной Украины, которых, чтоб поглумиться над ними, заключили в лагерь для тунеядцев и проституток. Они объявили голодовку. Редактор "Континента", наверно, увидел бы в

них образец внутренней свободы. Но всё это "слова, слова, слова..." Глядя на этих добровольных мучениц, я испытывала только горькое сознание бесполезности их жертвы. Ведь даже если они добровольно обрекут себя на смерть, никто не узнает об их подвиге и он ничего не изменит в нашей жизни, как будто его и не было. Любим мы политику или нет, но для освобождения России важны лишь те события и подвиги, которые получают огласку и политическое значение. И разве сам Солженицын обязан огромной своей славой только страдальческой судьбе, духовной глубине и таланту? Страдальцам, погибшим душам и талантам в лагерях не было числа. Но он первый начал "бодаться с дубом" и, благодаря стойкости в борьбе, сумел заставить весь мир услышать правду, которой Запад десятилетиями отказывался верить. Огромный политический резонанс, который получили его произведения и его борьба, сравним лишь с ошеломляющим впечатлением, произведенным открытием хранившихся в тайне сталинских преступлений на двадцатом съезде КПСС. Венгры ответили на доклад Хрущева восстанием. За книгами Солженицына должны были последовать политические события и изменения внутри России. Поэтому правительство заблаговременно выдворило писателя на Запад.

Когда я заметила редактору "Континента", что не понимаю, почему он отрицает политическую борьбу, в которой сам участвует, он ответил мне риторическим вопросом: "А что будет, если завтра нам дадут свободу, а ее некому будет взять?" — Это ли не признание в недоверии к народу, к его способности заменить теперешнюю политическую структуру другой, лучшей?

Не потому ли он не издает ни "Колокола", ни "Вперед!", ни даже "Искры"; не ставит никаких политических целей, никого никуда не ведет, не будит, не зажигает, предоставляя партии, которая развратила и поработила народ, и дальше заниматься его "идеологическим воспитанием" в том же духе. Не знаю, на какое чудо он надеется: на Бога? на то, что "вывезет русский авось да небось"? или на то, что поумневший от наших наставлений Запад в один прекрасный день преподнесет нам на блюде ту свободу, которую полагается выращивать собственными руками? или же во главе КПСС окажется вдруг какой-нибудь тайный либерал, а, может быть, и христианин?

— Вот увидите, скоро произойдет что-то важное! — пообещал он с таинственным видом. Но ничего не произошло.

## 5. В чем спасение России?

Деревья и травы вырастают из семян. Важнейшие исторические события, заставляющие нацию свернуть со столбовой дороги, часто возникают из событий, которым никто из современников не придает значения.

Личинкой, из которой выросло построенное на марксистском фундаменте тоталитарное государство, был петербургский кружок "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", где молодой Ленин настоял на не-

обходимости "привносить сознание извне", не считаясь с целями и мыслями самих рабочих. В основе лежала всё та же хроническая уверенность, что народ неподготовлен и не дорос до борьбы, которой мы страдаем и сегодня. Но столь же неподготовленными оказались в дальнейшем и все, кто руководил революцией. Уже беспощадно раздавив русские социалистические партии, победив соперников, Ленин в 1919 году начинает испытывать приступы сомнения и сознание бессилия сбалансировать разбушевавшуюся хаотическую стихию с идеями Маркса, разрешавшиеся у него бешеным гневом и приказами расстреливать всех, кто попадал под горячую руку. До самой своей кончины он так и не овладел положением. Порядок был водворен лишь рябым палачом в солдатской шинели, вначале прятавшимся в его тени, а в дальнейшем ставшим главным тюремщиком России.

Верил ли он, что ведет страну к коммунизму? Почему так охотно пошел на сделку с Гитлером? Не сознавал ли уже в 1938 году, что идеология нужна ему только как орудие власти и ширма для преступлений? Теперь гипноз прошел, и даже подростки понимают, что Россия просто существует, как любая другая страна, и ни на шаг не приближается к обещанной цели. От нетоталитарных стран она отличается не целеустремленным движением, а, напротив, чрезвычайными гарантиями, принятыми для сохранения неподвижности. Главная из них заключается в изъятии из общего обихода политической мысли, превращенной в монополию партийной элиты.

История — это политика, обращенная в прошлое. Солженицын, упорнее всех думающий сегодня о трагическом историческом опыте России, бесспорно занимается политикой. Однако трусливые бюрократы, поторопившиеся избавиться от грозного обличителя, преувеличили его опасность для режима.

Вся его энергия направлена на объяснение прошлого и настоящего России. Попытки же его определить ее будущее противоречивы и говорят о неразрешенных сомнениях.

Солженицын видит в послереволюционной России — предзнаменование для свободного мира, пример того, как беспечные демократы и социалисты спасовали перед жестокостью и беспринципностью большевиков. Он возлагает ответственность за русскую трагедию не на большевиков, извлекивших выгоду из политической неопытности и малограмотности русской трудящейся массы, а на тех разнопартийных русских социалистов, которые в сложных условиях войны, революции, массового дезертирства и крестьянских бунтов, попытались провести выборы по западному образцу, вместо того, чтобы захватить власть.

Точно так же, как когда-то Ленин, Солженицын, оглядываясь назад, выдвигает на первый план вопрос о захвате власти, а не вопрос о преображении России.

— У меньшевиков было большинство в советах. В июне они могли зах-



ватить власть, но не захотели. Теперь момент уже упущен, — объяснял прятавшийся в шалаше на станции Разлив Ленин приехавшему навестить его Орджоникидзе. И сообщал план организации пятерок, семерок, дублирования органов восстания — бланкистскую технику государственного переворота, с помощью которой намеревался захватить власть и установить диктатуру.

Солженицын и сегодня считает, что авторитарная власть в России неизбежна. В недавнем интервью Би-Би-Си он назвал русских социалистов и либералов "паноптикумом безвольных бездарностей". При такой постановке вопроса альтернативой советскому режиму является не демократия западного образца, а любое другое единовластие, например, монархия.

Но монархистов среди русских в наши дни можно встретить только среди старых эмигрантов и изредка среди заключенных в лагерях. Призыв к реставрации монархии способен лишь примирить большинство советских граждан с существующим режимом как с наименьшим злом. Народные массы не поддержали монархию даже в 1918 году, когда у нее были живые корни и традиции. Альтернативе: большевики или монархия — советская власть была обязана победами во время гражданской войны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня же, благодаря усвоенному с детства представлению о монархии и о капитализме как о символах несправедливости, призывы к их реставрации, несмотря на недовольство существующим строем, кажутся большинству советских людей архаическими. Едва ли наш народ согласится еще раз проливать кровь, чтобы заново решить проблему, кому теперь быть дворянином или капиталистом? Люди добровольно умирают лишь за принципы, которые они считают глубоко справедливыми. Нам могут доказывать, будто и "свобода, равенство и братство" — вымысел, или недостижимый идеал. Но без стремления к идеалу, без веры невозможно ни одно народное движение, тогда как замена одного несправедливого режима другим может заинтересовать лишь тех, кто рассчитывает на этой замене нажиться.

Взвесив все возможности, Солженицын приходит к выводу, что наилучший выход из тупика заключается в отказе от изжившей себя коммунистической идеологии и в оздоровлении режима, проведенном "сверху", самими же властями. Но главные болезни, мешающие тоталитарному советскому ублюдку превратиться в нормальное открытое общество, заключаются в двух гигантских наростах, высасывающих из целой нации все живые силы. Первый — огромный рост вооружений. Второй — раздувшийся до невероятных размеров управленческий аппарат, не только бесполезный, но давно уже ставший главным препятствием для развития советской экономики и культуры. Без удаления этих паразитирующих наростов невозможно никакое оздоровление. Но такая операция никак не может быть проделана в Советском Союзе "сверху", т.е. по инициативе "нового класса", который она должна ликвидировать. У нас еще свежи воспомина-

ния о том, что даже первые половинчатые попытки приблизить руководящие органы к производству и тем самым уменьшить их число, потребовав от них "отдачи", обошлись Хрущеву гораздо дороже, чем развенчание Сталина и раскрытие его преступлений. Для советской системы опаснее всего оказались именно попытки Хрущева уменьшить привилегии управленческого аппарата, поставить во главу угла производительную деятельность и рынок, а не отчетность. После недолгой растерянности, кончившейся самоубийством нескольких аппаратчиков, пойманных на составлении фальшивых отчетов, "новый класс" сбросил Хрущева с трона. Можно предвидеть, что и в дальнейшем этот класс будет защищать свои привилегии. Поэтому оздоровить советский режим "сверху", да еще при коллегиальном руководстве, — несбыточное дело. Будь на месте Брежнева Петр Первый, ни перед чем не останавливающийся для осуществления цели, и то его отстранили бы от власти прежде, чем он попытался бы оздоровить советский режим.

Тем не менее, только борьба за коренные изменения внутри системы, за децентрализацию партийного и хозяйственного аппарата и за ликвидацию вездесущего полицейского надзора способна увлечь массы советских людей и привести их к "раскрытию" советского общества, в котором эти массы заинтересованы гораздо больше, чем паразитический аппарат. Трудно согласиться с теми, кто утверждает, что русский характер содержит в себе какое-то генетическое препятствие для создания демократического государства. Создание на развалинах монархии современного тоталитарного советского государства было результатом насилия и обмана, а не исторической закономерностью. Даже в декабре 1917 года, несмотря на диктатуру большевиков, на выборах в Учредительное собрание за тех, кого Солженицын называет теперь "безвольными бездарностями", проголосовало в два с половиной раза больше избирателей, чем за диктаторов, захвативших власть. Ленин не нашел тогда лучшего выхода, нежели разгон депутатов, избранных на впервые проведенных в России всеобщих выборах. "Революция не приблизила, но даже отдала день и час, когда на месте власти захватной и насильственной, засияет власть, избранная и провозглашенная народной волей, — пишет беспощадный критик русской монархии Амфитеатров. — Временное правительство оказалось хозяином неработоспособным и нерадивым, а второй — советская власть, повел себя прямо-таки грабителем с большой дороги." По мнению Амфитеатрова, эта власть утвердилась лишь благодаря тому, что "процессом истребления, вооруженного девизом "грабь награбленное", большевики незаметно создали новый средний класс, новую буржуазию", ставшую "оплотом советского государства". Расстрелы рабочих-социалистов, упразднение рабочего самоуправления, роспуск советов рабочих депутатов, запрещение манифестаций, закрытие газет, кровавое подавление крестьянских восстаний, — так на корню была уничтожена молодая русская демократия и заменена иерархическим, централизованным мили-

таристическим режимом, возглавляемым "коммунистической олигархией", похваляющейся тем, что она владеет "самой большой армией в мире". Понадобилась затяжная война с собственным народом, чтоб установилась эта новая антидемократическая система, ничего общего не имеющая ни с социализмом, ни с мечтами Маркса. Гражданская война была, прежде всего, войной большевиков с русскими социалистами и поддерживавшими их массами, а уже потом — с белыми и Антантой. Советская пропаганда всегда предаёт своих главных духовных и политических врагов забвению, вымарывает из книг их фотографии и запрещает произносить вслух их имена. Так поступили и с теми, кто после свержения царя отстаивал право народа путем демократических выборов самому решить свою судьбу. В советских учебниках истории можно прочесть, что главными противниками большевиков были юнкера, белогвардейцы, контрреволюционеры. О том, что большевики беспощадно боролись с собственным народом, с рабочими, крестьянами и наследниками всех русских революционных партий, стыдливо умалчивается, как будто их никогда не существовало.

Но политическое поражение и даже недалёковидность в борьбе с ничинным, вероломным и беспощадным врагом еще не свидетельствуют о невозможности перемен. Цивилизованной Франции и то потребовалось после революции целое столетие для того, чтобы она окончательно утвердилась как республика. Недаром советская власть боится возникновения соперничающих с ней социалистических режимов больше, чем самых реакционных и консервативных капиталистических держав. Именно из-за этого страха она раздавила своими танками первые цветы "пражской весны" и до сих пор не позволяет своим гражданам выбирать даже между двумя кандидатами в депутаты. Она знает, что, как кашеева смерть была запрягана в огурце, так и ее погибель неотделима от свободного волеизъявления народа.

Политический застой, нелепейшая система управления, подавление личной инициативы уже привели к экономической зависимости Советского Союза от передовых капиталистических стран и отодвинули его на позорное тридцать второе место в мире по доходам на душу населения. Чтобы разрешить этот затяжной кризис, поляки, на нашем месте, устроили бы забастовку. Чехи организовали бы уличные манифестации. А лидеры русской эмиграции призывают отказаться от политической борьбы, духовно совершенствоваться и уповать на грядущее религиозно-национальное возрождение, столь же невозможное в условиях однопартийной системы и отсутствия свободы, как и экономический расцвет.

## 5. Шум вокруг диссидентов.

Безымянные остряки сразу же после смещения Хрущева зарифмовали имя Брежнева со словом "по-прежнему". Именно в согласии ничего не

менять и заключалась главная гарантия его назначения. Новый генсек понял, что даже самые робкие попытки провести экономическую реформу и частичную либерализацию советского общества пошатнут положение руководящей партийно-бюрократической элиты. Вместо того, чтобы совершенствовать государственный капитализм, развивая в нем социалистические элементы, он предпочел сделку с богатыми партнерами, и с помощью американского хлеба и техники гальванизировал труп. Оберегая равновесие, основанное на неподвижности, он расплатился тем, что передал на иждивение своих кредиторов сотню тысяч евреев и горстку немцев и диссидентов, по мановению волшебной палочки появившихся из небытия в качестве признанной общественной группы и ценной международной валюты. Благодаря огромному резонансу, который получил на Западе "Архипелаг Гулаг", ставший бестселлером, вокруг диссидентов поднялся идеологический шум, которого не было ни в 1918 году, когда советская власть расстреливала рабочих, крестьян и революционную интеллигенцию; ни в годы принудительной коллективизации и массового уничтожения крестьянства; ни во время сталинских репрессий. Но шум этот не причиняет Брежневу никаких серьезных неприятностей. Мастер политической эквилибристики легко уравнивает невыгодные стороны обмена выгодными. Расплывчатое по смыслу слово "диссидент" чаще всего означает умеренного противника режима, который подписывает петиции, передает иностранным корреспондентам кое-какую информацию, защищает права человека и в то же время не умирает с голоду и не попадает в тюрьму. В глазах рядового советского человека, которого "засекает" КГБ, как только он приближается к иностранцу, и которому не на что жить, если его уволят с работы, это — привилегированная, особая каста, которой дозволено больше, чем другим. У нее нет ни политической программы, ни общих целей. Здесь и потенциальные эмигранты, которых не связывает ничто, кроме желания поскорее получить выездную визу; и добровольные мученики, посаженные за свои идеи за решетку; и самоотверженные, принципиальные борцы против любых проявлений несправедливости, как академик Сахаров, писатели Георгий Владимов и Феликс Светов; и примазавшиеся к модному движению дельцы, наживающие известность и состояние на пустых и широковещательных декларациях.

Советская власть — хитрый, расчетливый политикан, который позволяет существовать только тому, что для него выгодно. Если она не задушила диссидентов, то лишь потому, что на международном рынке они оказались ценной валютой. Главное же то, что за границей ими интересуются больше, чем дома, где о них можно узнать только из зарубежных передач. Западным журналистам есть о чем шуметь. У слушателей и читателей создается впечатление, что в Советском Союзе, наконец, появилось что-то вроде легальной оппозиции, и что инакомыслящим не мешают теперь создавать филиалы международных организаций и фондов и даже

издавать подпольную "Хронику".

Мало кто из иностранцев догадывается, что всё это предназначено для "внешнего употребления", так же, как "смелые" стихи Вознесенского или Евтушенко, которые им разрешают читать только за границей.

Дома же всё идет "по-Брежневу, по-прежнему": самые смелые из инакомыслящих гибнут в одиночестве; люди боятся разговаривать о политике даже с самыми близкими; всё опутано сетью тайного надзора и доносов; недовольство загнано вовнутрь.

Как тайное отделение царской "охранки" одобрило в начале двадцатого века зубатовские "Собрания фабрично-заводских рабочих", созданные полицией, чтобы прибрать к рукам нарождавшееся в России рабочее движение, так КГБ, чтобы предотвратить возникновение массовых организаций, имеющих глубокие корни в народе, предпочитает иметь дело с небольшими группами замкнутых в своем кругу "правозащитников", "подписантов", или людей, отстаивающих свое право на выезд из СССР. Стоит их кругу расшириться, начинаются провокации и аресты. Начиная с процесса Якира, органы безопасности, с помощью подставных "героев", вылавливают и душат втихомолку всех, кто представляет серьезную опасность для режима.

Редкий процесс над диссидентами обходится без покаяний, предательства, попыток выгородить себя за счет других. Иногда, через "Самиздат", запускаются рукописи, изготовленные в недрах самого КГБ, как было со статьями по национальному вопросу.

Разумеется, неоткуда взяться единству цели и среди "третьей волны", обосновавшейся теперь за рубежом. Диссиденты раскололись в эмиграции на "западников" и "почвенников". Первые обычно бранят Россию, вторые — восхваляют. Но, независимо от лагеря, и те, и другие обычно дают Западу одинаковые советы, что Россию лучше не трогать, не то будет еще хуже. "Почвенники" убеждены, что русским необходимы однопартийная система и авторитарное правительство. Западники тоже смотрят на родной народ, как на стадо баранов, идущих туда, куда их гонят. И те, и другие уверены, что никаких существенных перемен на их веку в России не произойдет, и не ставят перед собой задачу их приблизить. Большинство из них убежденные антиколлективисты, не придающие массам значения и не знающие их настроений.

Деятельность их в эмиграции заключается в том, чтобы устраивать митинги и собирать подписи в защиту других диссидентов, оставшихся на родине; налаживать связи с масс-медиа, давать интервью, позировать перед фотокамерами.

"При деспотиях не большинство решает... При деспотиях большинство пассивно. Но зато решающее значение получает активное меньшинство", — утверждает один из "западников", забывший, что русская монархия зашаталась уже в 1905 году именно благодаря мощному революционному дви-

жению рабочих, крестьян и интеллигенции. "Остается лишь постепенный эволюционный путь от деспотизма к демократии", — успокаивает он себя, отодвигая борьбу за свободу на далекое будущее, когда самого его уже не будет в живых. Тем не менее, этот новообращенный "западник", вчерашний член КПСС, благополучно защитивший в Москве диссертацию, сравнивает себя и своих приятелей с народниками: "Тех тоже было мало. Их тоже гнали и мучили на фоне всеобщего безучастия."

Он не замечает коренного отличия: народники — не в пример нашим диссидентам — были *революционерами*, и их деятельность была обращена к собственному народу. Их не интересовал ни идеологический шум, ни извлеченные из него выгоды. Они не давали интервью и не делали широко-вещательных политических деклараций, как Ленин, начавший свою бурную политическую карьеру с подписанного семнадцатью фамилиями "Протеста русских социал-демократов".

Деятельность большинства из них проходила в полной безвестности. Они боготворили народ. Жертвовали своим богатством и положением, чтобы разделить с мужиками и рабочими их бедствия. Организовывали кузницы, столярные мастерские, вечерние школы, артели, подпольные типографии. Конечно, теперь не те времена. При нашей паспортной системе и повсеместном наличии стукачей любое из этих мероприятий провалилось бы в первую же неделю. Но зачем проводить ложную параллель?

В корне неверно и то, что народников "тоже было мало". В одном лишь 1874 году на судебную скамью было посажено пятьдесят, а затем сто девяносто три молодых человека, наладивших в тридцати семи российских губерниях сеть революционной пропаганды. В восьмидесятых годах почти вся русская студенческая среда была охвачена народническими кружками. Считалось, что любой порядочный человек обязан быть в России революционером. Народников было так много, что в письме к Вере Засулич Энгельс писал, что остается только поднести фитиль, чтобы в России вспыхнула революция. Какое же может быть сравнение с диссидентами, которые не связаны с народом, не ведут среди него никакой пропаганды, осуждают конспирацию и терроризм, и даже считают своим долгом, во избежание неприятностей, самим предупреждать КГБ о каждом задуманном ими шаге?

"Не всякая форма протеста смогла пробиться в реальное существование, — уверяет вышеупомнутый диссидент. На деле же, советское руководство "допустило" пока только существование "протеста на экспорт", способного служить разменной монетой, и, разумеется, не пустило этого дела на самотек. Интересно, кому служат те из диссидентов, которые в один голос твердят западным корреспондентам, что демократические свободы и права русскому народу сегодня не нужны и что "социальные низы советского общества настроены недемократически"?

Надо совершенно не знать деревенскую и провинциальную Россию,

как не знает ее большинство столичных диссидентов, замкнутых в своем узком кругу, чтобы не заметить, что шестьдесят два года советской власти разрушили в народе не только какое-либо чинопочитание, но и последние остатки уважения к начальству и к интеллигенции. Во всей Европе нет другого народа, который так презирал бы своих вышедших из хамов панов, так был бы убежден в своем превосходстве над ними. Не знаю уж, в чем заключается "антидемократическая настроенность" народа, помешавшаяся упомянутому нами диссиденту? На деле существует лишь политическая дезориентация, естественная в условиях отсутствия гласности и существования огромного идеологического аппарата, деятельность которого направлена на то, чтобы создать превратное представление обо всем, что происходит за рубежом, и скрыть внутренние противоречия режима.

"Низы", которым Ленин когда-то пообещал право участвовать в управлении государством, не хуже "верхов" знают, что даже участие в этом управлении в качестве пешки и то покупается ценой подлости и предательства общих интересов. Однако и старые традиции, на которые опиралась монархия, в России разрушены. Невольно приходишь к заключению, что оздоровление советского режима, о котором Солженицын мечтает, как о наименьшем зле, возможно лишь на демократической основе путем либерализации, децентрализации, уничтожения паразитического управленческого и партийного аппарата и осуществления обещанных революцией прав и свобод, которых народ до сих пор так и не получил.

Россия — не Венгрия, которая, осознав обман, берется за оружие; не Польша, заставившая своих коммунистов считаться с Богом как с могучей политической силой, отказаться от колхозов и смириться с тем, что бастующие рабочие выходят на манифестации с пением "Интернационала" и католического гимна. Русский народ попал в тоталитарное рабство на четверть века раньше, пережил истребление самой коренной своей силы — крестьянства, лучшей части интеллигенции и всех элементов, для которых идеи представляли ценность. Он болен тяжелее. Отсутствие сопротивления, покорность лжи и насилию и массовый алкоголизм говорят о сложенной воле. Солженицын видит путь к выздоровлению в возрождении православия и в стремлении жить не по лжи. Но даже это не осуществимо в советских условиях без политических перемен, в которых заинтересованы только "низы" и интеллигенция, и которые поэтому возможны только "снизу". Зная цепкость, лживость и цинизм "нового класса", можно предсказать, что такое "оздоровление" никогда не осуществится без упорной, самоотверженной борьбы.

Ясно и то, что такая "Четвертая революция", способная освободить Россию из тоталитарного рабства и превратить ее в открытое общество, встретит всеобщее сочувствие и поддержку в широчайших народных массах.

*(Продолжение следует)*

## Поэма без предмета

### Песня Шестая.

#### 1

Придворов или Безыменский  
Атилою идет на Рим?  
Слюною брызжет Евтушенский,  
и Вознесенко вслед за ним.  
Не Рим, а университеты,  
редакторы газет, поэты,  
все, падкие на красный хмель –  
им заповеданная цель.  
Стишки – ни складу в них, ни ладу,  
но, власти собственной назло,  
народу множество пошло  
отхлопать толмачам награду:  
когда б не их живая речь,  
игра не стоила бы свеч.

#### 2

Клюют на "новые идеи"  
бездельницы и сорванцы:  
нечесанные лорелеи,  
длиннобородые юнцы.  
Андрей, взобравшись на подмостки,  
расплескивает ополоски  
позавчерашнего вина  
(где в Маяковском новизна?):  
Н.К.В.Д., плати за дело!  
А "честный парень", отпросясь  
у пристава, разносит грязь,  
хрипит, горланит оголтело,  
за веру беспощадный к нам,  
к американцам – за Вьетнам.



## 3

Не у партийного витии –  
орденоносной мелкоты –  
я нахожу моей России  
неистребимые черты,  
а у ничем не знаменитых  
поэтов, часто полусытых,  
которым платят за строку,  
как мне "Рубеж", по пятачку.  
Но беден был "Рубеж" любезный,  
трещал по швам его кафтан,  
а тут – разъевшийся тиран,  
страну зажав рукой железной,  
тем, кто способней и смелей,  
не выдавит пяти рублей.

## 4

Врунишка, поскорей слезай-ка  
и дружеский прими совет:  
не скрипка ты, а балалайка,  
фельетонист, а не поэт.  
В *таких* бросают не гранаты,  
а полусгнившие томаты,  
*таких* нещадно палкой бьют,  
*таким* пощечины дают.  
И правда: не венки, не розы –  
заслуженная дань тому,  
кто принимает Колыму,  
Караганду, кету, колхозы,  
кто воспекает ильичей,  
Лубянку и спецсхвращей.

## 5

Куда деваться от засилья  
повеселевшего хамья,  
нам подрезающего крылья  
тупыми бритвами вранья?  
По-русски я читаю реже,  
и мне претят одни и те же  
давно истертые клише,  
чужие глазу и душе.  
Воистину: слова – прислуга,  
слова – разносчики газет.  
На пошлости терпенья нет,  
как нет на это и досуга!  
С большой охотой заменил  
я их *Журналом до Бразил*.

## 6

Давно просмотрена газета  
 (важнейшее — футбольный матч),  
 а я сижу и жду омлета,  
 пожалуй, с полчаса, хоть плачь!  
 Сплошал я сам, по-португальски  
 заговорив. Чтоб мало-мальски (1)  
 рассчитывать на быстроту,  
 здесь надо речь держать не ту:  
 казаться суше и моложе,  
 стаканчик джина заказать,  
 на грудь салфетку повязать,  
 на масло поглядеть постroje  
 и, чтоб задвигался лакей,  
 небрежно бросить: — 'Quick! O.K.?'

## 7

Как с истиной сживусь печальной?  
 К тому досель я не привык,  
 что гибнет наш многострадальный,  
 наш изумительный язык.  
 Зато, решительно отринув  
 "сексотов", "самбо", "наркомфинов"  
 и оттолкнув одним щелчком  
 "комбригов", "учпедгиз", "ревком",  
 хвалю бразильскую свободу,  
 опять позволившую мне,  
 в изгнании русскому вдвойне,  
 внимать неближнему народу,  
 хотя и так за рубежом  
 язык мы лучше бережём.

## 8

Есть у меня в прихожей шкафчик,  
 где, чтоб не лезли из людской,  
 грустят словечки "пресса", "траффик",  
 уволенные на покой.  
 Общественный — не "социальный",  
 желательный — не "идеальный",  
 и дама не "дезабилье",  
 а попросту в одном белье, —  
 слова, достойные гостиной,  
 исконно русские слова:  
 отстаивая их права,  
 струенье музыки старинной,  
 я падаю — насилье, сгинь! —  
 к ногам обиженных княгинь.

## 9

И правда: бедной был деревней  
 мой русский маленький Харбин,  
 но звонче пел он и напевней  
 чужих Орфеев и Ундин.  
 Там вырос я без кильских килек,  
 без башен базельских базилик,  
 в парах Парижа не мелькал  
 и китаизмов не искал.  
 Иначе без местоимений,  
 без наклонений и времен,  
 без грамматических имен  
 писал бы я, как пишет гений (2)  
 то "вскорости", то "двое баб"...  
 Но нет: я не настолько слаб.

## 10

Пока я сдуру бредил бабой  
 и в каждую влюблялся грудь,  
 я насыщался рифмой слабой,  
 созвучием каким ни будь.  
 Признаюсь — и не покраснею:  
 "весну" мы рифмовали с "нею",  
 а нынче Тюрина одна  
 заветам юности верна.  
 Рифмуют нынче по-иному:  
 кто "могикана" с "мотыльком",  
 кто "щиколотку" со "щенком",  
 кто "сколопендру" и "солому",  
 кто "Перелешина" с "Перу",  
 кто "крокодила" с "кенгуру".

## 11

Сегодня почта: от Иваска  
 письмо и обо мне статья:  
 "придуманная страсть — развязка —  
 ниспроверганье бытия" (3).  
 Еще, с малийской маркой новой,  
 письмо от Тюриной-Стрельцовой:  
 "Вам написал бы сам Богдан,  
 да он уехал в Ибадан,  
 где пламенные ибаданки,  
 вращая бедрами, снуют  
 и передышки не дают  
 женолюбивому Богданке,  
 и ждет не долларов, так бус..."  
 ("Богданке"? — незавидный вкус!)

## 12

"Он карточку для вас оставил,  
но не дал мне черновика:  
фотограф нос ему подправил  
и удлинил на полвершка,  
а жаль: Богдан весьма курносый  
и, ко всему, рыжеволосый,  
но, битву выдержав со мной,  
не сделал карточки цветной.  
Глаза бесстыдны, как у кошки  
(сказать точнее: у кота),  
но я совсем не так проста  
и муженьку приставлю рожки:  
ведь — и не только для души —  
малайцы тоже хороши."

## 13

Мы все чего-нибудь желаем,  
и я хотел бы, например,  
постранствовать по Гималаям,  
по перевалам Кордильер,  
ввязаться в парусные гонки  
по величавой Амазонке,  
уметь на языке тупи  
сказать "писэ" и "маргапи" (4).  
Увы, напрасно я вздыхаю  
и рвусь на волю за межу:  
все так же, там же я хожу  
по надоевшему Шанхаю  
и ухитряюсь каждый день  
сильней затягивать ремень.

## 14

Я был тогда неблаголепен:  
худ, неопрятен, бородат...  
И все же: милый Валя Щепин (5)  
пришел не вовсе невпопад  
раз и другой, и с каждым разом  
кряхтел я меньше над заказом  
на переводы то статьи,  
то розовой галиматии.  
Мне был заказчик не известен,  
но я сидел кротом в норе  
и рылся в тощем словаре:  
как переводчик, был я честен,  
и так же честен и сейчас,  
а те заказы шли от ТАСС!

## 15

Вот, наконец, восьмое мая:  
 войны в Европе больше нет,  
 но для Китая — и Шанхая —  
 не в тот же день забрезжил свет,  
 хотя путями непрямыми  
 мы слышали об Иводжиме,  
 о том, что пали Аракан,  
 Акъяб, Рангун, Баликпапан.  
 А дальше — взрыв атомной бомбы  
 В Японии, и новый взрыв,  
 потом — по радио — призыв  
 Тенно: "Довольно гекатомбы,  
 Япония побеждена,  
 и тем закончена война."

## 16

Пока в Европе шло сражение,  
 как помнится, за Черный Лес,  
 я жадно принял приглашение  
 от молодежи Р.О.С. (6)  
 рассказывать о Гераклите,  
 Анаксагоре, Демокрите,  
 о том, что думали Зенон,  
 Сократ и Горгий, и Платон,  
 как мыслили пифагорейцы  
 и протагор, и Парменид,  
 и Аристотель, и Евклид,  
 и плоские эпикурейцы,  
 и достигавший до вершин  
 святой епископ Августин.

## 17

Закончив лекцию, вопросов,  
 склонясь над кафедрой, я ждал,  
 и на меня шальной теософ (7)  
 с ожесточением наседал:  
 — Забыл оратор, что культура —  
 сплав слова "куль" со словом "Ура",  
 а древний вавилонский Ур —  
 начало знаний и культур.  
 А вот еще: "конец зона",  
 но как же не заметил он,  
 что в электричестве "ион",  
 а в Библии — пророк Иона?  
 А следует, как дважды два:  
 Блаватская во всем права!

## 18

Под визги дам и рев студентов  
 ("Ай, Саша, чем не чародей?")  
 срывал цветы аплодисментов  
 наш доморощенный халдей.  
 Но речь моя не о халдеях,  
 и через месяц об идеях,  
 первичных формах бытия,  
 рассказывал с восторгом я.  
 Передо мной уселись вместе  
 прослушать пылкий мой рассказ  
 гостивший в эти дни у нас  
 владыка Виктор (столько чести:  
 брада, клобук, дородный стан) —  
 и неказистый Иоанн.

## 19

Раскормленные и худые,  
 одеты в бархат — и в мешки,  
 караковые и гнедые  
 саврасы, пони, Горбунки,  
 прекрасны или неприглядны,  
 а все копытны, травоядны,  
 четвероногостью равны,  
 в лошадности заключены, —  
 по разработанному плану  
 я слушателям возвещал  
 и, вероятно, спать мешал  
 забывшемуся Иоанну,  
 который только от хлопков  
 слетел назад из облаков.

## 20

Над раздвоеньем Августина  
 (то райский свет, то мрак низин)  
 вздыхала смуглая Марина (8),  
 зевал Алеша Топорнин (9),  
 но славой веяло имперской  
 от герцогини Лейхтенбергской (10):  
 Романовы и Богарне  
 родными сделались и мне  
 через еп воспоминанья  
 о прежней жизни близ Двора.  
 Мне нравилась ее игра (11),  
 манеры, ум и дарованья,  
 и, даже в бедности большой,  
 уменье не кривить душой.

## 21

К Изиде, госпоже Орловой ( 12)  
 заглядывать бывал я рад  
 и сиживал в ее столовой,  
 похожей на товарный склад,  
 где, обитателей печала,  
 казбекичились два рояля,  
 курильницы, индийский трон,  
 иконы, статуи мадонн,  
 приемный сын, ворона в клетке,  
 облезлый флегматичный кот,  
 стол, и на нем альбомы нот,  
 стихов, черновики, заметки,  
 а веники и всякий хлам  
 стыдливо жались по углам.

## 22

Изидины любил я среды:  
 вино, печенье на столе,  
 толпа гостей, беседы-бреды  
 в разнеживающем тепле,  
 Рахманинов, Стравинский, Малер,  
 рассказы вдовствующей Валер ( 13)  
 о том, что снилось ей во сне  
 то без луны, то при луне:  
 в то воскресенье — грозд бананов  
 загнил, обмяк, поехал вниз,  
 в четверг — распаянно повис  
 десяток самоварных кранов:  
 А-кан, мальчишка молодой,  
 забыл наполнить их водой!

## 23

Сегодня — снился мне упорно  
 огромный гребень костяной,  
 но зубья — просто смехотворно —  
 обламывались надо мною...  
 Какая горькая обида! —  
 Мы не показываем вида,  
 что неотвязчивые сны  
 по Фрейду были нам ясны,  
 что знойное томленье вдовье —  
 бананы, краны и зубцы,  
 неполноценные самцы —  
 напрашивались на злословье...  
 Пусть необломчивый зубец  
 вдове приснится, наконец!

## 24

Своим я стал в мирке убогом  
и не ищу забав толпы,  
но к чудакам и астрологам  
тогда влеклись мои стопы.  
Один из них — Кирилл Батулин (14) —  
был полусвят, полукультурен  
и по приемлемой цене  
два тома "Врат" (15) сосватал мне.  
Питался он лапшой и репой,  
буддийский соблюдал закон,  
Рамачаракой бредил он,  
Вивеканандой, Миларепой:  
не ставя "маи" ни во что,  
вздыхал об острове Пу-то (16).

## 25

В Болгарском (17) чтил я не буддиста,  
а несомненный Божий дар  
портрето-жанро-пейзажиста  
под псевдонимом "Борегар".  
Его живые зарисовки:  
крестьяне, рыбаки, торговки,  
прохладные монастыри,  
задумчивые фонари,  
ворота, пагоды, монахи,  
большие гонги в виде рыб (18).  
гранитные, из цельных глыб  
изваянные черепахи (19)  
шуршат и ныне надо мной  
тысячелетней тишиной.

## 26

Однообразьем декораций  
соборный дом наскучил мне:  
и вот, живу в тени акаций  
тишайшей улицы Massenet  
в чужой привратнице у входа.  
Полуголодная свобода  
сытней казалась и милей,  
чем ладан и полиелей.  
Служил я в церкви Женской Лиги (20),  
на сходках пастырских бывал (21),  
но понемногу забывал  
вдруг полегчавшие вериги:  
свои давнишние мечты,  
каноны, четки и посты.



Без праведности богословской  
 жить — не такая уж беда:  
 с домовладелицей Садковской  
 речь заводил я иногда  
 над газовой веселой плиткой.  
 Она слыла "иоанниткой" (22),  
 хоть, изредка придя в собор,  
 вставляла скромницей в притвор,  
 чтоб достоять до "херувимов".  
 и незаметно ускользнуть,  
 и день заполнить чем ни будь  
 (ей нравились Владимир Крымов,  
 камин, потрескивание дров,  
 проделки пары "пинчеров" (23).

Садовская... Взволнован тайной,  
 склонись и ты, читатель мой:  
 ее рассказ необычайный  
 я слышал от нее самой.  
 Она была женой счастливой,  
 не мелочной, не суетливой,  
 была разумна и добра,  
 но... к ней приехала сестра,  
 а с нею — мастерство улыбки,  
 нагое — во-время — плечо,  
 и в сердце мужа горячо  
 осенние запели скрипки...  
 Ну, словом, влипли в адюльтер  
 belle-soeur кокетка и beau-frere.

Теперь для блудного угара  
 есть отговорка 'Nothing wrong!'  
 А в годы те — дурная пара  
 сбежала наскоро в Гонконг.  
 Теперь соломенные вдовы  
 освобождать мужей готовы,  
 но твердо помнят об одном —  
 не уступить на отступном:  
 наклюнется другой мужчина!  
 А в годы те... Позор колец  
 поруганных — всему конец,  
 записка, пузырек стрихнина,  
 и служат за душу твою  
 коротенькую литию.

Стихает ближе к часу ночи  
гул отдаленных голосов,  
Следят заплаканные очи  
за стрелкой медленных часов,  
ползущей вверх, к зениту ада.  
И вдруг — последняя досада:  
грозит отсрочкой похорон  
нетерпеливый телефон  
(видать, бездельнику не спится:  
наверно, короток диван?).  
— Са-нин? (24) — Епископ Иоанн.  
Велю тебе остановиться.  
Яд выплесни и не чуди,  
а завтра в церковь приходи.

Чтоб видеть нашу подоплеку,  
совсем не надо капать воск.  
В те месяцы неподалеку  
я книжный высмотрел киоск,  
изданий россыпь антикварных,  
и между залежей словарных  
облюбовал я книгу книг:  
"Цы-юань" (25), китайских слов *Родник*  
не по возможности кармана.  
Зато купил я за гроши  
и "Сань-бай-шоу" (26), и "Цянь-цзя-ши" (27),  
а после за три океана  
увез — и под рукой держу:  
читаю и перевожу.

Книготорговцем был рабочий  
текстильной фабрики Вингои (28):  
одним из главных средоточий  
в моей судьбе остался он.  
Бывало, каждую субботу  
на сверхурочную работу  
ко мне являлся Лю Тянь-шэн —  
Лю Син (29), а для меня — Люсьен (30).  
Слюбились мы легко и сразу:  
звала натопленная печь  
раздеться догола и лечь,  
и он ложился без отказа,  
а утром, повторив обряд,  
спешил вернуться в книжный ряд.

## 33

"Ты счастьем опьянен, Валерий,  
но лучше с Богом не шути:  
равновеликою потерей  
за упоенье заплати!  
Идешь ты к моему подножью,  
изглоданный греховной ложью:  
тебе сквозь таинства креста  
другие видятся уста,  
другое насыщенье снится  
не Божьей плотью, а земной,  
не Божью кровью, а слюной.  
Ты должен плакать и молиться,  
чтоб отогнать соблазны прочь  
и Асмодея превозмочь!"

## 34

Так я придумывал, шагая,  
ревнивый Божий монолог.  
Грех — или жизнь совсем другая?  
Но сделать выбор я не мог.  
Моя объемистая ложка  
легко вместит и два горошка (31):  
тьму — и стоянье на свету,  
свет — и скольжение в темноту,  
к полудню штиль, а ночью бури.  
Не не таких ли Бог клеймит  
позорной кличкой "наймит",  
и хуже — волк в овечьей шкуре" ?  
Чтоб не скудела благодать,  
иначе следует страдать!

## 35

За то, что радости другія  
посмел я втайне предпочесть,  
кошунственная литургия —  
уже не золото, а жечь,  
и сердце больше не трепещет,  
-а раздражительно скрежещет,  
язык бредет по ектеньям,  
как обвинитель по статьям.  
Богооставленным Саулом,  
уже предобреченный царь,  
я исчужа вхожу в алтарь,  
но пенье стало смутным гулом,  
и над молитвой хоровой,  
Лю Син, я слышу голос твой!

## 36

О всешанхайском ликованьи  
 писать — пожалуй, места нет  
 в разбросанном повествованьи,  
 уже вместившем тридцать лет  
 от Петербурга до Шанхая.  
 Но и теперь, не отдыхая,  
 тащись, понурый мой конёк:  
 конец пути еще далек!  
 Уже японские жандармы  
 в цепях и виселицы ждут,  
 и в мир не раз еще придут  
 носителями страшной кармы:  
 за нашу боль, за стон и вздох  
 накажет их буддийский Бог.

## 37

А между тем, вернуться людям  
 пора к житейской суете,  
 и мы с готовностью забудем  
 о воздержаньи и посте,  
 хотя, как выше я сознался,  
 за воздержаньем я не гнался  
 и не хотел бы голодать  
 ни за какую благодать.  
 Теперь и комната другая:  
 над гаражем, где две зимы  
 исправно собирались мы,  
 к стихам от прозы убегая...  
 Жестокий Хронос, не спеши,  
 замедли шаг на **Route Grouchy**.

## 38

Теперь не убежать от прозы,  
 от обывательских забот:  
 тепличные попали розы  
 в стремительный водоворот,  
 и я мечусь без литургии,  
 без Пятницы и без Марии  
 Коростовец: опять она  
 живет под небом Пекина  
 и забывает огорченья  
 торговли медом выписным (32),  
 сраженья с отпрыском шальным (33) —  
 и правила стихосложенья,  
 хотя и прежде никогда  
 в них не была она тверда.

Я заново списался с братом (34):  
 теперь он, отставной капрал,  
 начавший путь простым солдатом,  
 беспечно в воллей-болл играл.  
 Одетые лесами горы,  
 калифорнийские просторы,  
 арбузы, вишни, виноград —  
 милее воинских наград  
 за мертвизну и глушь Аляски,  
 Фербэнкс и Анкорэйдж, и Ном  
 в однообразьи ледяном,  
 палатки, вышки, перетряски  
 консервы, просеки в снегу  
 на Беринговом берегу!

## 40

Едва Меньчжурию на годы  
 японская покрыла тьма,  
 решили мы в страну свободы  
 бежать от рабского ярма,  
 и выбран был для жизни новой  
 единственный вполне здоровый  
 мой брат — отличный инженер  
 (мне, к сожаленью, не в пример),  
 Теперь, по прерванному плану,  
 возобновили мы завет  
 и дело начали с анкет,  
 но пересказывать не стану  
 то, что известно здесь и там  
 и простофилям, и плутам.

## 41

В ту пору я не ждал сюрпризов  
 судьбы, — так вот они, как-раз!  
 Однажды получил я вызов  
 почтительный — явиться в ТАСС  
 к директору, в одну из храмин,  
 где обходительный Якшамин (35)  
 (простецкий вид, открытый взор)  
 ко мне имеет разговор.  
 Так растекаться ли по древу?  
 Пожалуй, расскажу прямей,  
 что и меня опутал змей,  
 как зазевавшуюся Еву,  
 и, чтоб не прозябать, а жить,  
 пошел я к палачам служить!

## 42

Три года делал я обзоры  
 из десяти передовиц:  
 описывал дела и споры  
 правителей и частных лиц,  
 чьи притязанья и растраты  
 прозрачно кутались в цитаты,  
 как будто строки мудрецов  
 оправдывают подлецов,  
 расчетам низменным в угоду  
 пятнающих свою же власть,  
 поющих и кричащих всласть  
 о жертвенной любви к народу...  
 Расшатывался истукан —  
 насквозь прогнивший Гоминьдан (36).

## 43

Контора ТАСС... Ряды машинок.  
 Стук, трескотня, В дыму густом  
 маячит бородатый инок  
 в дешевой ряске и с крестом,  
 единственный без сигареты.  
 Пред ним — китайские газеты.  
 Взгляните на него: каков?  
 Он пишет без черновиков:  
 по фразе вычурной побродит,  
 задумается раз и два,  
 исправит изредка слова,  
 но переводит, переводит  
 всё малословней, всё быстрее —  
 и без громоздких словарей!

## 44

По чину меньше, чем поручик  
 (белобандит и водолаз (37)).  
 срамил я наглых недоучек  
 и беззастенчивых пролаз.  
 Якшамин ласковый доволен:  
 один китевед уволен,  
 за ним отставлен и другой,  
 а я, монах, чужак, изгой,  
 поэт и попросту разиня,  
 держусь упрямо наверху:  
 перевожу то Who Is Who (38),  
 то лучшие труды Лу Синя (39),  
 то Го Мо-жо (40), то Цзан Ко-цзя (41),  
 ни перед кем не лебезя.

## 45

Награды ждал я, а не штрафа,  
и стало мне не по себе,  
когда мой шеф извлек из шкафа  
"Историю ВКП(б)",  
чтоб эту скуку взял я на дом,  
а я в те месяцы к балладам  
тянулся: Мэйсфилда читал  
и к Испаньоле улетал  
наедине, потом с Лю Сином,  
чем приводил его в восторг:  
и вдруг — сойти в словесный морг,  
насквозь пропахший нафталином?  
Ура — а может быть, увы:  
я первой не прочел главы.

## 46

Так — и не слишком неуклюже  
отверг я нудный диамат,  
но сжался красный обруч туже  
( жаль, я не помню точных дат),  
когда кремлевские папаши,  
за нас обдумав судьбы наши,  
на целый возвестили свет,  
что эмигрантов больше нет,  
что родине великодушной  
( кичащейся заглавным "р")  
нужны и белый офицер,  
и критик самый непослушный,  
и чеботарь, и швец, и жнец,  
и робкие стада овец.

## 47

Как вырваться из паутины?  
Напрасно лгал я и тянул:  
от "краснокожей паспортины"  
я уклониться не рискнул,  
вписал бесстрашно в заявленье  
дворянское происхождение,  
монашество, священный сан —  
весь неоконченный роман.  
Пять лет носил я эту маску,  
и лишь в Гонконге, по пути,  
я с рук решился соскрести  
кровь — или нет, простую краску,  
и грех невольный искупил:  
в Ла Плате паспорт утопил ( 43).

## 48

Подвластный ПАК'у, полупленным  
 архиепископ жил, и он  
 в те дни преступником военным  
 в газетах был провозглашен.  
 Нашлось на нем немало пятен,  
 и с перепугу Виктор (Святин)  
 вернулся в подданство Москвы  
 (а как бы поступили вы?).  
 В Шанхае был он арестован,  
 среди немых душ и тел  
 три дня несчастный просидел  
 и вышел, сломлен и оплеван,  
 а из тюрьмы его извел  
 советский — сталинский — посол (44).

## 49

Не смог я уцелеть на стыке  
 непримиримых двух начал...  
 Решенья старшего владыки  
 никто не опротестовал (45):  
 и барицы, и разночинцы,  
 и русские, и албазинцы,  
 все подписали протокол,  
 а дальше начался раскол,  
 нагрянула беда лихая.  
 Казалось бы, не интриган,  
 а вдруг назначен Иоанн  
 архиепископом Шанхая (46),  
 а Виктор и его права?  
 Их признает одна Москва.

## 50

Который же из них изменник:  
 полковник или генерал?  
 Но, тех событий современник,  
 я сердцем Виктора избрал,  
 а Иоанн, уже в расколе,  
 служить собрался в женской школе!  
 В письме раскол я осудил,  
 письмо (47) к протесту прикрепил —  
 и вышел навсегда из чина  
 монашеского в мир назад,  
 в чин романтических баллад  
 и томной нежности Лю Сина,  
 вернулся в мутный свой уют,  
 где ангелы не запоют.



## 51

Конец вечерним перелескам, —  
 блуждай теперь в ночном лесу!  
 Зато я радуюсь поездкам  
 в глушь то Чжэцзяна, то Цзянсу,  
 чтоб, зорко оглядев задворки,  
 о древней вспомнить поговорке:  
 "Есть рай вверху (шан ю ьянь-тан),  
 есть и внизу (ся ю Су Хан)" (48).  
 Ничтожны по сравнению с ними  
 к себе влекущие толпу  
 Усун, Гаоцзяо, Хуаншань ("Чапу") (49),  
 где тоже я бывал — с другими,  
 но только эти города  
 впитал я в сердце навсегда.

## 52

Ханчжоу! Сюда пришли мы, словно  
 к истокам первобытия.  
 Мы — это Лидия Петровна (50)  
 и Ваня, сын её. И я.  
 Недаром в обрамлении этом  
 издревле пишется поэтам  
 о журавлях и о луне,  
 о лотосах и тишине.  
 Мысок лохматый огибая,  
 под однозвучный скрип весла,  
 буддийские колокола  
 воспел и я, плотину Бая (51),  
 Цяньтан и прочие места:  
 Лунцзин, Линьин и Лэйфынта (52).

## 53

В Ханчжоу бывал я многократно,  
 и, если бы не Мао Цзе-дун,  
 туда прибред бы я — обратно:  
 спуститься в черный Цюньдун (53),  
 пройти по травяным долинам  
 с тогдашним ласковым Лю Сином,  
 взобраться на уступы скал,  
 где свежий ветер нас ласкал,  
 Но я бежал от несвободы,  
 от прописной казенной лжи,  
 чтоб на родные рубежи  
 через моря глядеть и годы,  
 где и Лю Син, и Хусиньтин (54),  
 а я бездомен — и один.

Решили власти — вспоминаю  
 сквозь тучу дат и гущу лет —  
 перевести ( куда, не знаю)  
 Ханчжоуский университет.  
 Так повелел державный разум,  
 но встретился с крутым отказом:  
 по городу промчался шквал,  
 и с бою занят был вокзал.  
 Решилось дело штурмом быстрым:  
 "Друзья, вперед! Захватим путь,  
 в Нанкин пробьемся как-нибудь  
 и будем говорить с министром!"  
 Студенты нагнетали жар,  
 а машинист, а кочегар?

Попрятались, не помогают  
 (писэ, цэлу!). Пойдем пешком!  
 Уж юноши вагон толкают,  
 а в нем студентки цветником...  
 Дойдут, мерзавцы, в самом деле,  
 хоть на сороковой неделе,  
 дойдут, проклятые скоты!  
 Приходится взрывать мосты.  
 И нет мостов. И мы застряли.  
 А вдалеке оплачут нас  
 семейство Лю, Лариса, ТАСС:  
 "Каких людей мы потеряли!"  
 Как быть? И нам пешком идти?  
 Поищем кружного пути!

С Ханчжоу несладко расставаться:  
 прозрачно небо, воздух чист...  
 И все-таки в Шанхай прорваться  
 собрался частный моторист,  
 и мы с шанхайкой неизвестной,  
 в автомобиль его трехместный  
 усевшись, борзо понеслись:  
 кряхтели, охали, тряслись,  
 вздымали пыль и грязь месили,  
 испробовали двадцать мест  
 и снова ехали в объезд,  
 и колесили, колесили...  
 А я в забаву слушать мог  
 невероятный диалог.

Лю Син — чжэцзянец из Цзясина.  
 Узнав об этом, наконец,  
 спросила дама у Лю Сина,  
 как здравствует его отец,  
 чем занят он, какого клана?  
 — На улице Гастона Кана,  
 над кузницей, — ответил он.  
 — А мать? — На фабрике Вингон  
 мне платят мало. — Вы женаты? —  
 Вчера я видел виллу Лю (55).  
 Вы там бывали? — Я люблю  
 театр: иные акробаты  
 как будто вовсе без костей.  
 — Я тоже не люблю сластей.

Над бестолковым диалогом  
 смеяться — дерзким надо быть.  
 и начал я пекинским слогом  
 их разговор переводить.  
*Его* я понимал отлично,  
*её* — похуже, но прилично,  
 и понял: дикий мой "коуцян" (56) —  
 скорей заслуга, чем изъян,  
 в Китае узко-домовитом.  
 Мы ездили до темноты, —  
 везде разрушены мосты  
 правительственным динамитом!  
 В конце — сам Бог того хотел —  
 вернулись мы в Х.С.М.Л. (57).

Когда-то (58) памятник смиренный  
 Чураевке мы вознесли  
 и свой венок неполноценный  
 "Излучинами" нарекли.  
 Так нынче Пятнице покойной  
 мы памятник воздвигнем стройный  
 и поручим давнишний сон  
 книгоиздательству "Дракон".  
 Прочти, читатель, предисловье  
 о том, как ладили марксист  
 и "водолаз", и монархист,  
 и удивляйся на здоровье,  
 а после все-таки пойми:  
 не стало дело за *людьми*!

## 60

Печатник наш, Васильев хмурый,  
от нас неподалеку жил,  
и я к нему за корректурой  
домой с Хаиндровой ходил.  
И вот — я буду очень краток —  
нарядный том без опечаток  
оделся в серый переплет  
и направляется в полет (59).  
А чем платить? Читатель-комик,  
уймись, ответа подожди:  
стихи читали мы в "Диди"  
и в голубом кафе 'Atomic',  
и (это мне не по душе)  
помог советский атташе (60).

## 61

В ту пору хитрый Федоренко  
медведем был полуручным,  
но — вот позднейшая оценка:  
он оказался озорным!  
Среди Объединенных Наций  
ревел он против "махинаций"  
и домогался от держав  
признанья "пролетарских прав".  
Но месяц был тогда медовый,  
когда любой простак возьмет  
медведя-лакомку на мед,  
и у помещика в столовой  
послушно будет он плясать,  
собачьей цепью потрясать.

## 62

Изрядный том — не тощий томик,  
одна из дорогих затей!  
На вечер Пятницы в 'Atomic'  
сбежалось множество гостей.  
А на столе в соседнем зале  
уже остывшие лежали  
худые отпрыски семьи:  
хаиндровские и мои,  
да книжка милая Ларисы  
"Луга земные" — дивный сад! (61),  
а гости пили шоколад  
и вызывали нас на "бисы",  
а после раскупили вмиг  
два-три десятка наших книг.

## 63

Советский атташе с охотой  
 все сборники мои купил  
 и хрустко-девственной банкнотой (62)  
 свою покупку оплатил:  
 — "Спасибо вам, но не спешите  
 и эти книги надпишите." —  
 Старательно, не кое-как  
 ("и" с точкой, ять и твердый знак)  
 я расписался в уваженьи  
 к лукавому говоруну.  
 Из этих книжек хоть одну  
 он проташил при возвращении  
 в страну, в которой лишь язык  
 родным я называть привык.

## 64

Фигурой лучшего оттенка  
 среди других большевиков  
 казался бойкий Федоренко,  
 когда, с десятком знатоков (63),  
 он рыскал по библиотекам  
 в погоне за... четвертым веком  
 "до нашей эры" (недосказ,  
 которым не обманешь нас) (64) —  
 за типографией Сычуани:  
 "Ли Сао" хотел перевести,  
 искал заметки по пути  
 о несговорчивом Цюй Юане,  
 который, королю назло,  
 с ворчаньем бросился в Мило.

## 65

То были годы вихревые:  
 стихи, беседы, сотни книг.  
 Прочтя "Ли Сао", тогда впервые  
 чужую правду я постиг.  
 Поэт, упрямый и гонимый,  
 поэмой непереводимый  
 (а вдруг возможен перевод?)  
 свершил во мне переворот!  
 Потом, в заморском мире новом,  
 в безлюдьи долгих вечеров  
 я передал пятнадцать строф  
 по-русски дольником суровым,  
 как будто бы переводить  
 не значит раны беречь!

Себе мы часто муки множим,  
 к напитку памяти припав,  
 так эту горечь переложим  
 в одну из отдаленных глав,  
 хотя — божусь — поэма эта,  
 как полагается, *пропета*  
 и кличку пресную главы  
 на песню переправьте вы,  
 мои читатели-придиры!  
 И то: поэма — не роман,  
 и в ней уместней барабан,  
 торжественные вздохи лиры,  
 вытье корнетов-а-пистон  
 и даже древний барбитон.

Затем — звонок по телефону (65)  
 (и в сердце — лязг полярных льдин):  
 вчера, по новому закону (66),  
 был арестован мой Лю Син.  
 А у меня-то, как на горе,  
 запрятаны в столе, в конторе  
 не плектры, не наборы струн,  
 а чуть не полный Мао Цзе-дун!  
 Больным сказался китайчонок:  
 в постель решил со страху лечь,  
 а я уже не стал беречь  
 собрание пагубных книжонок:  
 спалил — отнюдь не сгоряча —  
 "Гэмин взньти", "Нунцунь дяоча" (67).

Теперь должна пройти изжога?  
 Я, белоручка, не при чем,  
 но только ли своя тревога  
 на сердце давит кирпичем?  
 Я по газетам знал о нравах  
 правительства и о расправах,  
 о мести свыше меры зла,  
 о выстрелах из-за угла...  
 Я знал, что Чэнь Ли-фу в охотку  
 уравнивает сложный счет,  
 что от него не отстают  
 и Чэнь Го-фу (68), вливая в глотку  
 подвешенному к потолку  
 огромный чайник кипятку.

Держу пари, следят за домом,  
 где жил, не прячась, мой Лю Син,  
 наведываются к знакомым,  
 а тут какой-то "нагонин" (69),  
 да не какой-то, а из ТАСС'а –  
 придет, подосланный от класса  
 шпаны – "голодных и рабов",  
 ниспровергателей основ?  
 Идти нельзя, но, Боже, Боже,  
 ведь я иной, чем большинство!  
 А если мучают его  
 (что на жандармов так похоже)  
 и мучить будут до конца?  
 Пойду и спрошу отца!

За опрометчивость казните  
 меня, читатель: всё стерплю!  
 Не пожалел я о визите  
 ночном к обоим старшим Лю (70).  
 Мы чаю выпили сначала,  
 Отец бодрился. Мать (71) молчала,  
 улыбая, как Лю Син.  
 Я ждал громов: "Ужасный сын,  
 едва подрос – от рук отбился,  
 пошел бороться за народ,  
 за лозунги пяти свобод,  
 и в каталажке очутился...  
 Виновны Горький да Ба Цзинь (72)."  
 (На это я скажу: аминь!).

А тут – ни звуков осуждение!  
 Возможно, старший Лю и сам  
 свои надежды на спасенье  
 препоручил большевикам?  
 Секрет останется секретом:  
 я не расспрашивал об этом –  
 и для чего держался он  
 текстильной фабрики Вингон?  
 Зато мы сразу сговорились,  
 что, в случае большой нужды,  
 внесу и я свои труды,  
 и, сговорившись, распростились.  
 –Цзай-цзянь! (73) – Уютный домик мой  
 с тех пор казался мне тюрьмой.

От горя опускались руки,  
с ума сводил малейший стук,  
но в истязательной науке  
работу затмевал досуг.  
С утра — газеты, переводы,  
Якшамин, Рогов — антиподы  
с набором "правд" от А до Я  
и "Маша" (74) верная моя,  
и голос изнутри: "Не мешкай,  
читай, переводы, стучи —  
тревогу темную лечи  
не аспиринами, а спешкой:  
уже стоит канторский бой (75),  
как Немезида, за тобой!"

А дома — закрепшу ли страхи,  
превозмогу ли боль мою?  
Запей, — сказали бы монахи,  
да я, пожалуй, не запью  
ни от безделья, ни от жажды.  
Скорей повешусь. Но однажды  
раздался в дверь неожиданный стук  
сухой, отрывистый: "Тук-тук!"  
Кто это? Может быть, Ирина  
Лесная? Странно — в этот час...  
Так, верно, принесли заказ?  
Я дверь открыл: отец Лю Сина  
(дороже всех иных гостей) —  
и, значит, ворох новостей!

А вот его повествование:  
Лю Син (Валерий, будь бодрей!)  
проходит перевоспитанье  
в одном из тайных лагерей,  
но вовсе не мешок подземный  
курорт, по имени тюремный:  
там не пытаются и не бьют,  
и на обед лапшу дают.  
Начальник, бюрократ почтенный,  
готов за небольшую мзду  
Лю Сина не предать суду  
бесстыжей сволочи военной...  
Едва ли это "чуй-ню-би":  
итак, Валерий, пособи!



Всех обежал рабочий тучный,  
и вся откликнулась родня.  
Теперь исход благополучный  
зависит только от меня:  
— В Цзясине было бы иное,  
собрал бы вдвое я и втрое,  
а здесь — бедны цзясинцы цю!  
Чужих просить я не люблю. —  
Играть не стал я в деньгопрятки  
(жизнь, дескать, вовсе не легка)  
и вытащил из сундука  
две заповедные десятки (77)  
Расчет китаец произвел  
по курсу банка — и расцвел.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я к Песне Шестой:

1. Эту великолепную рифму украл я у безответного Юрия Павловича Иваска.
2. И нобелевский лауреат.
3. Статья предназначается для книги Томаса Берда ("Фомы Птицына") о русских зарубежных поэтах.
4. См. Примечание 8-ое к песне Второй.
5. Воспитанный, улыбчивый Валентин Шепин тогда (1945 г.) служил в шанхайском отделении Московского народного банка. Работа моя была сделанная. Устроили ее для меня, кажется, Николай Щеголев и Виталий Серебряков.
6. Речь идет о приглашении от кружка молодежи при Русском Общественном Собрании читать по понедельникам курс истории философии. Последняя лекция — о Лейбнице — состоялась в начале апреля 1945 года.
7. Александр Никитич Сальников, известный в Шанхае танцовщик, позднее издатель журнальчика "Уранус". Умер в Рио де Жанейро 11 сентября 1972 г. на именинном ужине у другого Александра — А.Б. Кириллова.
8. Марина Страгус, умненькая студентка. Несколько лет тому назад она занимала ответственную должность в Станфордском университете.
9. Пасынок австрийца Врани, моего знакомого еще по Харбину.
10. Надежда Николаевна Богарне, герцогиня Лейхтенбергская. Я был ей представлен после первой моей лекции по истории философии и бывал у нее часто.
11. Герцогиня славилась как выдающаяся пианистка.
12. Изида Томашевна, урожденная Джушковская, в Харбине занимала видное место в кругу почитательниц поэта Алексея Ачаира и выпустила — как Кшижанна Зороастра — книгу стихов "Черные иммортели", а в Шанхае в 1946 году — вторую книгу "Мистические розы" (уже как Изида Орлова).

13. Запомнились только ее фамилия – и сновидения.
14. Кирилл Викторович Батурин, писавший стихи и очерки, каждое утро простаивал на голове ровно полчаса. Умер в Нью-Йорке в больнице для немощных несколько лет тому назад, так и не побывав в Индии, о которой мечтал всю жизнь. Позднее выяснилось, что у него было скоплено сорок тысяч долларов.
15. Альманах "Врата" вышел в Шанхае в 1934 и 1935 годах.
16. Пу-то, один из островов Чжоушаньского архипелага, средоточие китайского буддизма.
17. Владимир Васильевич Болгарский, замечательный художник, тоже увлекался "восточной мудростью" Блаватской и Рерихов. Ныне (1975 г.) проживает в городе Нитерои – через залив от Рио де Жанейро.
18. В китайских монастырях гонги делаются в виде рыб: как рыбы никогда не спят, так и монахи проводят жизнь в молитве и бдении.
19. Изображение черепахи (но не оскорбительный рисунок на стене) около дворца или храма обещает незыблемость строения.
20. В храме святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любви при Лиге Русских Женщин.
21. Пастырские собрания созывались каждый четверг в покоях епископа Иоанна.
22. Поклопницей епископа шанхайского Иоанна (Максимовича).
23. Семец был "А-ду" (Большой – в шанхайском произношении). Имени его подруги не помню. Во множественном числе русские шанхайцы говорили "долларá, пинчерá". В России в те годы уже писали: "Матеря пришла на выборá".
24. Кто такой? (шанхайский диалект).
25. Энциклопедический справочник "Родник идеограмм".
26. Триста стихотворений поэтов Танской династии.
27. "Стихи тысячи поэтов".
28. Вингон – шанхайское произношение названия фабрики "Юн-ань" – (Вечное Спокойствие).
29. Лю – распространенная китайская фамилия. "Син" – благоухание, "взрослое" имя моего друга. Он рассказывал, что, когда о его рождении сообщили его бабушке, она произнесла "Тянь-сунь" (прибавился внук), но в чжэцзянском произношении "сунь" звучит одинаково с "шэн" (жизнь), и за мальчиком укрепилось имя "Тянь-шэн" (прибавилось жизни).
30. Люсьен Легинуа – крестьянский юноша, которого любил Поль Верлен.
31. "Вы хотите два горошка на ложку" – часто упрекала меня Мария Павловна Коростовец.
32. В годы японской оккупации и войны Шанхай страдал от отсутствия сахара. Сестры и муж пересылали Марии Павловне и ее сыну Марку целые кувшины меда из Пекина при посредстве иностранных посольств. Мед продавался без затруднений. Выручкой Мария Павловна неизменно делилась со мною, хотя участие мое в "деле" ограничивалось тем, что мед хранился у меня, пока я жил в соборном доме.
33. Мария Павловна требовала от Марка безусловного повиновения. В кон-

- це концов он взбунтовался: женился без ее согласия и поставил ее перед свершившимся фактом. Против невесты — Лены Вейнгласс — она ничего не имела, но горячо возражала против того, что Марк женился, не имея ни службы, ни определенного дохода.
34. Виктор Францевич Салатко-Петрище в юности писал стихи (которые печатались в "Рубеже", "Чураевке" и "Излучинах" под именем Виктора Ветлугина). В США приехал незадолго до начала войны. Поступил в армию до призыва. Четыре с половиной года прослужил в сигнальном отряде на Аляске. В настоящее время возглавляет гидроэлектрический отдел компании *International Engineering* в Рио де Жанейро. К стихам охладел.
  35. Михаил Федорович Якшамин, мордвин, именовался "корреспондентом ТАСС", но, за отсутствием директора, возглавлял шанхайское отделение агентства.
  36. Националистическая партия, главой которой был Цзян Цзэ-ши.
  37. По сообщениям харбинской печати, священников в СССР называли "водолазами".
  38. Справочник для внутреннего употребления в конторе ТАСС.
  39. Лу Синь — левый китайский писатель, но едва ли коммунист.
  40. Го Мо-жо, выдающийся литературовед, впоследствии был в красном Китае министром народного просвещения.
  41. Цзан Ко-цзя писал верлибры. По желанию ТАСС, я перевел его стихотворение "Возносится не памятник, а Пушкин сам", которое было напечатано в журнале "Эпоха", № 140 от 10 февраля 1947 года. Заглавие это дал ему тогдашний директор ТАСС В.Н. Рогов.
  42. При выезде из Китая в сентябре 1952 года гонконгская транзитная виза была поставлена в мой советский паспорт. В Гонконге мне было выдано удостоверение от Управления Объединенных Наций по делам беженцев — взамен паспорта.
  43. Каждый переселенец из Китая в Южную Америку решал этот вопрос самостоятельно. Моя мать обошлась своим царским паспортом до натурализации в Бразилии. Я стал бразильским гражданином в январе 1958 года. А свой советский паспорт я действительно утопил где-то между Буэнос-Айресом и Монтевидео в январе 1953 года.
  44. Генерал Рошин.
  45. На пастырском собрании постановление о подчинении московскому патриарху Сергию было вынесено единогласно. Архиепископу Виктору была послана телеграмма об этом постановлении шанхайского духовенства.
  46. Назначение он получил от Зарубежного Синода, не пожелавшего подчиниться патриарху. Тогда я был возмущен двуличностью Иоанна, а теперь (1975) вижу, что он был тоже прав.
  47. Помню эту свою записку дословно: "Запрещаю кому бы то ни было совершать богослужения в этой церкви без прямого разрешения от Начальника Российской Духовной Миссии, архиепископа Виктора."
  48. "Шан ю тянь-тан, ся ю Су Хан": сверху есть рай, а внизу — Сучжоу и Ханжжоу.

49. Дачное место на берегу Китайского моря – Хуаншань (у европейцев почему-то "Чану"). Вокруг – желтые холмы, под ногами – желтая земля, для купанья – пронзительно желтое море.
50. Лидия Петровна Сморгчевская, в прошлом – помещица. Несколько лет тому назад скончалась в Сан-Франциско. Ваня (Иван Осипович) – ее младший сын, блестящий инженер. С ними я впервые побывал в Ханчжоу, на берегах "великого и славного озера Сиху". Бережно храню сделанные там Ваней фотографические снимки.
51. Плотины Бая – Бай-ди – построены замечательным поэтом Бай Цзюй-и в бытность его префектом Ханчжоу. Делит озеро Сиху на две части: Внешнее озеро (Вайху) и Внутреннее (Лику), причем Внутреннее – заповедник диких уток, сплошь заросло лотосами. На дальнем берегу Внутреннего озера – старинные виллы китайской знати.
52. Река Цяньтан славится необыкновенно мощным приливом (раз в год). Близ Ханчжоу через нее построен двухъярусный мост. Неподалеку – древняя пагода Люхэта; подняться на нее нельзя, ибо ступени совершенно истлели. Лунцзин – заоблачный монастырь, который знаменит на весь Китай выращиваемым там зеленым чаем. Линьин – огромный буддийский монастырь. Лэйфынта – древняя невысокая Башня Грома и Ветра в окрестностях Ханчжоу.
53. Пещеры Пурпурных Облаков – глубокие подземные пещеры близ Ханчжоу.
54. Павильон сердца озера – кумирня на островке посередине Сиху. Там мы познакомились и долго беседовали с Чжи Хуа ("Процветший в мудрости"), монахом и знаменитым живописцем, жившим при этой кумирне.
55. Вилла Лю – Лю-чжуан – один из роскошных старых домов на дальнем берегу Внутреннего озера Сиху. Там мы залюбовались круглым окном цвета морской воды, на котором была изображена пара "мандаринских" уток – символ любви и супружеской верности.
56. "Коуцян" – местный выговор. У иностранцев он не вырабатывается.
57. В Ханчжоу мы останавливались в гостинице китайского ХСМЛ, довольно далеко от озера.
58. В 1953 году.
59. Антология "Остров", содержащая почти все стихи, написанные на "пяточные" темы, вышла в 1946 году.
60. Советский культурный атташе, Николай Трофимович Федоренко, впоследствии посол в Японии, а затем – в Объединенных Нациях, где он потрясал других делегатов своей грубостью.
61. Продавались "Ступени", "Крылья" и "На распутьи" Лидии Хаиндровой, "В пути", "Добрый улей", "Звезда над морем" и "Жертва" Валерия Перелешина и "По земным лугам..." Ларисы Андерсен.
62. Десятидолларовой.
63. Китайских литературоведов и переводчиков.
64. То есть, "до Рождества Христова".
65. Позвонил – рано утром, до моего выхода на службу, молодой китаец,

- сослуживец по ТАСС.
66. О подозреваемых.
  67. "Вопросы революции", кажется, Ленина, "Обследование деревни" Мао Цзэ-дуна. Ожидая ареста, Лю Син передал мне на хранение свои крамольные книги.
  68. Братья Чэнь Ли-фу и Чэнь Го-фу, как уверяли газеты левого направления, возглавляли гоминьдановскую жандармерию в Шанхае. Им приписывалась крайняя жестокость в обращении с заключенными.
  69. "Нагонин" — иностранец (шанхайский диалект).
  70. Отцу и матери Лю Сина.
  71. Отец — лысеющий, тучный, рассудительный, а мать, на которую Лю Син (как и его младший брат, умерший от тифа на моей памяти) походил лицом, как две капли воды, была худенькая и улыбчивая.
  72. Ба Цзинь — известный писатель, анархист. Псевдоним себе он образовал из фамилии Бакунина; Бак-ин — Ба Цзинь.
  73. До свидания.
  74. "Машей" прозвал свою пишущую машинку Юрий Павлович Иваск. Явный анахронизм в рассказе о сороковых годах!
  75. Переводчиков постоянно обходил и собирал готовые страницы китайский юноша Цзинь-шэн ("Златородный") которого русские в ТАСС'е почему-то называли "Чунцын".
  76. "Чуй-ню-би" — дутье в коровье вымя, безответственная болтовня.
  77. Две десятидолларовые банкноты — всё, что у меня было отложено на "черный" день.



ИОСИФ И ЕГО НЕБРАТЬЯ

П о в е с т ь

( Окончание. Начало в №43—44 )

9.

Лето отшумело, отцвело, отголосилось. Но жара стояла упорная. Испещренное облаками, плотное небо казалось пестрым халатом, брошенным на землю. И душно было земле в этом халате.

Душно было и Лукомскому, хотя он только что освежился холодным пивом. Он распахнул все окна в своей квартире с видом на скованную строгой набережной Москва-реку — ничто не помогало. Проклятая жара заставляла трепетать, словно термометр, заряженный лихорадочным теплом больного. И мысль о больном, о п а ц и е н т е, так сказать, еще страшнее обожгла сознание. Ибо "пациентом" был Сталин.

Теперь Лукомский начинал понимать жуткую игру Берии. Человек в пенсне видел его насквозь, но и он видел тайный умысел человека в пенсне. Конечно, не было сказано ничего определенного. Однако и недосказанное было красноречиво — так иное молчание оглушительней громких речей. Сама осведомленность Берии в чисто медицинских тонкостях и деталях могла навести на размышления. Разумеется, он не был специалистом, и по тому, как с важным вниманием проглатывал даже те банальности, которые Лукомский (как и всякий врач, говорящий о пациенте) произносил обтекаемо-двусмысленно, было заметно, что ему с напряжением дается медицинская терминология — не только суть, этой терминологией сокрытая. Но все-таки Берия ориентировался прилично. Пожалуй, он напоминал старательного студента-медика, готовящегося к экзамену: только вызубрив свои элементарные конспекты, этот студент почему-то больше всего был занят казусными и второстепенными деталями. Берию интересовало не столько то, здоровое ли у Сталина сердце, а то, что с этим сердцем может случиться при таких-то и таких-то осложнениях. Нетрудно было догадаться, что эти осложнения были желательны...

Лукомский подробно докладывал о всех своих визитах к Сталину и результатах кардиологических анализов. Да, в сердечной деятельности есть свои нарушения. Но они не слишком очевидны, и, во всяком случае, с такими проблемами человек может жить очень долго... Да, некоторые изменения в режиме для товарища Сталина необходимы: все-таки малоподвижный образ жизни вредит. Недаром на лице Сталина — налет нездорового румянца — типично "кремлевский" налет. Это результат кабинетности, которую одними прогулками в саду не рассосешь. Что же нужно делать?.. Побольше физических нагрузок, не *перегрузок*, конечно, но все-

таки... Каких? — Это трудно сказать, ибо трудно представить себе товарища Сталина, занятого спортивным бегом. Не в форме же генералиссимуса... (При этом сравнении Берия усмехнулся особенно криво и двусмысленно)... Другие нагрузки нежелательны, если говорить о чрезмерной еде и особенно питии. Нет, нет, дело не в водке даже. Сталин ее не пьет, но Лукомскому кажется, что его пристрастие к винам в чем-то, может быть, опаснее для сердца, чем откровенное, но в меру, конечно, потребление водки... — Тут Берия особенно заинтересовался. — Это ваше субъективное мнение, профессор, или есть какие-то научные показатели, из которых вы исходите? — Разумеется, всякое мнение специалиста содержит элемент субъективности, но... — Вот и расшифруйте ваше "но", профессор. — Для этого придется входить в детали, а это вас может утомить... — Нисколько, нисколько, говорите... — И в самом деле, Берия словно вздохнул, прослушал маленькую лекцию, прочитанную ему Лукомским и набитую ссылками на цифровые соотносимости между анализами кровяного давления, состояния кровеносных сосудов и воздействия на них алкоголя в разных его сочетаниях. Берия не перебивал, и Лукомскому было видно, что не потому не перебивал, что боялся показать некомпетентность в деталях, а именно в силу полной поглощенности интересом услышанного. Глаза, засеянные кругляшками пенсне, как обычно хранили колющее выражение, и несколько раз облизнул он губы с какой-то плотоядной влажностью — словно вдруг испытал приступ жажды необыкновенной. Не от рассказов об алкоголе, конечно, — подумалось Лукомскому. — Скорее от жажды запретной темы, о которой не говорится, но которая подразумевается. Впрочем, кое-что небольшое было даже высказано...

— Как вы думаете, профессор, — в самом конце последней их встречи спросил Берия. — Учитывая все явления, связанные с проблемами сердечной деятельности вашего пациента, можно ли найти средства, чтобы задержать или остановить некоторые процессы не путем физических нагрузок, гимнастики там всякой, а только применением медикаментов?

— Что вы имеете в виду? — спросил Лукомский, не подозревая о возможной реакции собеседника. Берия гневно забарабанил пальцами по столу.

— Что я имею в виду, это мое дело, профессор. Ваше дело — четко ответить на мой вопрос... Даже если этот вопрос и не совсем четко сформулирован, как я вижу, — добавил он, усмехнувшись.

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Лукомский. — Я, собственно, не против... И медикаменты всё могут сделать, в пределах лечения болезни. Однако полное здоровье достигается не ими. Как я уже говорил, в случае с сердечными проблемами товарища Сталина, перемена режима целесообразнее, чем применение лекарственных препаратов. Ведь он, в сущности, здоровый человек...

— Даже здоровому человеку не мешает иногда принять лекарства, —

многозначительно проговорил Берия. — Слишком многозначительно, — подумалось Лукомскому, — для такой банальной фразы. — И я все-таки прошу вас, профессор, составить для меня перечень новейших — подчеркиваю, *самых новейших* лекарств, которые способны быть стимуляторами сердечной активности в рамках принятого товарищем Сталиным режима. — Берия снова усмехнулся одними губами. — Как вы сами правильно заметили, — негоже генералиссимусу бегать, словно школьнику, сдающему нормы ГТО. Мы, так сказать, "пойдем другим путем". Да и радостей вина не стоит лишать товарища Сталина. Ведь иногда бывает так, что отнять у человека любимую привычку — все равно, что убить его. А кто из нас хотел бы убивать товарища Сталина?

И Берия одарил Лукомского совсем уж откровенно-издевательской улыбкой, наблюдая, как Лукомский невольно побледнел при этом, произнесенном вслух слове "убивать". Слове, примененном к кому? К самому Сталину... Ужас!... Только Берия мог позволить себе это безнаказанно. И в самой безнаказанности крылось зерно его, понятного Лукомскому, хоть и не высказанного еще до конца, умысла...

Впрочем, пока еще — слава Богу! — дело далеко не заходило. Список новейших медицинских препаратов (заграничных и отечественных), который затребовал Берия, был ему доставлен на днях. Видимо, на днях же последует и очередной вызов Лукомского либо к Берии, либо для нового медицинского осмотра — к Сталину.

Нелегко, ох, нелегко быть придворным медиком! Добро бы старые царские времена и проблемы: водянка Елизаветы Петровны, например; бешенство матки Екатерины; гемофилия царевича Алексея... Вот когда надо было родиться и практиковать! Тоже хватало скользких опасностей — не без этого, но все-таки что значат фавориты Екатерины или Распутин в сравнении с нынешним положением кремлевского врача Лукомского? Опекать сердце Сталина, находясь в пасти Берия, — это все равно, что растворить щепотку мышьяка в цианистом калии, глотнуть ее и умудриться не проглотить. Лукомский понимал, что Берия пожертвует им в любой момент: посмотрит ли косо на него Сталин, или же сам Берия просчитается на одном из распутий своих интриг, — самое легкое отделаться от Лукомского как от "врача-вредителя". Путь известный и обкатанный. Что же остается делать? — Пасть к ногам Сталина, исповедаться "великому вождю", рассказать о своих подозрениях, что Берия затеял недоброе? Но, во-первых, вряд ли поверит Сталин, а если и поверит даже, то все равно прикончит как сообщника. А если Берия добьется своего, то может убить потом как опасного свидетеля, заматавая следы. И все-таки лучше не рыпаться против Лаврентия Павловича. Ему не чужды благородные побуждения. Если он дорвется до верховной власти, то — глядишь — на волне победы не станет опасаться того, кто служил ему верой и правдой... Остается — служить...

И Лукомский, когда отпускали немного страх и какая-то томитель-



ная тоскливость, старался насладиться мелкими — такими весомыми после его лагерных мытарств! — радостями жизни. К своему официальному положению на работе он привык быстро; но вот возможность побродить по шумливой толкучке центральных улиц Москвы, или забрести в какой-нибудь парк с начинающими золотиться уже кронами деревьев; посидеть в ресторане, смакуя коньячок и не думая о деньгах, которых было предостаточно, — это давало стимул; ради этого стоило и на лезвии бритвы побалансировать. Всё лучше, чем назад — в Колыму. А самое замечательное, что мог он себе позволить, — вылазки за город, в уютное Подмосковье рощ, пологих склонов к речушкам, струящим прозрачность воды и душевное успокоение; в Подмосковье тихих деревенок с предутренней свежестью кристалликов росы и цветистостью зорь, с грустным мычанием коров, лаем собак, серебристой перекличкой петухов. Для себя Лукомский облюбовал одну из маленьких дачек в поселке Давыдково: деревянный домик с резными наличниками на окнах, застекленной террасой и садиком-огородом. Жила в нем одинокая старушка дремучих лет, но еще достаточно крепкая, чтобы следить за чистотой в доме, доить корову и подавать постояльцу по утрам коричневую крынку топленого молока, где сверху пузырилась такая же коричневая, с упоительно-густым запахом, молочная пенка. Это тоже была весомая радость — пить молоко в подмосковной деревушке, слушать тишину утра и в этот момент ни о чем не думать...

Впрочем, события настигали и здесь, в тихом Давыдове, — недаром поселок находился в нескольких километрах от сталинской дачи. Когда, не получая в течение нескольких дней вызова ни от Берии на Малую Никитскую, ни от Сталина в Кунцево, Лукомский уединился в своем домике, случилось страшное и неожиданное: машину Сталина обстреляли, причем случилось это на дороге, прилегавшей именно к поселку Давыдково. К такому тихому и уютному поселку...

Дело произошло вечером, но, вспоминая затем события этого дня, Лукомский не мог отделаться от мысли, что он невольно оказался впутан в одно из событий, связанных с покушением. Чистая догадка, может быть, совпадение, но все-таки... Вспомнилось Лукомскому, как, прогуливаясь по улице, обратил он внимание на двух мужчин, явно не жителей поселка, которые стояли около новёхонькой "Победы", разглядывая карту местности. Лукомский, отметив про себя их стандартные костюмы и выправку, решил, что это чекисты — мало ли их крутилось здесь — в непосредственной близости от сталинского жилища? Внешне их лица были ничем особым не примечательны; разве что у одного резко выделялась среди темных волос седая прядь — вроде белого треугольника, приклеенного над виском и как-то неожиданно. С другой стороны головы седины не было видно совсем. Вечером же, после того, как донеслись до поселка сухие перестукивания автоматных очередей, мимо дома Лукомского на бешеной скорости пролетела именно та самая "Победа", возле которой видел он двух

незнакомцев с картой в руках. Но уж самое удивительное произошло на следующий день, когда весь поселок был окружен частями МГБ и всех жителей допрашивали, а кого и арестовывали тут же. Пришли и на дом к Лукомскому, пришли двое, и один из них был тот самый — *с белой прядью, треугольником вписавшейся в темную шевелюру*. Лукомского ни о чем не спрашивали, зато до смерти напугали бедную хозяйку его, которая твердила одно: ничего не знаю — не ведаю, да и ничего не понимаю в делах ваших. На Лукомского человек с седой прядью взглянул несколько раз как-то странно, а когда уходил, то многозначительно пожелал ему не волноваться из-за возможных изменений, которые произойдут в поселке — его они не коснутся. Изменения, действительно, произошли. Почти всех жителей выселили в течение двух суток — не церемонились ни с кем. Хотели заодно прихватить и хозяйку Лукомского, но тут уж вмешался осмелевший квартирант: пока старушка, плача, увязывала мешки, сходил профессор на почтамт и прямо оттуда позвонил Лаврентию Павловичу, прося вмешаться и заступиться. Берия был явно в духе: мгновенно распорядился, и когда Лукомский вернулся в домик, хозяйка его, всё еще вытирая концами повязанного на голове платка моросившие слезинки, хлопотала возле самовара, чтобы напоить чайком подушистее "заступника" своего и "спасителя".

— Хозяйку-то спас, — подумалось Лукомскому. — Спасу ли себя самого?.. Уж больно всё в узел завязывалось. Вроде бы должен он был рассказать Берии о странном впечатлении своем насчет человека с седой прядью. Но каким-то нутром чувствовал: лучше молчать. Так и осталось неведомо до конца ему: знал ли Берия о том, кто орудует от его имени в поселке Давыдково, или нет? Впрочем, одним секретом меньше — оно и к лучшему. И без того Лукомский понимал, что обрастает излишним многознанием того, к чему не стоило бы прикасаться ни делами, ни мыслями. Но пока Берия в нем нуждался, можно было считать это гарантией безопасности. Вопрос заключался в длительности этого "пока", а сама длительность зависела от жизни двух человек: Берии и Сталина. Между ними — на волоске — качалась жизнь Лукомского.

## 10.

Невмочь... невмочь... невмочь... Кому? — Сталину и невмочь?.. Что бы Сталину и что-то *не мочь*? Как можно подумать такое? Но смогло подумать и не уходило... Неможилось ему... Приболел.

За последний год прихварывал он все чаще. И теперь вот, после того, как вроде встал на ноги, а вежливый кардиолог Лукомский подтвердил, что с сердцем всё в порядке, хотя и надо принимать лекарства, обрушился новый приступ слабости, безаппетитности ко всему, депрессии. Сталин раздраженно взял стакан с боржоми, механически глотнул щекочущую струйку и, как обычно, посетовал про себя, что самые полезные минеральные воды — самые безвкусные. Вот если бы кавказскому вину да силу

целебную придать!.. Дойдет ли когда-нибудь наука до такого синтеза? Наверное, дойдет, но его уже не будет тогда...

Впрочем, ну их к бесу — мысли о смерти!.. Жить надо — жить любой ценой и не поддаваться унынию. Столько дел еще не сделано, столько проектов едва лишь начато!.. И хотя он дал зарок самому себе — не думать о государственных делах, рассредоточиться, невольно вспомнилось и о Волго-Доне, и о Кара-кумском канале, и об атомных испытаниях на севере. А раз уж вспомнилось, то отметил про себя, что мысли об этом идут — четкие, как солдаты на параде. Значит, есть еще порох в пороховницах...

Он решил прогуляться по саду и той расслабленно-старческой походкой, которую позволял себе, когда был в одиночестве, дошел до беседки. Хотел было пройтись и дальше — в манящую березовой зеленой глубиной аллею, но почувствовал слабость. Сел в беседке на одно из плетеных кресел, задумался. И совсем незаметно для себя, под мягкий ветерок с привкусом цветочной истомы, не то задремал, не то просто забылся. Во всяком случае, просидел так довольно долго, пока закатные солнечные лучи не прокололи затененность беседки, да и тогда пересел только в другое кресло, куда не доставало солнце, и продолжал вспоминать. Это было как наяву — то, что он видел. Словно кинолента прокручивалась перед глазами, хоть и не все кинокадры казались четкими; иные размыты — временем или нежеланием слишком вглядываться; другие поражали выпуклостью скульптурного рисунка. И мысли унеслись далеко в прошлое, когда он находился, как случалось ему про себя говорить, "в начале длинной-длинной дороги". Сейчас эта дорога струилась потоком воспоминаний, где он видел себя со стороны. Да, именно так... Вот он сидит за столом и...

*Сталин сидел на самом краю длинного стола президиума. Его рука с набухшими венами отбивала зажатый между пальцами карандашом: "тум-тум", "тум-тум" — в такт закругленным периодам речи Троцкого. Выбритое до синевы лицо побледнело, и лишь усы да точеные оспинки смягчали оттенок этой нездоровой белизны. Взгляд по обыкновению прищуренных глаз казался необычно отрешенным. Но мысль его работала четко, почти в том же ритме — "тум-тум, тум-тум", что и подрагивание карандаша в руке.*

*"И в этой ленинской мысли, в ее развитии, — говорил Троцкий, — заключена вся квинтэссенция не просто житейской, а именно ж и з н е н н о й мудрости". Сталин усмехнулся в усы: лицо осталось неподвижным и даже морщинки у глаз не увеличились — только подбородок чуть дрогнул. Голос Троцкого сверлил уши, особенно когда интонации делались фальцетными. Так, во всяком случае, казалось Сталину. Уж его-то весомые фразы (весомость их легко подчеркивалась повторами) никогда не сорвутся с глуховатого баритона на визг скороговорки — никогда!*

*— А этот краснобай!.. Впрочем, все его нынешние речи — "кипенье в действии пустом". Так сказать, последнее слово осужденного. Не им, а историей....*

После собрания надо бы размяться. Однако дел невпроворот. Даже во время отдыха нельзя полностью уйти от всего, что давно уже стало первоочередным и в самой трудности своей таило притягательное очарование — очарование власти, в которой уже чувствовался оттенок беспредельности.

Он ничего еще не мог сказать наверняка самому себе. Всё было зыбко, несмотря на незыблемость достигнутого. И главное — нет друзей, не с кем поделиться, выложить душу. Вот как бывало в детстве, когда вдруг накатит на тебя, и бежишь, вдыхая обволакивающий воздух южного неба, ласковый, как пальцы матери, бежишь — не к другу, нет, а в горы; карабкаешься по мягкому склону холма, ляжешь бывало, и — хорошо! — внизу мутноватая, в завитках пенных водоворотов река, вверх — уступы ущелий и повилика кудрявых, словно гривы зеленых шевелюр, кустарников, а над ними — солнце, утонувшее в голубизне; и вот оно — ощущение слитности со всем миром, лучший заменитель дружбы. Впрочем, друзья были. И хорошие, по-кавказски собратные друзья — не чета русакам! Хотя бы в той же семинарии.

Он не особенно любил вспоминать свои школьные годы: было там много нехорошего, такого, что должно бы исчезнуть из памяти, а вот поди же — оставалось, просматривалось, как до блеска обкатанные камни просматриваются в горной реке. Ему повезло еще, что самое главное кануло, и ничей неосторожный глаз никогда не сможет увидеть его ни тем художавым, нескладным подростком, который все-таки умел нравиться, ни прочесть те бумаги, канувшие в небытие, которые о многом могли рассказать... Ох, уж эти тени былого! Если что и может соперничать с властью, так это власть прошлого. Но сам он сейчас работает для будущего...

Аплодисменты ударили так, словно к виску приложили спичку. Троцкий сходил с трибуны. Что он там сказал под занавес? Выступать после него трудно, да и на этот случай есть рвущийся в бой Бухарин. Он выручит, хотя, кажется, сейчас говорить не собирается. Сталин искоса взглянул на Николая Ивановича, но тот сделал легкое движение рукой — мол, не стоит. Ладно, не стоит, так не стоит. Тоже устал, наверное...

И только сидя уже в машине, увозившей его за город, Сталин почувствовал обиду на бухаринское молчание. Нечего сказать, хорош соратник! Легко торжествовать над оппозицией, когда ты сам в сильной позиции. Ан, попробуй по-другому, когда краснобай на коне, когда он в форме, — вот тогда его и осади. А Николай Иванович тут в кусты, воздержался... Нехватает ему все-таки хребта настоящего...

Ну да ладно. Сталин поудобнее устроился на сидении, взглянул на шофера, как всегда молчаливого и заутюженного в блестящей кожанке, посмотрел на пролетающие сбоку зеленые шары кустарника. Дома он будет минут через пять. Наконец-то немножко отдохнет.

Его дача была расположена в уютном месте, чем-то неуловимо на-

поминавшем кавказский ландшафт. Всё вроде чисто русское: колоннады березок, мягкая округлость холмов; никаких тебе скал; вместо кипения водоворотов — усталое, мягко плещущее дымчатой рябью озерцо, и все-таки сама молчаливость пейзажа таила по-южному прямое ощущение природного буйства, только скрытого до времени, словно кинжал, спрятанный в ножны. Сравнение, мелькнувшее в уме, понравилось Сталину. Надо запомнить... И вообще надо запомнить многое...

Машина затормозила возле крытой веранды двухэтажного дома с парой гипсовых львов у парадной, ступенчато приподнятой двери. Сталин, грузновато прихрамывая (почему-то болела нога), поднялся по ступеням.

Он сразу же прошел в спальню, облегченно снял куртку, сапоги (ноги утонули в теплых, изукрашенных сафьяном, с белыми разводами на красном поле, домашних туфлях), сел в глубокое кресло и закурил. Трубка, как всегда, успокоила. Кисловатый аромат табачного дыма повис в комнате. Рука сама собой отложила трубку в сторону; глаза закрылись тоже сами собой...

Это длилось недолго. С полчаса, не более. Встал, почти освеженный. Следовало подготовиться к встрече с Ладом — старым другом по Тифлису. Подъехать он должен часам к четырем. Сейчас три. И кроме того нужно просмотреть тезисы доклада на завтрашнем выступлении в Политбюро. Впрочем, они-то помнились почти наизусть.

С Ладом он не виделся уже несколько лет, хотя знал о нем многое. Во время гражданки они встречались последний раз накануне Львовского наступления, и встреча эта была не особенно приятной. Именно Лад предупредил его тогда от слишком большого доверия к Егорову, а после провала Львовской операции заявил в ЦК, что Сталин, мол, взялся не за свое дело. Ему, как члену реввоенсовета Юго-Западного фронта надо было думать не о полководческих лаврах, а об улучшении дисциплины в Первой конной. Очень обиделся на него Сталин, когда узнал об этой реплике старого друга. Но все-таки друг есть друг. А сейчас он может быть особенно полезен.

О Ладом говорили, что из всех грузинов в ЦК он — самый большой антигрузин. Вечно конфликтовал. То с Орджоникидзе сцепится, то с Мдивани; даже с миролюбивейшим Енукидзе никак не мог сойтись по душам. В Москве его не видели уже давным-давно: все время жил и работал на Кавказе — так что и местную обстановку хорошо знал, и от московских интриг вдалеке. А это важно. Может быть, важнее всего остального.

Сталин невольно усмехнулся, когда вновь подумал о пресловутых "антигрузинских" настроениях Лада. Большого патриота Грузии трудно себе представить — уж он-то знал. Еще в детстве читали запоем одни и те же книги, даже стихи писали почти на одной волне грузинского колорита. Интересно, пишет ли он стихи сейчас? У него получалось неплохо; такие гладкие, "ладные" стихи — надо будет при случае вернуть в разговоре с Ладом этот каламбур. Между прочим, приверженность к стихам в зре-

лом возрасте — вещь и ненужная и опасная. Если речь не идет о профессиональном поэте, конечно. Нужно обязательно уточнить у Ладю.

И еще одно смущало. Как ни странно, о Ладю несколько раз хорошо отзывался Троцкий. Объяснить это трудно — вроде бы Ладю никогда с оппозицией не связывался; питал, правда, в юности особую нежность к Жордания, но это — совсем из другой оперы. Все-таки свой, грузин, хоть и меньшевистская контра, а тут — Лев Давыдович — враг заклятый и явный.

Даже теперь, десятилетия спустя, при одном всплывании имени Троцкого, передергивало. Тень мертвеца довлела в жизни — как ни убеждай себя, что тень есть призрак и только. Вроде отца Гамлета в исполнении плохого актера, ибо, в сущности, Троцкий был просто плохим актером от революции. Потому и проиграл в конце концов. А за проигрыш его заплатили многие. Тот же хотя бы милый дружище Ладю...

И память снова выкроила дымчатую картину из прошлого.

Они встретились с Ладю как ни в чем не бывало. Если вначале светила во взгляде Ладю словно пружинка какой-то настороженности, то за тостами и байками, за прямо-таки бьющими каскадом воспоминаниями о Кавказе, растворилась эта настороженность, исчезла. И они смеялись, перебивая друг друга: "А помнишь, Сосо?..." — "Еще бы не помнить, дружище!" — "Всё проходит, а дружба остается..." — "Верно говоришь, Ладю, если и есть что вечное, — так это дружба..."

И, чокаясь друг с другом, завалив окурками пепельницы из зеленого малахита, — любимый тогда камень, который казался Сталину магическим, хоть и не верил он в магию ни в белую, ни в черную, — а вот зеленая, пожалуйста! — так вот, чокаясь не раз и не два, глядя друг другу в глаза, то с прищуром полупьяной влюбленности, то в открытую, словно распавнув души, как родники нежности, они чувствовали себя если не братьями по крови, то побратимами по судьбе. И ничто теперь не могло их развести...

Ничто? — Сталин горько — не усмехнулся, нет, а искривил губы в гримасе рта и седых (откровенно говоря, надоевших ему) усов. Ничто — философское слово, которое в применении к людям всегда означает нечто. А за таким нечто скрывается обязательно двусмысленность, злой умысел, исходящий из мелочей, не доступных пониманию среднего человека. Но Сталин был не просто человеком, и если уж говорить о "величии", то оно равняется сердцеведению. Сердцеведом и был Сталин, когда читал мысли людей, не ведомые им самим до конца, когда видел зарождение мыслей прежде, чем они оформились во что-то осознанно-четкое. Расшифровать их значило властвовать. Но в расшифровке мысли таили смутную опасность для него. А с опасностью надо бороться наотмашь, насмерть!.. И потому столько смертей прошло перед ним. Как будто сама жизнь была погребальной вереницей ускользающих душ. Вот и Ладю...

В тот вечер, о коем так вдруг вспомнилось, всё шло к хорошему концу, если б не одна реплика Ладо. Едва заговорили о текущей политике и Сталин сказал, что рассчитывает на его голос против Троцкого при дальнейших дискуссиях, Ладо рассмеялся и, хлопнув его по колену, сказал: "Ну, конечно, Сосо... Я всегда тебя поддержу. Но только в голосе моем не будет тебе нужды". — Почему это? — спросил Сталин. — Да потому, что есть у меня план покончить с вашей враждой. Сейчас не могу сказать тебе, что за план, поскольку не видался со Львом Давыдовичем, но уверен, что он пойдет тебе навстречу... И тогда зачем спорить и громоздить оппозиции? Вы оба — самые сильные умы нашей революции. От вашей дружбы она выиграет; от вражды — проиграет. И я хочу только одного: твоего согласия в принципе. Завтра, когда увижусь с Троцким, смогу ли сказать ему, что ты готов помириться?.. Встретиться с ним, посидеть вот так, как мы с тобой сейчас сидим... Ты не представляешь, Сосо, как много можно решить простой человеческой улыбкой. Вот хотя бы такой, как у тебя. И глядишь — вся история пойдет по-другому...

Сталин рассмеялся. — История, говоришь?.. Ах, Ладо, дорогой ты мой, как был идеалистом, так и остался... Что же за план у тебя созрел? Это должна быть палочка-выручалочка какая-то, чтобы с Троцким меня помирить. — Да ты только согласишься в принципе, — настаивал Ладо. — Остальное я устрою. У меня к Троцкому есть подход. — Что ж, — после паузы проговорил Сталин и разлил вино для заключительного тоста, — в принципе я согласен.

Выпили, и Ладо стал прощаться. Он приехал на собственной машине с шофером, которого дали ему в ЦК. — Может, заночуешь у меня? — спросил Сталин. — Куда ехать-то на ночь глядя? — Нет, — сказал Ладо. — Сегодня я, конечно, не работник, но с утра в Москве дел ой-ой-ой сколько! Так что ты уж на меня не сечуй... Только нельзя ли моему шоферу дорогу поудобнее подсказать? Здрово трясло, пока к тебе добирался. А я слышал, что есть какая-то другая дорога здесь на Москву — покороче и по ровнее. — Это мы устроим, — кивнул Сталин. — Ты посиди пока, а я вызову своего человека из охраны. Он проводит вас до Москвы.

И Сталин вышел из комнаты.

— Что ж? — подумалось ему. — Это судьба. В конце концов, по старой дружбе он давал Ладо шанс, предложив ему остаться ночевать. Не захотел — пусть пеняет на себя. И Сталин поднял трубку телефона.

Только люди охраны знали, что километрах в семи от сталинской дачи, там, где кратчайшая дорога на Москву зарывалась в лес, стоял небольшой охотничий домик. В нем жил человек, которого даже охранники знали под именем Жора — явный псевдоним, но интересоваться настоящим именем не следовало. В лесу дорога делала развилку: один путь спускался к реке и, петляя, выходил затем на приличное подмосковное шоссе, а другой, углубившись на юг, шел к лесной глухомани, утыкаясь в конце концов в глубокий овраг. Сталин бывал в охотничьем домике не раз, и

Жора — великан почти двухметрового роста, с тяжелой челюстью боксера и светлыми глазами перерезавшего школьника, был не то лесником, не то смотрителем домика. Жил он в полном одиночестве, если не считать громадной овчарки, да кроликов, которых он разводил неуёмно. Этот человек, стрелявший без промаха и готовый стрелять в любой момент, имел строгий приказ: ни одна машина, кроме сталинской, не должна была ни при каких обстоятельствах проезжать мимо охотничьего домика. Если же она все-таки появлялась, Жора знал, что делать: находившихся в ней — встретить пулями; саму машину — напрямик в овраг. Приказ обсуждению не подлежал, да; впрочем, Жора и не был создан для обсуждений.

Этому человеку и позвонил Сталин, сказав, что надо "встретить машину". Затем он распорядился, чтобы автомобиль с его личным шофером вел за собой машину Ладо вплоть до развилки дорог. Там шофер должен был подсказать, что ехать следует через лес, мимо охотничьего домика, поскольку другая дорога ремонтируется. Самому же — немедленно повернуть назад, проследив, чтобы Ладо ехал в "нужном направлении"...

Прощание было недолгим. На ступенях крыльца Сталин обнялся с другом, и две бензинно фыркающие машины, прорезая фарами ночную темноту, устремились друг за другом. Устремились навстречу неизбежному.

Сталин не смотрел им вслед. Всё было рассчитано, как хорошая шахматная комбинация. Было ли ему жаль Ладо? Ну, конечно, жаль. Не мудрил бы, не выпендривался, — мог бы и пожить дольше. А то на тебе — задумал помирить его с Троцким! Вот уж гуманист-примиритель доморощенный! Никогда, в сущности, не мог понять настоящей политики, а вроде бы всю жизнь политикой занимался... Ведь худшего варианта, чем примирение с Троцким для Сталина нельзя было придумать!.. В момент, когда он уже одолевал врага, когда от былой славы Троцкого остался не то что призрак, а намек на него, — и вдруг мириться! Влить живую воду в политический труп!.. Протянуть свою руку тому, у кого надо отсечь его руку!.. Развалить сплоченный блок соратников, движимых ненавистью к троцкистской олигархии, — союз, над созданием которого Сталину пришлось так долго работать!.. И всё это ради наивного ритуала братского примирения?.. Вот уж глупость махровая!..

Он припомнил, как еще в детстве, твердя на заученном жаргоне революционных лозунгов, пьянявший когда-то девиз: "Свобода, равенство, братство", — всегда спотыкался на этом последнем слове. "Свобода"? — Это неплохо; сильному человеку свобода нужна. "Равенство"? — пожалуйста! Дерзай "на равных" с другими и побеждай — слаще победы над врагом ничего не отыщешь в жизни, а победитель едва ли не равен Богу! Но "братство"?.. В самом примыкании этого слишком интимного слова к первым двум — холодноватым и блестящим, словно кинжалы, таились профанация и перебор чувствительности. Братством кидаться нель-



зя; оно не может быть массовым; оно индивидуально, да и в индивидуальности своей выборочно. И никогда в жизни — по крайней мере, в с о з н а т е л ь н о й жизни — уйдя от семинарской сентиментальности незрелого подростка и придя в революцию, он не испытывал "братских" чувств ни к друзьям по партии, ни к интимным собутыльникам — ни к кому. Тем паче — к толпе! Тем более — к врагам!.. Словно искрящийся светлячок, всплыла вдруг в памяти гумилевская фраза: "Я не имел от женщины детей И никогда не звал мужчину братом". — Очень неплохо сказано! Насчет "детей от женщины" — это, конечно, не его — Сталина — случай, а вот по части "небратства" — тут в самую точку!.. Если уж судьба не подарила ему братьев по крови, то н а к р о в и их не замесишь...

Такие люди, как его дружок Ладос, — это типажи уходящего племени революционных идеалистов ленинско-плекановского толка. В сущности, чем раньше они уйдут, тем лучше. Строить новую жизнь должны люди без нервов и сентиментов; люди кинжальной воли и непреклонности. И пусть мертвецы оплакивают мертвецов...

Вся история с Ладос закончилась строго по плану. Вернувшийся к полночи шофер доложил Сталину, что машина с гостем ушла в направлении к охотничьему домику, а на утро хрипловатый голос Жоры поведал по телефону о ночной ликвидации. Вызванные через несколько часов работники ГПУ обнаружили в лесном овраге кузов обгоревшего автомобиля и два трупа: "члена ЦК ВКП(б)... выдающегося революционера..." и прочее-прочее... (всё, требуемое для газет, где объявили об автомобильной катастрофе), а также его шофера. Похороны Ладос проделали по первому разряду: кремация, урна в кремлевской стене... прощальные речи... Сталин речей не говорил, но "последний долг" отдал: приехал в крематорий, где в толпе разномастных членов ЦК, ВЦИКа и Совнаркома с удовлетворением заметил художаво-осунувшегося Троцкого. Времена, когда они разговаривали друг с другом, миновали, и потому, встретившись взглядами, только кивнули они встречно.

— Вот так-то, несостоявшийся брат мой! — подумал Сталин. — Сгорело в крематории наше "примирение", а на всё остальное, как говорится, "воля Божья"... Или точнее, как поется в разухабистой песенке, "и вся-то наша жизнь — борьба, борьба..."

Кунцевская дача вползала в сумерки и прохладу вечера. Сталин поднялся с кресла, отмахнулся от каких-то упавших на колени листьев, а заодно и от воспоминаний, и медленно проделал путь от беседки к дому. Уже в столовой, попивая чаек и мысленно готовясь к традиционной ночной работе с бумагами разной степени важности, он снова зацепился промельком мысли на том, что было "в начале длинной-длинной дороги".

Да, всё прошло, и всё уходит, кроме воспоминаний, имеющих свойство возвращаться и воскрешать. Почти по Ницше — "вечное повторение". Давно нет ни Ладос, ни Троцкого, и уж само собой благополучно ликвидированы "исполнители" типа боксероводобного Жоры. Да и дачи старой уже

нет, как и охотничьего домика, — безмолвного, но все-таки свидетеля нескольких, прямо к р и ч а щ и х, но спрятанных надежно, событий. Выиграл он в борьбе со всеми своими соперниками. Власть-то у него; слава — тоже... И все-таки последнее время на какой-то волне неуверенности балансировало его сознание. Чего-то не доставало...

В кабинете, просматривая бумаги и делая отметки на полях, он — наконец-то — поймал долго не дававшуюся в отчетливости мысль. Вернее, мысль развернулась потом, а вначале, как водится, "было слово". Выразительное и короткое слово — встряска.

Точно!.. Именно так — и не иначе!.. Надо многое перетряхнуть; даже пройдя долгий путь, нужно действовать с той же энергией, что и в его начале. Нельзя надеяться на исчезновение врагов. Они только затаились, и они повсюду — на самом верху партии и государства, рядом с ним, в разном обличьи. И прежде всего, конечно, следует начать с самого верха.

В одной из сегодняшних папок лежала сводка многолетних предложений о созыве очередного партийного съезда. Он должен быть девятнадцатым по счету. Не нравилась ему эта нерешительная цифра — "19". Ни то, ни сё — промежуточность какая-то, неопределенность. Он любил круглые цифры, гудящие готовым лозунгом, — "пятилетка", например. Прибавь одну только циферку, и что получится? Шестилетка? — Тьфу, и слово-то противное, вроде шестеренки какой-то! То же самое и с д е в я т н а д ц а т ы м съездом. Нет, жить ему осталось, видимо, не очень долго — все-таки семьдесят два года расцветом молодости не назовешь, и в таком возрасте надо подумать о красивых символах своего заката. А цифра "девятнадцать" не сопрягается с его представлением о подлинно с т а л и н с к о м партийном съезде. Другое дело, скажем, — "двадцатый съезд". Это звучит мощно, полновесным аккордом истории. Вот и должен он стать е г о съездом... после чистки и рубки соответствующей, ибо слишком много грязи налипло на бока партийного корабля. Очищение необходимо.

Значит, решено! — сказал он самому себе и начал писать на отдельном блокноте тезисы к организации девятнадцатого съезда. Он, конечно, не будет эпохальным. Даже отчетный доклад не стоит самому делать — пусть почувствуют, что Сталин смотрит вперед, и настоящие отчеты перед историей тоже еще впереди. Доклад придется поручить Маленкову. Политбюро надо расширить, введя новых членов — вполне преданных ему людей. Чтобы звучало позакругленней, пусть их будет 25. Конечно, старых и вихляющих его соратников, вроде Ворошилова и Молотова, придется включить в состав Политбюро, но растворенные среди новых и безусловных с т а л и н ц е в, они окажутся в меньшинстве. А чтобы не ссылались на традиции всякие и приоритет, ликвидируем вообще понятие "Политбюро". Пусть оно станет, допустим, Президиумом партии. Тогда что ветеран Молотов, что какой-нибудь новоявленный Андрианов из Ленинграда, будут исчислять свой стаж в верховном органе партии с одной и той

же временной точки. И если затем большинство Президиума выведет того же Молотова — по причине ли "здоровья", или за "сионизм" (учитывая его озлобленную женушку-еврейку), то это не будет каким-то падением старого партийного дуба, а всего лишь выдергиванием сорняка. Так же постепенно разделается он и с другими, в том числе и с любимым "Прокурором" — Лаврентием, хотя, возможно, именно Лаврентия он уберет в последнюю очередь; Лаврентий может еще пригодиться.

Досадно, что нельзя просто перепрыгнуть через цифру "девятнадцать" и сразу устроить двадцатый съезд. Однако есть хороший ход: спешно проведя девятнадцатый съезд этой осенью, перетряхнуть структуру ЦК, а потом — хотя бы на следующий год, назначить новый — двадцатый съезд, объявив его, скажем, "чрезвычайным". Это звучит: "чрезвычайный, двадцатый съезд партии"... и не ВКП(б), конечно, — пора отделаться от устаревших ассоциаций с ленинским большевизмом, а партии с новым названием — допустим, КПСС — Коммунистическая Партия Советского Союза... Да, именно так должна называться его — с т а л и н с к а я партия, ибо подлинным творцом Советского Союза был он, а не Ульянов. И двадцатый съезд этой новой партии будет съездом великого очищения, триумфом его — с т а л и н с к о й — воли и мудрости... Потом, если здоровье позволит, он, может быть, проживет хотя бы несколько спокойных лет. Глядишь, и медицина что-нибудь придумает. А если не придумает, — что ж, умрет он со спокойной совестью...

Сталин потушил настольную лампу, подошел к окну, раскрыл его створку и глубоко вдохнул в себя прохладный воздух ночных теней и запахов. Слегка кольнуло в сердце, и это было неприятным подтверждением грустных мыслей о неизбежном конце. Как ни сторожись, как ни хитри, — откажет моторчик в груди, и — баста! Он вспомнил — кружа по извилистой ассоциации — как петляла по Кремлю, прячась по углам и кустарникам, любимая прирученная лиса Бухарина; хозяин, ставший "врагом народа", исчез, и лиса, словно стыдясь, скрывалась от людей, но ее видели, о ней говорили (а значит, вспоминали и Бухарина), и Сталин приказал пристрелить ее. Когда это было выполнено, — вдруг пожалел и невольно подумалось, какая красивая новелла о бегущей по Кремлю лисе могла бы получиться у него, будь он писателем. Но он н е б ы л писателем.

Он закрыл окно, задернул штору, зябко передернул плечами, и, достав из кармана френча таблетку валидола, проглотил ее, запив боржоми. Да, по ночам уже холодновато. Наступает осень...

## 11.

Осенний, девятнадцатый съезд партии прошел гладко и бесцветно. Тучный Маленков отдубасил отчетный доклад; мера славословий по адресу "великого вождя" была тем неумеренней, чем скромнее держался сам вождь. Сталин присутствовал только на двух заседаниях съезда и высту-

пил с такой крохотной речью, что ее, растягивая на отдельную брошюру, печатали аршинными буквами, да и то в тексте было куда больше реплик о "бурных овациях" и возгласах "да здравствует великий Сталин!", чем собственно сталинских слов. Всё это приписали усталости, недомоганиям и возрасту, но сам-то Сталин хитрил: он репетировал роль для истории и чувствовал себя совсем неплохо. Зачем придавать ненужную значимость съезду, который осужден стать проходным? Вот будет чрезвычайный, двадцатый, — тогда Сталин покажет и свою энергию, и умение подводить итоги! Ибо не многим из тех, кому он дал трибуну девятнадцатого съезда, удастся дожить до двадцатого. "История повторяется сперва как трагедия, а потом как фарс". Сталин не раз цитировал эти марксовы слова, но, пожалуй, он внесет в них поправку. Если вспомнить, сколько делегатов семнадцатого съезда дотянули до следующего — в 1939 году, то Сталин просто-напросто повторит трагедию заново. Ну, а сам посмеется над ней как над фарсом. В результате всё произойдет и по-Марксистски, и по-Сталински...

Такие мысли бодрили лучше любого вина. А к винцу прикладывался он гораздо чаще и неумереннее, чем раньше. Берию приглашал в Кунцево чуть ли не через день и всё привечал, приголубливал. Ведь скорее всего, только бериевский опыт в проведении чисток поможет провести великую перетряску партии в рекордно короткий срок. Нужен был не тридцать седьмой год — требовалось не более месяца — ну, от силы *тридцать семь дней*, чтобы этак раз! — и полетели *все* нужные головы... А чтобы Берия работал на совесть, следовало подкопаться и под него. Для этого, между прочим, созревало, наливаясь юридическим соком, "дело кремлевских врачей" — вредительство, которое прохлопал его милый "Прокурор".

И вдруг ударил новый сердечный приступ! Случилось это уже зимой, когда после недолгого пребывания в Кремле, возвращаясь на кунцевскую дачу, проехал через обезлюдевший почти, но ненавистный после покушения, поселок Давыдково. То ли под декабрьский пересвист метели ожили былые страхи, то ли разволновался чересчур после заседания Бюро Президиума ЦК, где драматически предложил он свою отставку, чтобы проверить лояльность своих "ближайших"... Отставку, конечно, они отвергли. Особенно пылко заклинал Сталина "оставаться на посту" Берия. Все-таки Лаврентий ему предан больше других... Обрюзглый Маленков слишком уж вошел в марионеточную роль *первого* из секретарей ЦК, и молил не так страстно. Хрущев полез со своими фольклорными байками, но запутался от волнения на какой-то несусветной поговорке. В результате, вместо "аллилуйя" получилось что-то вроде отпевания. Булганин повторял только, что "Сталин незаменим" и твердил эту фразу, словно заведенный автомат в своем незаслуженном маршальском мундире. Как будто сам Сталин не знает о незаменимости своей!.. Ты бы развил эту тему, что ли, расцвел ее, — тогда тебя можно было бы и послушать с удовольствием. А тут какая-то смесь дятла с попугаем: долдонит одно и то же без смыс-

ла и выражения... И с такими ничтожествами надо работать!.. Нет, перетряска нужна отменная, чистка великая...

Но пока *сотрясала* его простуда, привалившая вместе с сердечными болями. Срочно вызванный в Кунцево Лукомский дал какие-то новые таблетки; появившаяся вместе с ним женщина-врач сделала укол и, отлежавшись денька два, пошел он на поправку явную. Так что к своему дню рождения очередному полностью встал на ноги и снова пригласил Берия — его одного — на ночное застолье.

Здесь-то и случилось сказать Сталину то, что освободило Лаврентия Павловича от всяких колебаний в отношении к Х о з я и н у. Когда, расчувствовавшись после полуночи, Сталин завел разговор о здоровье, подорванном летами преклонными, переключился он вдруг на тему о ленинской смерти. К этой теме Сталин не раз прикасался и прежде — было в ней для него нечто запретно-манящее, и Берия догадывался, что слухи о сопричастности Сталина в ускорении смерти Ильича скорее всего не лишены оснований. Правда, ничего определенного он об этом не знал: в том далеком 1924 году находился молодой чекист Берия в стороне от московских событий, а документальных каких-нибудь данных, понятно, не имелось насчет столь деликатного дельца. И всё же — нет дыма без огня: слухами тоже нельзя пренебрегать, да и сам Х о з я и н говорит иной раз так, будто совестится или что-то вроде этого. Так и теперь...

— Знаешь, Лаврентий, — по-русски сказал Сталин и поглядел на Берия с такой притушенностью обычно острого взгляда, что даже пожалуй можно было в этот момент усталого и действительно не слишком крепкого телом старичка. — Когда Ильич умирал, мучился он нэ столько от боли, сколько от стыда за сэбя. Нэ к столу будь сказано такое, но, как говорится, из пэсни слова нэ выкинешь: паралич его разбивал по кускам и очень страшно это было наблюдать со стороны... Да я тэбе об этом рассказывал прэжде нэ раз, — но повторяю снова: в уборную Ленин нэ мог ходить — ходил под сэбя. И это ему было особенной мукой. Он сэбе цену знал, и вдруг представляешь такое! — Л е н и н — и в постели дерьмом исходит, а его всякие няньки-санитарки подмывают. Нэ слишком красивая картина для мировой истории... Все мы, конечно, люди, однако какой-нибудь Иван Иванович Иванов может испражняться бэз опасений, что его экскременты будут в мемуарах зафиксированы, а такие, как Ленин, должны умирать прилично. Вроде Цезаря, который прежде чем упасть замертво, тогу свою подтянул. Знаешь об этом факте?.. — И поскольку Берия никак не среагировал внешне на его реплику, Сталин переспросил почти враждебным голосом: "Знаешь про Цезаря или нет?"

— Конечно, знаю, — поспешил согласиться Берия.

— Хорошо, если знаешь, — снова размягчаясь, сказал Сталин. — Биографии вэликих людей следует знать от корки до корки. Так вот, Ильич исходил и дерьмом и стыдом одновременно. Однажды, когда я приехал к нему в Горки, он стал плакаться и просить меня, чтобы дал ему яд. Нэ

хотел он жить полутрупом... Я его понял и яд ему да л... Понимаешь, Лаврентий? — да л, ибо если Сальери отравил Моцарта из зависти, то я, во-первых, нэ Сальери, а — смею думать — личность более крупная, а, во-вторых, иногда высшая доброта заключается в умении сделать полезное зло...

Сталин выдержал паузу и, наклонившись к Берии через стол, заговорил снова, только глуше и раздумчивей:

— И у меня к тебе просьба, Лаврентий, как к моему единственному другу, которому верю. Здоровье мое нэ совсем чтобы плохо, но и нэ слишком надежно. И если со мной случится что-либо похожее на паралич, как с Лениным было, ты мне, пожалуйста, дай яду... Своей рукой дай... Договорились?..

Берия отшатнулся с полунаигранным ужасом, но, в общем-то, и напуганный. Неужели Сталин его испытывает таким примитивным способом? Мысль о яде, конечно, великолепна; яд можно дать хоть сейчас (Берия всегда носил при себе ампулу — просто так, на всякий случай!). Однако попробуй предложи ее Сталину! Ведь это уже попытка убийства явная... Как оно было с Лениным — С т а р и к у виднее; пусть он сам расхлебывает свои счета с историей. А Берия в элементарные отравители не пойдет, да еще и с риском, что всё рассказанное Сталиным — просто провокация.

— Х о з я и н, ты не в себе немного или перепил, — начал Берия, имитируя дрожь в голосе и возбуждение необычайное. Даже пенсне снял и протирать стекла начал — дескать, запотели от волнения, а, может, и от нахлынувших слез. Пусть Сталин видит, как переживают за него — за мысль одну о возможной смерти *великого и мудрого*... — Х о з я и н, — повторил Берия, — ты не должен и думать об этом. Клянусь тебе, как друг, если хочешь, как *брат твой младший*, всё сделаем, чтобы спасти тебя — случись что... Всю мировую медицину на ноги поставим. Из-за границы любых врачей выпишем, но умереть тебе не дадим...

Берия встал из-за стола и, подслеповато щурясь без пенсне, прошелся по комнате (опять же силу волнения демонстрировал). Сталин наблюдал за ним, по-прежнему размякнув в кресле.

— Хорошо, хорошо, Лаврентий, — проговорил он, долив себе в бокал еще малую толику винца. — Я ведь скорее умозрительно эту проблему поставил. В принципе, так сказать. Лучше яд, чем паралич... А еще лучше, разумеется, ни того, ни другого. Так что сядь, Лаврентий и нэ волнуйся. Мы с тобой — надэюсь — проживем еще, поработаем. Сядь, пожалуйста, и выпей...

Они расстались под утро, и хотя переговорили о многом, всё остальное — с точки зрения Берии — не могло эмоционально перевесить сказанного Сталиным насчет яда. Х о з я и н — сам освобождал его от любых сомнений. Если он помог умереть Ленину и считает это чуть ли не актом гуманности, то Берия за смерть такого человека, как Сталин, народ дол-

жен просто обоготворить. Тем более, народ, как всегда, ничего не узнает, а возможные сплетни и пересуды будут работать только в пользу Берии как избавителя от сталинской тирании. При дележе власти придется, конечно, устраиваться вначале вместе с Маленковым и Молотовым... Булганина, пожалуй, тоже не обойти; Каганович нужен для "еврейского баланса" — Сталин, с его антисемитской патологией, несколько переборщил и требуется восстановить доверие к советской национальной политике.

Берия почти умилился своей честности в отношении к соперникам. Он готов поделиться завоеванным — не всякий завоеватель на такое способен. Сидя в машине, уносившей его в Москву, Берия мечтал о будущей роли великодушного вождя народа, мудрого реформатора и политика, идущего по истинно *ленинскому* (отнюдь не сталинскому!) пути. В области внутренней политики нужны мероприятия в стиле НЭПа; на мировой сцене не следует быть провокатором. Уж он-то — Берия — и с американцами сумеет поладить, и лишних врагов Союзу не создаст, как умудрился Сталин хотя бы в случае с Тито. И, конечно, нужно повторить ход, который он сделал в 1938 году, сменив Ежова на посту наркома: пересмотр судебных дел, амнистия невинно осужденных — это хорошо действует на массы. После леденящего зажима Сталина требуется оттепель — пусть временная, но достаточно заметная. Словом, как-нибудь перевалим через новогодние праздники *вместе* со Сталиным, а уж в следующем году от него надо избавляться. Как это сказал Сталин? Дескать, он — личность покрупнее Сальери, так кажется?.. Что ж, если он более крупный отравитель — имея в виду смерть Ленина! — то Берия будет скромнее. И операцию по устранению Сталина он зашифрует кодовым именем "Моцарт"...

12.

*"Ой, не шейте вы, евреи, ливреи,  
Не ходите вам в камергерах, евреи!  
Не горюйте вы, зазря не стелайте,  
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате."*

*А. Галич*

"Ищите женщину!" — говорят французы. Однако в политике следует сказать: ищите еврея! Как всегда, за кулисами событий — больших и малых, приятных и скандальных, — прячется это племя ростовщиков и музыкантов, философов и мятежников, космополитов и уязвленных националистов. Евреев на свете не так уж много, — думалось иногда Сталину, — но все-таки их больше, чем следует. Прямо какое-то "подавляющее меньшинство"!

Однако те, кто твердит, будто с евреями не совладать, недооценивают его — Сталина... Ссылаются на примеры истории: мол, ни римлянам, ни Тюрквемаде, ни даже Гитлеру, не удалось решить "еврейский вопрос". Верно, не удалось. Поскольку слишком много уделяли ему внимания как *особому* вопросу. Между тем, в принципе говоря, подход к евреям

должен быть такой же, как, допустим, к переселенным с Кавказа балкарцам или чеченцам. Никакой драматизации, никаких погромов или специальных "ночей битых стекол", как в гитлеровской Германии. Всё должно идти планомерным, рутинным порядком: эшелоны отправятся в направлении к Биробиджану; при советской паспортной системе — если ее правильно использовать — никто не сможет ускользнуть от контроля. И мир будет поставлен перед свершившимся фактом. Поскольку не удалось сделать Израиль советским форпостом на Ближнем Востоке, придется создать свой дальневосточный контр-Израиль. И дешево, и сердито; и внутренние проблемы разрешены будут, и международная общественность лишней раз убедится, что для Сталина ничего невозможного нет.

Конечно, для всякого костра необходима искра. Теперь, когда справедливый гнев народа бушует в связи с делом врачей-убийц, которые почти все оказались евреями, надо лишь умело направить народное негодование в нужное русло. И сами евреи тогда увидят спасение в исходе из России. Для роли же дальневосточного Моисея можно им подарить хоть Кагановича, — улыбнулся находчивому сравнению Сталин, — в конце концов, будучи Лазарем, он как раз Моисеевич. Пусть себе досиживает в Биробиджане время, что пересидел в Москве. Заодно и расстановка сил в Президиуме ЦК будет улучшена...

1953 год начинал свой чугунный рокот. Январь и февраль сотрясали огромную страну. Это были роковые месяцы конца сталинской эры, но кому это угадывалось, кому виделось? Тяжелый пресс тридцатилетней длани застыл неразжимаемой хваткой на горле у государства. Его колесо вертелось, делая обороты в нужном Сталину направлении; правда, некоторые гайки чуточку ослабли; приводные ремни поистерлись, и посему — требовался небольшой ремонт...

Красные рассветы пылают на Дальнем Востоке — солнце прыгает между сопок и стреляет лучами по иглам мохнатых елей — рассвет борется с ночью и зимним холодом. В Биробиджане теплей, чем на Колыме, но судьба Биробиджана — колымская. Скоро — если не произойдет ничего чрезвычайного — застучат по рельсам эшелоны, набитые полумертвецами — от страха ли, от обычного ли небрежения конвоя — и ээка не ээка; свободные ли граждане СССР, или не совсем полноценные его граждане — начнут массами заселять дальневосточные земли. Второй исход евреев должен затмить сказ о былом спасении от фараона. Ныне сам фараон планирует и осуществит его, — если не случится ничего незапланированного...

Белые ночи струят тонкую дымчатость над песчаными дюнами Балтики. Наполовину уменьшенные в числе своем прибалтийцы спят еще в аккуратных домах, не ведая, что новые списки о депортации в Сибирь составляются в одном из спецсекторов на Лубянке. Содрогнитесь, костелы Вильнюса, рижские соборы и таллинский "Старый Томас"! — суждено вам молчаливо свидетельствовать о новой перекройке народов ваших... Если



не произойдет что-то особое...

Синие сумерки ласкают украинские степи, уже согретые ранним теплом, веющим с Черноморья. Белые хаты, будто упавшие в двадцатый век с гоголевских "вечеров", и щеголеватые, словно парубки на вечеринке, дома киевского Крещатика, не знают, что новая волна сталинского гнева вот-вот обрушится на строптивых украинцев. В самом деле, — не раз задавался вопросом Сталин, — а почему надо переселять хохлов по частям? Сибирь велика — *всех* проглотит. Ну, а раз началась великая операция с евреями, — отчего бы и "Малороссию" не подчистить. "Великий русский народ" должен и географически оправдать величие свое. Не будет никаких *мало-россий*, *бело-руссий* — будет одна Россия в его — сталинском — кулаке... Если не свершится непредвиденное...

И непредвиденное свершилось.

### 13.

На исходе февраля, в один из редких — не по-февральски солнечных — дней, на лесной опушке заснеженного подмосковного бора стояли четверо людей. Добротными шубами своими напоминали они московских бояр. Да и дородностью пышной тяжеловесы Хрущев с Маленковым подтверждали бояриность. Булганин — тоже в шубе, ондатровой шапке и бело-красных унтах, как и остальные, выглядел все-таки более стройным. Под стать ему и Берия, пригласивший своих собеседников заехать сперва на дачу к нему, чтобы прослушать новые записи Моцарта, а потом — под свежим еще впечатлением "Юпитера", легкой выпивки и отличной семги — выйти на охоту, а скорее всего на лесную прогулку (даже ружья оставили дома — какая уж охота и на кого?). Просто подышать лесным воздухом, да и поговорить на досуге, свободном от помех, спрятанных микрофонов и дополнительных подозрений.

Сначала больше всех (и как отметил про себя Берия, самым деловым образом) говорил Хрущев.

— Слушай, Лаврентий Павлович, — заключил он свой почти монолог, когда они проделали изрядный путь между двумя просеками, разделявших лес на ельник и березовую рощу, — надо что-то делать. Мы в таких операциях понимаем, честно говоря, не больше, чем в самом Моцарте. Однако перед нами задача: спасти себя и страну. Можно ли все-таки действовать таким образом, чтобы Сталин остался жить, но ушел бы на покой и ни во что больше не вмешивался?

Берия потянул с ответом, вглядываясь в настороженные лица Хрущева, Маленкова и Булганина. Молча, они сделали еще несколько шагов и сами собой остановились, когда Берия кашлянул, прежде чем сказать окончательно то, ради чего и затевалась "операция Моцарт".

— Нет, за живого Сталина (пусть и в отставке, пусть даже под домашним арестом) он ручаться не может. Сталин должен умереть и для этого есть эффективные и незаметные для посторонних средства. Но,

впрочем, можно попробовать и облегченный вариант отставки Сталина с государственных и партийных постов. Предлогом могло бы послужить ближайшее заседание Президиума ЦК для обсуждения депортации евреев.

Однако, — подчеркнул Берия, — для бóльшей гарантии успеха "операции Моцарт" он не хочет играть на заседании активно оппозиционную роль. Поэтому пусть не удивляются, если с виду он будет поддерживать Сталина. Рассорившись со всеми, кроме него, Сталин полностью ему доверится и тогда... Тогда наступит конец, желанный для всех, а также медицински оправданный. Детали Берия возьмет на себя.

На этом и порешили. Когда вернулись на дачу, выпили снова, и разъехались удовлетворенные, чтобы встретиться уже на заседании в Кремле.

\* \* \*

Лукомский получил окончательные инструкции от Берии за день перед этим заседанием. Холодно блестело пенсне, зябко проглядывала в окна февральская муть, холодом веяло от мраморного пресс-папье на огромном столе Берии в его деловом кабинете, когда он нарисовал перед Лукомским сценарий необходимых действий. — Вы поедете в Кремль в одной из машин моего конвоя, — говорил Берия. — Старая охрана кремлевского комплекса ликвидирована; ее бывший начальник — генерал Косынкин, оказавшийся "врагом народа", убит при попытке сопротивления аресту. Следовательно, никаких осложнений с процедурой проверки в Кремле не будет. Во время заседания Президиума ЦК вы и ваш ассистент-женщина должны ждать в приемной моего звонка. Если его не последует, то после заседания поедете домой. Если же я позвоню, то тут возможны два варианта и вы должны четко запомнить их разницу. Возможно, я скажу вам по телефону о необходимости срочно придти в зал заседаний и помочь товарищу Сталину. В этом случае ваша помощница сделает укол и всё положенное под вашим наблюдением. Однако если я скажу вам только *одно* слово: "Моцарт", — тогда укол *сделаете вы* и вашим собственным шприцем. Сделаете этот укол, учитывая то обстоятельство, что в случае фатального исхода болезни Сталина, вскрытием тела и составлением медицинского заключения будете руководить именно вы... Надеюсь, вам всё понятно?..

Лукомский хладнокровно кивнул. Месяцы жизни в постоянном напряжении и в мыслях о приближающейся развязке приучили его не волноваться сверх меры. Будь что будет; в конце концов, всё зависит от Берии и если он будет удовлетворен, это единственный шанс для Лукомского быть удовлетворенным тоже. Так что — хотя страх и метался внутри холодной искрой — почти спазмой — внешне Лукомский выглядел совершенно спокойным, и это с удовлетворением отметил про себя Берия. — Молодцом, профессор, — подумал он, — возможно, вас и не придется убирать после смерти Х о з я н а, как предполагалось. Люди, сочетающие компетентность и хладнокровие, всегда сумеют пригодиться... Но, конечно, о кон-

кретной судьбе профессора Лукомского мы подумаем позднее. После того, как решится судьба Иосифа Сталина...

\* \* \*

Она решилась днем позже. На заседание Бюро Президиума (Старик, как обычно, мудрил и в последний момент собрал именно Бюро, а не полный состав Президиума) явилась вся "старая гвардия". За квадратом гигантского стола, крытого зеленым сукном и потому особенно напоминавшим миниатюрное футбольное поле, расположились устало-чопорный Молотов, поблекший изрядно Ворошилов, мрачно усмехавшийся чему-то Микоян, необычно сосредоточенный Каганович. Маленков уселся ближе всех к Сталину, а рядом с Маленковым устроился Берия, как бы подчеркивая тем самым, что они в последнее время всегда *рядом*. Прямо напротив него оказались Хрущев с Булганиным. Из новых членов Бюро, к удельному весу коих еще только привыкали, — как два бесцветных нувориша, сидели молчаливые Сабуров и Первухин. Строго говоря, присутствие Молотова и Микояна было немного сюрпризным: после XIX съезда они формально в члены Бюро не входили, но так как само Бюро было создано вопреки решениям съезда, предусмотревшего только Президиум ЦК, а Сталин обожал создание всяких рабочих троек, пятерок и семерок, то приглашение опальных Молотова с Микояном могло иметь какой-то особый смысл. Вероятнее всего, — подумалось Берии, — поскольку вопрос пойдет о евреях, Старик хочет отыгаться на Молотове в первую очередь, ну а чего он хочет от армянской лисы Микояна — это угадать так же трудно, как и мысли самой армянской лисы.

Сталин, листая толстую папку с документами по делу врачей, читал краткое сообщение о результатах следственного разбора. — Обычные трюки, — подумал Берия, — Игнатъев с Рюминым отрабатывают свою зарплату в МГБ. "Все обвиняемые признались", "неопровержимые доказательства", "свидетельские показания подтверждают..." А, собственно, какие "свидетельские показания"?.. Одна вздорная баба Тимашук — явная сексотка и марионетка Игнатьева... — Он видел, как наливались кровью лицо и лысая часть головы смотревшего в стол Кагановича, как ёрзал Молотов и двусмысленно усмехался Микоян. — Да, что-то назревает на этот раз серьезное. "Старая гвардия" не хочет умирать, а хочет не сдаваться...

Сталин перешел к чтению проекта специального правительственного распоряжения о депортации евреев из европейской части СССР. Молчание всех присутствующих казалось свинцовым; оно словно стягивало глуховатый сталинский баритон обручем настороженной враждебности. Как Старик этого не замечает?.. Но, видимо, решил, что "дело врачей" слишком хорошо состряпано и всех одинаково касается. Ведь планировались дальнейшие "убийства руководителей государства и партии". А под категорию намеченных жертв можно подвести тех же Молотова и Микояна.

Хотя, разумеется, если суждено им стать жертвами, то не врачей, а произвола самого Х о з я и н а...

— Таковы факты и наши предложения в связи с этими фактами; — проговорил Сталин, откладывая папки с бумагами в сторону и по привычке доставая трубку, которую, впрочем, не закуривал давным-давно, а просто приносил с собой на заседания и частенько, слушая кого-нибудь, слегка постукивал ею по ладони. Так сделал и на этот раз. — Какие будут мнения насчет депортации? — спросил он, оглядывая присутствующих и уверенный, что мнения, если и будут, то лишь в развитие каких-то пунктов его собственного плана. И то, что первым попросил слово Каганович, никогда и ни в чем не перечивший, а сейчас находившийся в особо сложной ситуации, еще больше устраивало Сталина. — Начинай, Лазарь, петь Лазаря... — игриво подумалось ему. — Как говорится, "пой, ласточка, пой..."

Но после первых же слов отдувавшегося с трудом и вспотевшего от волнения Кагановича, игривость сталинских мыслей испарилась. Он не верил своим ушам. Лазарь осмелился не соглашаться и спорить?!.. Да это бунт и провокация!..

Возбужденность Кагановича передалась остальным. Все заволновались, закашляли; нарастал шумок, столь непривычный во время официальных — не застольных — бесед в Президиуме. Молотов внезапно перебил Кагановича на полужизне. С чопорным хладнокровием, которое подчеркивалось его заиканием и являло полный контраст с запальчивой трескотней Кагановича, он сказал:

— Поскольку правительственный декрет о высылке еврейских граждан СССР мотивирован результатами следствия по делу кремлевских врачей, а сами эти результаты не вызывают доверия, я предлагаю создать специальную комиссию по расследованию методов, с помощью которых получены доказательства вины обвиняемых. Я лично не могу поверить, что те, кого я и все присутствующие здесь знали много лет как прекрасных специалистов и порядочных людей, вдруг оказались "бандитами в белых халатах". В это невозможно поверить...

Сталин отложил трубку — словно припечатал ее к папкам с документами. Брови его сдвинулись; рядом с оспинками лица замелькали красные пятнышки — признак великого гнева.

— Ты что же это, Вячеслав?.. Нэ веришь мнэ пэрсонально?.. Так прикажешь тэбя понимать?.. Я лично проверил работу министра госбезопасности товарища Игнатъева и начальника следственного отдела МГБ товарища Рюмина. Они расхлебали то, что наши милые "органы" умудрились прохлопать прежде. За это кое-кто еще ответит...

(Ого! — вскинулся про себя Берия. — С т а р и к уже явно угрожает. Кто, как не он, курировал "органы" все эти годы? Выходит, что "отвечать" за это придется ему, если не остановить Х о з я и н а сейчас же, немедленно. — Кровь в нем закипела от ярости, но сдержал себя. Зачем вмешиваться в драку раньше других? Каша заваривается серьезная и он

всегда еще уловит *свой* момент).

Сталин между тем продолжал:

— Вы слепы, как новорожденные котятa, — проговорил он, обращаясь ко всем сразу и вставая со своего места. Сделав шага два в сторону от стола, он круто развернулся и воскликнул: — Что будет с вами, если я умру? Вас пзредушат и пзрерэжут одного за другим...

На минуту казалось, что ему удалось подавить все попытки затеять спор. Однако грузный Каганович нарушил тяжело нависшую паузу и тоже встал из-за стола.

— Я предлагаю немедленно проголосовать предложение товарища Молотова о создании специальной комиссии для проверки дела врачей. До получения результатов ее работы вопрос о депортации не должен даже рассматриваться...

— Тем более, — по-прежнему с места, и с прежней чопорностью, поддержал его Молотов, — что депортация наших еврейских граждан в Сибирь — (голосом он подчеркнул слово *наших*) — вызовет катастрофические международные последствия. Мы столкнемся с угрозой разрыва дипломатических отношений почти со всем миром, с бойкотом, а, возможно, и с войной. Удивительно, что Иосиф Виссарионович не проявляет в данном случае свойственной ему мудрости предвидения...

Убийственно-ироничная реплика Молотова насчет способности Сталина "предвидеть" события имела, конечно, свой подтекст. И пока он смотрел со своего места на Сталина, пока Сталин мрачно глядел на него, — оба вспомнили одно и то же: начало войны, их общий просчет (общий, но главным образом всё же — *сталинский*) в доверии к Гитлеру, неспособность Сталина перечеркнуть слепую гипотезу о нежелании Гитлера воевать — даже перед лицом неопровержимых сигналов и фактов... Всё это промелькнуло в памяти обоих с яростной синхронностью: общий грех, но в основном всё же — *сталинский* грех... — Ну, Скрябин, дипломат мною вскормленный, — решил про себя Сталин, — ты мне дорого заплатишь за сегодняшний бунт. Правда, пока это "бунт на коленях", и на коленях же он закончится — не будь он Сталиным! — однако следует сделать какой-то смягчающий ход...

И Сталин вернулся к столу, хоть и не сел на свое место.

— Во-пзрых, — по возможности спокойно заговорил он, — рзчь идет о депортации евреев нз в Сибирь, а на Дальний Восток. Так что будем точными в географии. Во-вторых, если кто-то из присутствующих смущен, так сказать, климатическими факторами, то можно внэсти изменения в правительственный дэкрет и переселить евреев... хотя бы в Срэднюю Азию. Там на климат никто не жалуется... На холод, во всяком случае...

Берия решил, что настала его очередь — не действовать, нет, а проверить степень решимости сталинских оппонентов к действию. Поэтому он проговорил намеренно рассудительным тоном:

— Я думаю, что товарищ Сталин прав. Снявши проблему климата, мы

отведем упреки в жестокости. А всё остальное — наше внутреннее дело...

— Внутреннее? — возопил Каганович. — Да как ты можешь, Лаврентий, говорить такое?.. Ты же умный человек, а Сталин выжил из ума. Определенно выжил. Он просто позорит нашу партию, и я не желаю быть в ней вместе с ним.

С этими словами Каганович распахнул пиджак, выхватил из кармана партбилет и разорвал его в клочья. Бумажные обрывки посыпались на зеленое сукно стола — вместе с партбилетом Каганович порвал еще какую-то бумагу, но это уже не имело значения. Все возбужденно заговорили, перебивая друг друга. Хрущев и Молотов демонстративно стали успокаивать разбушевавшегося Лазаря. Микоян так же демонстративно встал со своего места и приблизился к Маленкову, что-то говоря ему на ухо. Маленков сосредоточенно кивал в ответ.

Сталин почувствовал, что ситуация ускользает из-под контроля. Похоже, что один Берия готов его поддержать, да и то не без задней мысли, конечно. Яростно покрывая все другие голоса, чувствуя, как что-то сдавило грудь и колет виски, Сталин прокричал:

— Лазарь, ты с этого момента — нэ человек. Понимаешь?.. Считай себя живым трупом... Да и остальные хороши... Как вы могли усомниться в моем решении?.. Это же предательство... Вы все за нэго заплатите...

Сталин ждал, что наступит пауза, что сейчас все начнут умолять его о прощении, но в ответ закричал Микоян, брызгая слюной и жестикулируя:

— Угрозы бесполезны и бессмысленны!.. Если через полчаса мы не выйдем из этой комнаты, армия займет Кремль. Хватит тиранствовать!.. Мы не позволим издеваться ни над нами, ни над страной...

Вот оно как! — ужаснулся Сталин. — Если Микоян говорит об армии, значит был заговор. Тот самый бонапартистский заговор, призрак которого Сталин искоренял всю жизнь, убивая Тухачевского и ссылая Жукова, пронизывая военную среду чекистской агентурой и политработниками. — Что ж, если грозят армией, то остается один противовес: госбезопасность!.. — И Сталин взглянул на Берию, взглянул и ужаснулся еще больше. Лицо Лаврентия, с поджатыми губами, — бесцветнее, чем обычно, — казалось маской презрительного торжества.

— Х о з я и н, — внушительно сказал он, — Анастас на ветер слова не бросает. Если придут военные, то чекисты будут вместе с ними — не против них...

Дыхание Сталина сделалось прерывистым. Красные пятна пошли по лицу еще сильнее. Он хотел было крикнуть что-то, протянул руку, но вдруг пошатнулся и рухнул на пол. Все застыли на миг, и в наступившей тишине, не веря своим глазам и не имея уже возможности скрыть ликование, рвущееся из него, Берия воскликнул: "Тиран умер, мы — свободны!" Он подскочил к лежащему на ковре Сталину, стремясь запомнить и неподвижность этого тела, и накатившую на сталинское лицо бледность смертную — всё, до мельчайшей детали. Да, он умер, и почти без его — Берии — по-

моши, умер очень кстати! Сейчас, среди общего замешательства, можно будет объявить экстренные меры обеспечения порядка и под этой маркой прибрать к рукам всю полноту власти...

— Он не умер еще, — мрачно сказал Микоян. — Он жив.

В самом деле, Сталин открыл глаза и приподнял голову. — Лаврентий, ты... — угрожающе проговорил он и начал медленно приподниматься, опираясь на локоть. Теперь ужас охватил Берия. Слишком поторопился он со своей радостью. А вдруг остальные, в припадке какой-нибудь общей слабости, склонятся перед больным вождем, что будет тогда с ним — Берией? И он опустился на колени перед Сталиным, сжимая его руку и снова опуская его на ковер. — Х о з я и н, прости меня, — начал шептать он. — Я с тобой. Я помогу тебе. Сейчас... вот только нужно позвать за доктором... — И тут Берия увидел, что голова Сталина вновь беспомощно мотнулась в сторону. Глаза снова закрылись. Теперь — только не паниковать! Выход один — закруглить это дело как можно скорее...

— Товарищи, — сказал Берия, обращаясь ко всем в комнате. — Вы видите, что со Сталиным удар. Полагаю: самое лучшее — закончить наше совещание и разъехаться по домам. Я позабочусь об оказании медицинской помощи немедленно, а затем Сталина отправим на дачу. Вне зависимости от исхода его болезни, предлагаю, чтобы товарищи Маленков, Булганин и Хрущев, вместе со мной, обеспечили контроль над лечением Сталина. Согласны?..

Конечно, никакого голосования не было. Несколько человек кивнуло в ответ, и все потянулись к дверям. Когда комната опустела, Берия подошел к телефону и, глядя в сторону распростертого тела Сталина, поднял трубку. Услышав голос Лукомского, он бросил ключевое слово:

— "Моцарт!"

\* \* \*

Рыдала музыка репродукторов; рыдали миллионы людей, оплакивая смерть мнимого Бога. Уже добавили новую надпись над ленинским мавзолеем; произнесли положенные речи на похоронном митинге и очистили Москву от следов кровавой давки на улицах. Для Берии оставалось *подчистить* еще пару деталей, связанных с Лукомским. Он колебался насчет окончательного решения. Проявить ли великодушие и оставить профессора на воле, полагаясь на его умение молчать? Или всё же действовать наверняка, разыграв то, что про себя Берия назвал "рокировкой"? Заменить настоящего Лукомского опять его двойником, который ведь к смерти Сталина *действительно* не причастен?.. С этим вариантом, однако, произошли осложнения. Рафик Саркисов, доставивший двойника Лукомского в Москву, доложил, что "рокировка" практически невозможна. Двойник — то ли под влиянием пережитого в лагере, то ли еще по какой причине — впал в тихое помешательство: твердит, что он *подлинный* Лукомский, а не мнимый. Пришлось его пока что поместить в одну из психушек под

Москвой, а с настоящим профессором Берия решил действовать, "смотря по обстоятельствам".

Эти обстоятельства определились сами собой во время приватной встречи, которую организовал Берия у себя на Малой Никитской. Как и во время первых свиданий с Лукомским, Берия был обходителен и любезен. Подвыпивший профессор клялся в нежных чувствах к Лаврению Павловичу и в умении хранить доверенные ему секреты. Всё это почти убедило Берия в возможности оставить Лукомского на воле, когда тот — на беду свою — начал расспрашивать о таинственном человеке с седой прядью треугольником, который приметился ему в Давыдкове в день покушения на Сталина, а потом, как ни странно, сопровождал его по Кремлю, вплоть до момента, когда Лукомский вошел к Сталину *с тем самым шприцем*. Был ли этот человек участником параллельного заговора против Сталина? И хорошо ли знает Лаврентий Павлович о всех его действиях?.. — Берия лениво махнул рукой. — Бросьте, профессор, какой там еще "параллельный заговор"? С нас хватило и одного. — Он перевел разговор на тему о музыке, а про себя твердо решил: "Нет, всё же профессор чересчур любознателен. Тот, кто задает лишние вопросы, может в другом случае дать лишние ответы. Придется с этим покончить своевременно." Впрочем, он благородно сохранит Лукомскому жизнь. Но следы при этом будут запутаны так, что никто их не отыщет...

В тот же вечер, после того, как Лукомский вернулся от Берии, в его квартире раздался поздний звонок. Он открыл дверь, недоумевая. На пороге стояли несколько человек в штатском; среди них был тот самый — с белой прядью треугольником. Арест? — Да, это был арест, но отправили профессора не в тюрьму, а в психлечебницу под Москвой. Там его поместили в одну палату с его двойником, словно затем, чтобы каждый из них мог убедительней доказывать, кто же является настоящим Лукомским. Поскольку одновременно исчезли все врачи, входившие в медицинскую комиссию, которая делала заключение о смерти Сталина, никто ни о чем не спрашивал...

Лишь месяца два спустя Хрущев, помнивший Лукомского по личным встречам, задал Берии вопрос о его судьбе. — Лукомский? — переспросил Берия, как бы стараясь припомнить имя давно позабытого и малоизвестного человека. — Ах, да!.. Он, бедняга, не в своем уме оказался. Знаешь, Никита Сергеевич, вообразил себе, что Сталина убил какой-то человек с белой прядью волос треугольником. И всем твердил об этой истории, всюду искал этого человека. Хорошо, что у нас с тобой не так уж много осталось прядей волос, а то, глядишь, он и нас заподозрил бы на таком могучем основании... Представляешь себе?.. Пришлось отправить его подлечиться... Может быть, выздоровеет, кто знает?..

И Берия обменялся с Хрущевым улыбкой авгура.



*"Как матрешка в матрешке,  
Тайна в тайне сидит."*

*Е. Евтушенко*

Два пациента в подмосковной психлечебнице, неотличимо похожие друг на друга, давно стараются не разговаривать между собой. Обо всем уже сказано-пересказано, всё надоело-перенадоело. Условия содержания, в общем, неплохие: кормят досыта, книги дают; газеты — с опозданием, но всё же...

Из газет и узнал Лукомский о том, что "враг народа", "агент империализма" и "преступный бандит" Берия разоблачен, снят со своих постов и арестован. Но Лукомский, конечно, не мог знать деталей...

Не мог он знать, как...

*В последний момент, когда уже отвели Берия в комнату — рядом с той, где 26 июня 1953 года заседали Президиум ЦК и Совет министров, с тоской бесконечной вспомнилось Берии предсказание Будиани, что июнь-июль для него — роковые месяцы. И как он мог попасть в эту ловушку, расставленную Маленковым и Хрущевым?.. Ну, с Никитой дружбы никогда не было особенной, но Маленков!.. Георгий!.. Егор!.. Он же без помощи Берии сейчас не то что премьером — сапожником не смог бы устроиться. Неужели он не понимает, что, предав Берию, он и себя предаёт? Хрущева недооценили — он хитрее и серьезнее, чем думалось. Может быть, Маленков все-таки опомнится?..*

*И когда открылась дверь пустой, заранее подготовленной комнаты, где не было ничего, кроме письменного стола и двух стульев, и даже окна были закрыты плотными гардинами изнутри, Берия устремился навстречу вошедшим, ища глазами Маленкова, и понимая, что если не увидит его, то это уже немедленный конец. — Прямо на него шли Микоян, Хрущев и Жуков. Генерал Москаленко держался сбоку, а в дверях маячило еще несколько фигур в военной форме. Неужели сейчас убьют? Неужели ничего не придумать, и он — пережитивший Сталина — будет умерщвлен, как доверчивый простак в мышеловке?.. Господи, никогда не было так страшно!.. — А-а-а!.. — тонким визгом зашелся он, видя, что в руке у Хрущева поднимается пистолетное дуло — глазком в упор — на него!.. Но выстрелил не Хрущев; стрелял Москаленко — сбоку и в голову. Последняя вспышка света пронеслась в сознании, заплескали стены комнаты, силуэты людей, и вот уже всё покатилося огромной тенью, втянувшей его в свою воронку и проглотившей...*

Этого, конечно, не знал Лукомский, как не мог он знать, что Хрущев несколько раз собирался заняться его судьбой — благо, сославшись на историю с Лукомским, можно было увеличить список "преступлений Берии", но так как этот список и без того был внушителен, а тень Сталина трево-

жить не хотелось, то почел Никита Сергеевич за лучшее оставить профессора в его положении душевнобольного подмосковной психушки...

\* \* \*

Потянулись липко-медленные годы. Менялись врачи и пациенты, менялась политика: эра целинных земель заменилась эпохой космоса; Хрущева сменил Брежнев. В одну из самых обыденных ночей самой заурядной осени отошел в лучший мир двойник Лукомского. — Сердце!.. Впрочем, теперь уже сознание самого Лукомского пульсировало в том зыбком окоёме, сместившем понятия нормального и ненормального, что он уже и сам не понимал в точности, кто он — реальный или *нереальный* Лукомский? Да и какое это имело значение, если обречен он был на вычерк из жизни *пожизненный*! — Так сказать, "железная маска" без маски! За прикосновение к иным тайнам приходится расплачиваться тайной собственной гибели. Вот он и расплатился...

Не отогнать чувства припечатанной тоски ничем: ни пестрыми занавесочками на окнах, которые драпируют чугунные решетки на них же, ни чистой постельного белья, ни парой дежурных фикусов в углу палаты номер... "не шесть", конечно, однако по-чеховски тоскливой вполне. Предназначена эта палата для тихо помешанных — посему драк и скандалов здесь почти не бывает; сидят себе пациенты на койках — то роются по многу раз в своих тумбочках, то читают, то просто, бессмысленно уставясь в пространство, бормочут что-то свое, невнятное. Давно примелькался всем Лукомский: ни врачи, ни санитары, ни другие пациенты — никто уже не удивляется его рассказам. Мало ли что вообразит сумасшедший? Вообще же он — безвредный старичок, и хлопот с ним немного...

Психушка многих вбирает в себя, но редких выпускает. Таким "редачком" оказался молодой еще человек с рыжей бородой, которого звали Платон Федорович и которого (как только стало известно, что на воле он был философом) немедленно окрестили в палате "Аристотелем". Поначалу Лукомский его сторонился — был Платон Федорович для него, привыкшего всегда быть послушным винтиком, — каким-то слишком беспокойным существом, почти бунтарского склада. И двигался он вечно чересчур быстро, внося ненужную порывистость; и гимнастикой занимался с подчеркнутым усердием, тогда как Лукомскому лишний раз шевельнуть рукой — и то лень бывало. Весь он — "Аристотель" этот, казался очень уж угловатым, колючим. Особенно когда о политике рассуждать начинал. Непривычно резко и антисоветски яростно. Иногда такие тирады отмачивал, коих Лукомскому — в его далеком прошлом бытии — даже в лагере не доводилось слышать.

О Платоне Федоровиче было известно с его слов, что окончив Академию общественных наук при ЦК КПСС, написал он какой-то трактат, где клеймил сталинизм и требовал возврата к ленинским принципам. Патентованные мудрецы из ЦК немедленно осерчали, объявив его сумасшедшим.

Однако трактат успел разойтись по каналам какого-то — невероятного для Лукомского — "Самиздата", и Платон Федорович был уверен, что благодаря известности, которую он получил, его освободят. Так оно и произошло, хотя с годик пришлось ему поваляться на койке рядом с Лукомским и получить положенную долю укольчиков против "вяло текущей шизофрении".

За этот свой годик "психиатрический" Платон Федорович сумел-таки приручить недоверчивого соседа. Сперва таясь и озираясь, слотыкаясь и недоговаривая, потом — всё смелее, выкладывал Лукомский "Аристотелю" скорбную повесть разбитой жизни. И уже не страшно совсем звучали имена Сталина и Берии; уже не казались "жгучей тайною" — будучи выплеснутыми наружу — никакие, жуткие прежде, переплетения событий. Полегоньку начал "Аристотель" записывать рассказы Лукомского на маленьких листках блокнота; листы эти он потом передавал своим родственникам при свиданиях, которые ему полагались. Сколько и что он позаписывал — этого Лукомский не знал в точности, но облегчала его сознание мысль, что под пером рыжебородого "летописца поневоле" (как величал себя шутиливо "Аристотель") где-то и когда-нибудь воскреснет — из маленьких клочков бумаги — образ человека, которого бросало то на вершины судьбы, то под ее уступы, и которому утешением последним осталось теперь одно — поделиться, исповедаться... А там — будь что будет, поскольку впереди всё равно ничего уже не будет... Впереди — один конец...

## Э п и л о г.

Началом конца было заокеанское продолжение. Неисповедимы пути Господни — неисследуемы вполне самиздатовские пути... В один из позимнему зябких дней — весьма типичных для ранней весны в Торонто, на мой стол легла рукопись из Москвы. Я прочел "Иосифа и его небратьев" взახлеб, и судьба публикации могла решиться в тот же день, если б не приложенное письмо. В нем безымянный самиздатовский корреспондент, говоря о достоинствах повести, особенно подчеркивал ее строгую достоверность и документированность.

— Ну и ну, — подумал я не без раздражения. — И что за манера у наших самиздатчиков всегда форсировать голос? Ведь ясно, что повесть является художественным произведением, которое вполне может печататься как таковое. Зачем же приписывать ему дополнительные качества? Чтобы усилить эффект?.. Глупо!.. Одно из двух: либо эффект достигнут чисто литературными достоинствами, либо они не возникнут от наивных уверений в достоверности написанного. Как и многие в нашем отечественном Самиздате, автор письма ко мне хотел выглядеть значительней, чем был, и в результате лишь снижал впечатление о себе.

Поэтому я отложил рукопись (тем более, что — как мне казалось — ее нужно было местами доработать) и перешел, так сказать, к "текущим делам". Их обыденная "текучесть" была, однако, прервана телефонным звонком месяца четыре спустя.

Взволнованный мужской голос сообщил, что говорит советский турист, находящийся в Торонто. У него есть ко мне неотложное дело, связанное с рукописью, которая была прислана из Москвы. Он ограничен временем и соображениями насчет конфиденциальности нашей встречи. Поэтому он просит меня подъехать в русский ресторан "Бармалей", где он будет сидеть за крайним (слева от двери) столиком, с номером сегодняшней газеты "Торонто Стар" в руках. Желательно, чтобы я приехал как можно скорее. Знаю ли я адрес ресторана?

— О, конечно, я знал его. Расположенный на пересечении шумной магистралей Эгlington-стрит и одной из, по-сельски тихо-коттэджных "авеню", ресторан "Бармалей" остался, кажется, единственным из переживших взлеты и падения мелкого бизнеса, русских заведений. Их одно время плодилось множество, причем одни названия чего стоили! Был, конечно, неизменный "Садко", который и растворился в *подводном царстве* банкротства всего скорее. Мелькнул на горизонте ресторанчик "Илья Муромец", специализировавшийся на "русско-кавказских" шашлыках. Увы, хозяин "Муромца" не был даже *Алешей Поповичем* и канул вслед за "Садко". В расчете на скромную эрудицию канадцев в русской истории, громгласно возвестили о себе платными объявлениями в газетах рестораны "Доктор Живаго" и "Григорий Распутин". Ассоциации не помогли, и они *"самораспустились"*... Лично я знал одного дельца, совершившего вираж по маршруту "Харьков — Израиль — Канада", который собирался даже открыть ресторан под названием "Иосиф Сталин". Идея эта прожила не дольше того времени, когда ее изобретатель установил, что даже члены крохотной проалбански-сталинистской компартии Канады не могут ему гарантировать постоянного числа посетителей. Деляга подался в страховые агенты, и с тех пор одержим вопросом: не лучше ли было назвать проектируемый ресторан — "Адольф Гитлер"? Вот только как установить точное число неонацистов в Канаде?

Словом, штормы инфляции и всяческих неурядиц, с ней связанных, разбросали утлые челны ресторанного бизнеса под русскими названиями. Закрепился лишь "Бармалей", хозяином которого был средних лет одессит со странной фамилией — Людо. Поскольку же в России его некогда титуловали Ефим Давыдович, а в сокращении это дает инициалы Е.Д., то злоязычные завистники приплюсовали одно к одному ("Людо" и "Е.Д.") и получилось — "людоед". Так родился каламбур местных остряков о том, что "рестораном "Бармалей" владеет *людоед*". И до чего только не додумаются завистники!..

В обусловленное время я подъехал к ресторану и запарковал машину метрах в пятидесяти от его здания. Войдя вовнутрь, я сразу увидел дожи-

давшегося меня человека. Довольно молодой — лет тридцати с чем-то, шатен, одетый в купленные, по-видимому, уже здесь, джинсы и в новехонькую, тоже не советскую по яркости, куртку. Лицо — обычное, что называется, "без особых примет". Он представился мне как Сергей (большим я деликатно не интересовался). Я заказал бранди и закуску. Сергей сразу же перешел к делу.

— Вы получили рукопись "Иосифа и его небратьев"? — спросил он.

— Да, — ответил я. — Получил.

— Думаете ли вы ее печатать?

— В принципе — да. Но у меня есть сомнения.

— Какие?

— Видите ли, — сказал я. — Меня беспокоит, что в кругах Самиздата настаивают на документальности этой рукописи, тогда как именно вопрос о достоверности рассказанного в ней возникает прежде всего. Любому читателю видно, что повесть — всего лишь художественный вымысел. Конечно, в ней есть фактическая подоснова, но она никак не доказывается. Если бы повесть относилась к временам Владимира Мономаха или Ивана Грозного, никто б не стал волноваться из-за достоверности сказанного или "подуманного" только, этими персонажами. Но в случае со Сталиным и Берией — другое дело. В повести есть и то, что называют "потокосознания", и прочие чисто художественные приемы. Согласитесь, что автор не мог знать, *на основе документов*, о чем "*думали*" Сталин и Берия, оставаясь наедине с собой. Версия о роли Лукомского остроумна, однако тоже не доказана фактами. Такое могло быть, а могло и не быть... Словом, я предпочел бы иметь дело с рукописью, зная, что это просто *художественный вымысел*, нежели с версией о ее "документальности", в которую я не верю.

— Значит, если б вы убедились в документальности ее, вы могли бы напечатать повесть? — спросил Сергей.

— Конечно. Она нуждается в некоторой правке, но вполне приемлема.

Сергей нагнулся к лежащему на стуле рядом с ним портфелю. Он извлек из него толстую папку и протянул мне. Я открыл ее.

Да, похоже, что это меняет дело. Пролистывая страницы отпечатанной на машинке рукописи, я убедился, что передо мной, если и мистификация, то мастерски сделанная. Версия о Лукомском была подкреплена фотокопиями нескольких документов с грифом "секретно", каждый эпизод повести объяснялся почти с математической точностью: цитаты и ссылки на воспоминания самиздатовских авторов, на архивные материалы и "внутренние" публикации КГБ, умелый анализ официальных бумаг (по принципу "чтения между строк") — всё это выстраивалось в стройную логическую цепь. Конечно, это не могло снять "элемента художественности" в повести — иначе она не была бы таковой, но всё же...

— Вы оставите мне эту папку? — спросил я Сергея.

— Да, — ответил он. — Только при одном условии...

Он не договорил, поскольку официант, подошедший к нашему столику, сказал, что меня срочно просят к телефону. — Наверное, что-нибудь дома случилось, — подумал я. — Не иначе...

Однако то, что я услышал по телефону, было абсолютным сюрпризом. — С вами говорит полицейский сержант... — сказал мне голос по-английски. — В связи с инцидентом, который произошел с вашим автомобилем, прошу вас немедленно подойти к месту его стоянки...

Я повесил трубку, извинился перед Сергеем и выбежал на улицу. В дверях ресторана я почти столкнулся с двумя молодцеватыми парнями спортивного склада, чему я в тот момент не придавал никакого значения, тем более, что парни вежливо посторонились. Я подбежал к своей машине, стоявшей, как ни в чем ни бывало, на том месте, где я ее запарковал. Она была абсолютно целехонька. Что за чертовщина? И где же полиция?.. — На залитой солнечным светом площадке паркинга не было, кроме меня, ни души — только в крайнем углу, возле выезда на Эглинтон-стрит, копотился, подняв капот старенького "шевроле", какой-то мужчина в ковбойской шляпе. Приблизившись к нему, я спросил:

— Извините меня, сэр, но вы не видели здесь полицейских?

— Какого дьявола мне бы их видеть? — отозвался он, не поднимая головы. — Очень сомнительное удовольствие...

Я понял, что имею дело не с поклонником блюстителей закона, и повторил свой вопрос уже иначе:

— Здесь только что произошел какой-то инцидент с машинами, не так ли?

Теперь он, наконец, поднял голову, оглядел меня, щурясь от солнца, пожевал губами и произнес традиционное "уэлл", как бы собираясь повесть мне целую историю.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — медленно процедил он и вытер бусинки пота, сползавшие из-под его ковбойской шляпы. — Никакого инцидента здесь не бывало, за исключением того, что барахлит мотор моей машины, и я уже целый час возжусь с ним...

Спрашивать дальше было бессмысленно. Очевидно, я стал жертвой какого-то дикого розыгрыша. Пробормотав извинения и недоумевая, я вернулся в ресторан. За столиком, где я оставил Сергея, никого не было. Папка с рукописью также исчезла.

Смутные подозрения шевельнулись во мне. Я подозвал официанта и спросил его, куда девался мой собеседник. Он пожал плечами.

— В точности не знаю. Я видел, как к нему подошли два каких-то парня, что-то сказали ему, а потом все трое ушли.

— И вы не заметили ничего странного? — настаивал я.

— Абсолютно ничего.

— Они разговаривали по-русски?

— Кажется, да. Но я не прислушивался. А что случилось?..

О, если б я знал в точности, *что же случилось!*.. Я понимал лишь, что

рукописи, которую принес Сергей, мне больше не видать, а самого меня провели нехитрым трюком. Однако сделать уже ничего нельзя. Позвонить в полицию? — Но что я мог сообщить о Сергее, который, возможно, и не был Сергеем? О всех моих подозрениях?.. Да и с какой стати будет канадская полиция вмешиваться в дела советских туристов?

Я расплатился и вышел на улицу. После ресторанного полумрака вновь ударило в глаза полуденное солнце. Одинокое облако над горизонтом казалось белком от сваренного вкрутую яйца, которое бросили на синее блюдо из глазури. Я сел в машину, и всю дорогу до своего дома пытался понять, на каком условии готов был "Сергей" оставить у меня привезенную рукопись. Разумеется, ни до чего определенного я не додумался. Это, в самом деле, — по Евтушенко — "как матрешка в матрешке, тайна в тайне сидит". И ведь кто его знает? — Может, в самом деле *сидит* до сего времени живой труп — бывший профессор Лукомский, в далекой подмосковной психушке? Может, действительно в его судьбе — разгадка к тайне сталинской смерти? Может?..

Впрочем, такие вопросы можно ставить до бесконечности. И так же до бесконечности надеяться на ответ, которого не последует. Пока тени *Иосифа и н е б р а т ь е в*, его *несыновей*, но духовных наследников, застилают нашу землю, немало неразгаданных загадок останется на людской памяти. Да и сколько их прибавится еще?..

И я решил опубликовать эту повесть.

К о н е ц

\* \* \*

Кто нас спасет от тягостных предчувствий,  
когда кругом убийственно-темно?  
Какое это счастье, что в искусстве  
забыться нам пока еще дано!

Все дальше, все тусклее, все неуместней  
тоска по мирной жизни на земле.  
И, кажется, не будь на свете песни,  
он просто захлебнулся бы во зле...

Нам каждый день вещают без волненья,  
что тихого нигде нет уголка.  
Но иногда, как чудо, стройность пеня  
доносит нам эфир издалека. —

И дух — в тот час материей не скован —  
рвет суеты опутавшую нить,  
чтоб на крылах мелодии и слова  
над черствым и ничтожным воспарить.

И снова верится, что есть под небом счастье,  
и атомный не ужасает век,  
раз все-таки прекрасному подвластен  
забывший о прекрасном человек!

\* \* \*

Всему — предел! Что можно уберечь  
от разрушенья и от угасанья?  
Но как мучительно, как нестерпимо жечь  
своей рукой свои воспоминанья!  
Все то, что собирала ты, любя,  
все то, что сохраняла ты ревниво,  
все то, чем долго сердце было живо,  
взять да отнять у самой себя?



Должно быть, утонченной пытки нет,  
когда глаза чуть видят — не от дыма —  
бросать в огонь единственный портрет,  
бросать в огонь дневник неповторимый.  
Следить беспомощно, как корчатся в огне  
какие-то заветные листочки,  
как, наливаясь кровью, дышат строчки  
и умирают, улыбаясь мне...

Стираются картины и слова —  
изменчива и ненадежна память.  
Но жизнь ушедшая была еще жива  
между чуть пожелтевшими листьями!  
Всему — предел! Бледней скупые дни.  
И потому перед последней гранью  
у любопытства, у непониманья  
я отыму сокровища мои...



## ПАСПОРТ ДЛЯ ВИКТОРА ЛУРЬЕ

### П а м ф л е т

Хлеба и зрелищ!

Всегда помните: кто спит, тот обедает, особенно если спит со сновидениями. (Лучшее средство — сто пятьдесят с прицепом).

Поэтому гигантская страна находится в состоянии непрерывной спячки.

И все-таки, американского хлеба не хватает. Выручают советские зрелища. Вчера по телевизору показывали медвежий цирк; сегодня показывают космонавтов.

\* \* \*

Ликующий народ. Флаги, транспоранты, много пьяных. В толпе с озабоченно-беспечным видом шныряют сотрудники КГБ. Пиджаки привычно застегнуты на все пуговицы. Зухтеры чем-то неуловимо напоминают огородные пугала, которых обкакали голодные вороны. Сытые — не решаются.

Папа, мама, нарядный ребенок. В руке у ребенка шарик с надписью "Слава КПСС!" Шарик с треском лопается, ребенок плачет.

Жена мужу:

— Сам виноват! Слишком раздул резину.

Муж легкомысленно:

— Пустяки! Такого добра хватает!

Вынимает из кармана сморщенный комок и начинает надувать новый шарик. Возникает надпись: "Вперед к коммунизму!"

Одна кумушка делится с другой:

— Вчера давали министерскую селедку — жирная и без головы.

— С ума сойти!

Сосредоточенный, собранный карманник упорно пасет клиента — де-ревенщину в соломенной шляпе. Элегантно принимает бумажник, передает пропуть папарнику.

Два сексота с протокольными физиономиями переглядываются:

— Это не по нашему ведомству.

— И куда только милиция смотрит? Дармоеды!

В толпе околачивается — руки в брюки — молодой человек с унылым еврейским носом. Он без конца потеет и часто вытирает лоб рукавом.

Толпа в состоянии эрекции. Сейчас... Сейчас наступит оргазм.

— Едут!!!

Толпа всколыхнулась, качнулась и застыла.

Так от брошенного камня на мгновение вздрагивает стоячее болото.

— Едут!!!

У ребенка лопается второй шарик с надписью "Вперед к коммунизму". Но сейчас на это никто не обращает внимания. Нынче не до него. Не до ребенка, не до шарика, не до коммунизма.

— Едут!!!

Обвитая гирляндами живых цветов медленно проезжает открытая машина. В ней, улыбаясь, стоит космонавт — молодой и счастливый. Сегодняя его день, и он это знает.

Вдруг, наперерез машине бросается запрограммированная пионерка с букетом цветов. Машина останавливается. Космонавт протягивает к девочке руки, поднимает ее... И тогда молодой человек с унылым еврейским носом...

### СООБЩЕНИЕ ТАСС:

Вчера, 2 апреля, ликующая страна встречала своего героя — покорителя космоса. Ученица 138 московской школы, отличница Катя Назарова в порыве вдохновения бросилась к космонавту, чтобы вручить ему цветы. Космонавт поднял ребенка на руки. Этим воспользовался убийца. Шестью выстрелами в упор он убил космонавта и ребенка. Убийца задержан. При нем обнаружено удостоверение личности на имя Давида Иосифовича Финкельштейна.

### В Комитете Государственной Безопасности при Совете Министров СССР.

Задержанный, Финкельштейн Давид Иосифович, признал на допросе, что является членом сионистской террористической организации "Лига защиты евреев". Он заявил также, что совершил преступление с целью обратить внимание мировой общественности на бедственное положение евреев в СССР.

Следствие продолжается.

### ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ "ПРАВДА".

Неслыханное злодеяние. Весь мир потрясло известие о новом чудовищном преступлении сионистов. Гнев и возмущение охватили все прогрессивное человечество. Нет и не может быть пощады кровавому выродку.

На кого же поднял руку сионистский убийца, поощряемый троцкистами, ревизионистами и преступной кликой Мао?

На гордость советского народа, на его будущее. Жертвой бандитской акции пал 28-летний покоритель космоса Николай Сергеевич Глинобитов, отец двоих детей, и 10-летняя пионерка-отличница Катя Назарова, единственная дочь родителей.

Труженики колхоза "Светлый прибор" взяли шефство над семьей погибшего космонавта и поклялись над гробом героя увеличить поголовье скота на 18%.

Коллектив завода "Запасной двигатель" взял шефство над родителями Кати Назаровой и дал торжественное обязательство досрочно перевыполнить прошлогодний план и начать работать в счет будущего.

В ответ на происки сионистов-империалистов вся страна встала на трудовую вахту.

Слава героям!!!

Смерть убийце!!!

## ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ, ВЫПУСК №..

Во всех городах страны прошли массовые обыски и аресты.

В Кишеневе арестован инженер Гуревич А.Б. только за то, что, заполняя графу "национальность", написал еврей с большой буквы.

В Киеве получил 10 лет лагерей строгого режима врач Рабинович за "нанесение тяжелых увечий несовершеннолетним". По просьбе родителей он подпольно делал обрезание.

В Москве был задержан и подвергнут допросу находящийся в командировке одессит Корниенко Р.З. После того, как Корниенко доказал свою полную непричастность к еврейству, он был избит работниками милиции за украинский шовинизм и выпущен на поруки.

Примечание: Гражданин Савин Л.Д., у которого обнаружена вышеозначенная "Хроника", ограничился семью годами лагерей общего режима.

\* \* \*

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

Лежащий поперек тротуара субъект проснулся.

— Ночь на дворе, а никто не подобрал. Куда дружинники смотрят? У-у-у-у, жида проклятые!

\* \* \*

Разговор в кафе двух интеллектуалов.

— Вы знаете, каждый третий человек на земле — китаец. И почему-то их нигде не видно. А евреи — на каждом шагу. Плюнь — и обязательно попадешь в еврея.

— Иногда создается впечатление, что евреи размножаются, как микробы: делением на два. Представляете — идет еврей. Щелчек — и уже идут два еврея.

\* \* \*

Разговор в трамвае домохозяек.

— Сегодня возле милиции висит новое объявление: пропал ребенок, мальчик 8 лет. Вышел погулять — и не вернулся. Теперь я своего Вовоч-

ку отвожу в школу и привожу домой.

— Я не улавливаю связи.

— Меня поражает ваша наивность! Скоро еврейская пасха. Они же пекут мацу.

— А-а-а! А мой Васенька побежал во двор поигратъся.

— Может доигратъся!

— Кошмар! — и домохозяйка начинает бешено проталкиваться к выходу.

Наш старый знакомый — карманник, ловко потрошит ее сумку.

Всё это с невозмутимым видом наблюдает молодцеватый сержант милиции. Карманник выходит через заднюю площадку, сержант — за ним. Вор делает безнадежную попытку увильнуть от расплаты. Сержант ласково берет его под руку:

— Моя доля?

Оба скрываются в парадном. Вор вынимает из кармана украденное портмоне, открывает. Внутри — измятый рубль, немного мелочи.

Сержант:

— Дурак! Ты бы жидов щупал, у них денег много.

И с размаха бьет неудачника по лицу. Передумав, возвращается. Высыпает из кошелька на ладонь скудный улов.

— К жидам, говорю, присматривайся!

\* \* \*

Кабинет средних размеров руководителя средней ответственности.

Их, сидящих в кабинете, разделяет письменный стол и невидимый барьер, по обе стороны которого часто стоят не только враги, но и друзья. Так и теперь.

— Гриша, ты знаешь меня 30 лет, мы прошли фронт.

— Нас объединяла общая цель. Тогда.

— Гриша, пойми! Теперь, как и тогда, я бы взял тебя с собой в разведку, но я не могу взять тебя на работу. Недавно меня вызывали в райком, и я получил нагоняй за неправильную расстановку кадров. Ты меня понимаешь? Нет, письменных инструкций нету... устно.

— Я тебя не понимаю.

— Но понять — значит простить.

— Я могу простить, но не могу забыть...

\* \* \*

— Лейтенант Назаров, вам присваивается внеочередное звание капитана.

— Служу Советскому Союзу!

— Садитесь, капитан, у нас неофициальная беседа.

— Благодарю, Юрий Васильевич.

— Мне трудно вести разговор: я ведь тоже отец. Но прежде всего, мы — советские люди. Простите, я касаюсь самого святого, я притраги-

ваюсь к вашей боли... Вы позволите?

— Юрий Васильевич!..

— Капитан Назаров. Впрочем, разрешите мне называть вас... нет, *тебя* просто Николаем?

— Конечно, Юрий Васильевич!

— Коля, ты сознательно принес в жертву самое близкое — жизнь своей единственной дочери Кати. Родине нужна была твоя жертва, и Родина приняла ее. Так надо было. Как жена? Не догадывается?

— Она в очень тяжелом состоянии. Нет, не знает.

— Правильно. Зачем травмировать Лидию Ивановну? Вы еще так молоды, у вас еще будут дети... Пусть Лида отдохнет, успокоится. Пошлем на курорт, создадим условия, но ты пока останешься здесь, на боевом посту. Так требует Партия. Сможешь? Выдержишь?

Капитан Назаров встал, вытянулся по стойке "смирно": пятки вместе, носки — врозь:

— Служу Советскому Союзу!

Юрий Васильевич посмотрел на него тепло и доброжелательно:

— Иного я и не ожидал, капитан Назаров!

А сейчас — основное. Убийца космонавта и вашей дочери, Финкельштейн Давид Иосифович, как известно, задержан...

— Гаденыш!

— Спокойно. Убийца, повторяю, задержан и следствие поручается вам.

— Задавить бы его без всякого следствия!

— Не торопитесь, капитан. Вы знали, что готовится покушение?

— Меня поставили в известность. Знал, конечно.

— Но вы не знали главного: Финкельштейн — это наш человек...

\* \* \*

— Послушайте, Роберт, мы дружны уже более полугода, а я до сих пор не сумел выяснить: от какой именно партии ваша газета получает субсидию?

— И не сумеете. Наша газета именно потому и независима от какой-либо партии, что получает субсидии сразу от всех.

— Включая и коммунистическую?

— К великому сожалению, нет.

— Вы сожалеете?

— Конечно! Тогда бы я получал вторую зарплату. Из Москвы.

— Мне всегда импонировал ваш цинизм.

— А мне — ваша оперативность. Я прочитал вашу корреспонденцию. Вы уверены, что все это фальшивка?

— Безусловно! Никакого Финкельштейна в природе не существует. Могу предсказать дальнейший ход событий. Закрытый процесс. Иностранцы корреспонденты, естественно, не допущены. Мифический обвиняемый, естественно, во всем сознался. Приговор приведен в исполнение. Точка.

— Грубая работа! Жалкая попытка вызвать волну антисемитских настроений.

— А возможно, и погромов.

— Возможно. Я уже телеграфировал в свою газету. Но на этот раз КГБ крепко просчитался. Куда они денутся, когда мировая печать поднимет шумиху: "Где обвиняемый?" "Покажите Финкельштейна!"

— Не завидую им. В наше время общественное мнение — великая сила. С ним шутить не рекомендуется...

Этот разговор вели между собой два журналиста, одиноко сидевших на скамейке Тверского бульвара. Был холодный весенний вечер, и бульвар был безлюден.

Через два часа магнитофонная пленка с записью их разговора прокручивалась на столе Юрия Васильевича. Прослушав запись, он довольно прищурился:

— Не смею спорить, господа! В наше время общественное мнение — действительно великая сила. Ах, да! Вам желательно видеть обвиняемого?

Юрий Васильевич нажимает кнопку звонка:

— Пригласите Финкельштейна.

И в комнату входит молодой человек с унылым еврейским носом. Держится если не развязно, то, по крайней мере, свободно. Сразу заметно: здесь он не впервые. Без приглашения садится, закуривает. Юрий Васильевич, прищуриваясь, наблюдает за его манипуляциями. Говорит, без намека на улыбку:

— Я рад, Давид Иосифович, что вы у нас освоились.

Финкельштейн лишен не только чести, но даже национального чувства юмора:

— Что за вопрос? Кормят, как в ресторане!

— И отлично. Еще раз напомню: вы были мелким фарцовщиком, мы даем вам возможность сделаться крупным коммерсантом. Вот чек на 150.000 долларов и бразильский паспорт на имя Виктора Лурье. Остается только наклеить фотокарточку и поставить печать. Возьмите.

Унылый нос хватает сокровище мгновенно взмокшими руками.

— А когда... когда...

Юрий Васильевич белоснежным платком протирает стекла очков без оправы. Безоружными, глаза его кажутся совсем беспомощными и кроткими.

— Как договорились: после окончания спектакля. Но спектакль должен пройти гладко. Без суфлера. Поэтому отрепетируйте роль с капитаном Назаровым. Кстати, это отец убитой вами девочки...

\* \* \*

Финкельштейн выходит. Из боковой двери в кабинет входит Назаров. Юрий Васильевич жестом приглашает его сесть. Брезгливо покосившись

на кресло, где только что сидел Финкельштейн, садится в противоположное.

Юрий Васильевич понимает все без слов: он человек наблюдательный и отнюдь не глупый.

— Я разделяю ваши чувства. Действительно, противно.

Некоторое время оба молчат. Наконец, Юрий Васильевич решает — пора.

— Теперь вы сами могли убедиться — для них нет ничего святого... кроме денег.

Назаров угрюмо кивает. Юрий Васильевич неожиданно меняет тему разговора.

— Вы когда-нибудь интересовались историей еврейского народа?

— Нет...

— Я — интересовался. Это не народ — это преступная организация, связанная круговой порукой. Эти люди не хотят сеять хлеб, они хотят сеять только смуту. Они всегда недовольны. Еще не было заговора, бунта, в котором они бы ни принимали самого активного участия. Они бесцеремонно лезут в чужие дела, как в постель к собственной Хайке! Даже в чисто национальное, заметьте, движение декабристов и то затесался один жидок — некий Григорий Абрамович Перетц. К слову, с сионистскими задатками. Видимо, это он придумал пароль для декабристов и, знаете, какой? — "Херут". Это по-еврейски значит "Свобода". Да, да, да. Задолго до ихнего Герцля. Предтеча.

— Для меня это новость.

— Они — гнойник на теле любого государства. Как видите, я говорю с вами совершенно откровенно...

— Я оправдаю доверие!

— Сегодня методы Гитлера устарели. Покойник не был равнодушен к фейерверкам. Мы же выроем могилу, но... тихой сапой. Однако мы вынуждены пока, временно, конечно, считаться с так называемым мировым общественным мнением. Оно, кстати, также создается и направляется американским жидовством. А мы не можем обойтись без американского хлеба. Пока. Временно, конечно. Потом — посмотрим. А теперь вы понимаете всю ответственность задачи, которую возложила на вас Партия, капитан Назаров?

Назаров встал, вытянулся.

— Служу Советскому Союзу!

\* \* \*

Москва. Первая программа телевидения. Выступление народного артиста СССР Натана Глейзермана.

Однако прославленный дирижер выступает не с симфоническим оркестром, а с заявлением.

На экране телевизора — величественный старик. В нем все артистично: седая грива волос, лицо аскета, нервные пальцы. Он волнуется боль-



ше, чем, наверно, перед самой ответственной премьерой.

— У меня нет слов, чтобы выразить свое презрение подонку и выродку Финкельштейну. Мне глубоко чужд сионизм, мне отвратительны методы, которыми пользуются сионисты для достижения своих гнусных целей.

— Я — еврей, но никогда не чувствовал себя евреем. В братской семье народов мы — граждане еврейской национальности...

Передача транслируется по всему Советскому Союзу.

У телевизора пожилая чета пенсионного возраста.

Он ей:

— Отмежевывается...

Преуспевающая интеллигентная семья: мать, отец, девочка-подросток.

Мать резко выключает телевизор, пристально смотрит на мужа.

Он решает:

— Верочка, нам нужно серьезно поговорить. Ты уже взрослый человек — поймешь. Нет нужды доказывать, что я не антисемит. Я — культурный человек и выше, понимаешь, выше национальных предрассудков. Но еще древние говорили: глас народа — глас божий. Я могу не прислушиваться к божьему гласу, но я не имею морального права не прислушиваться к голосу моего народа...

Жена:

— Леонид, ты, как всегда, утомительно многословен.

Муж:

— Короче говоря, ты должна прекратить дружбу с Борей. Может быть, он еще не успел испортиться, может быть, он еще хороший мальчик...

— Леонид, ты опять многословен. Раз и навсегда: если этот еврей еще раз придет к нам в дом, я его выставлю за дверь!

Многочисленная еврейская семья.

Бабушка — ни к кому в отдельности:

— Будут погромы...

Крестьянская семья.

Глава семьи долго соображает, затем злобно грохает кулаком о стол:

— Мы тут, значит, на колхоз трудимся, а они, значит, там...

Рабочая семья.

Жена истопленно кричит:

— Бесстыжая морда! Хулиган! Пусть хоть это тебя чему-нибудь научит. Жиды людей убивают, а ты все водку трескаешь!

В Комитете Государственной Безопасности  
при Совете Министров СССР.

Следствие по делу диверсанта-сиониста Финкельштейна Давида Иосифовича закончилось. Обвиняемый полностью признал себя виновным. Он

признал также, что действовал по прямому указанию израильской разведки.

Скоро обвиняемый предстанет перед открытым судом.

Последняя фраза сообщения КГБ произвела впечатление взрыва в птичнике.

Подобной сенсации мир не помнил давно. Газеты земного шара отводили предстоящему процессу целые полосы. Радиоприемники от усталости бормотали хриплыми голосами. От напряжения лопались трубки телевизоров.

Известный парижский аферист Финкельштейн собрал в пользу своего мнимого брата 25.000 франков и скрылся в неизвестном направлении.

Давно выжидавшие подходящего случая тель-авивские газеты повысили цену номера и взвинтили тираж.

В Харькове начали срочно запасаться водой и спичками, а в Киеве незамедлительно отключили телефоны у всех Финкельштейнов.

Джим Паркер отменил свою встречу с Фредом Стейком на первенство мира по боксу в тяжелом весе среди профессионалов. День матча совпал с днем открытия процесса, и мастера ринга не без основания опасались сокрушительного нокаута со стороны Финкельштейна.

И только советская пресса отделалась короткой информацией: дело было обтяпано без ее участия. В плановом государстве все шло по плану. (Пятилетний план — не в счет.)

И, действительно, сценарий был залитован и сам спектакль тщательно отрепетирован в драматической студии КГБ.

Автор постановки — Юрий Васильевич из вполне понятной скромности не явился на премьеру: он следил (виноват! наблюдал) за действием по телевизору.

Зал полон. Представители советской общественности. И — главное! — сидят не оловянные солдатики. На сей раз приглашение получили действительно уважаемые и известные люди. Это заметно хотя бы по нестандартным лицам. Широко представлена советская и зарубежная печать, в наличии представители радио, телевидения, кинохроники.

Обвиняемый, предварительно хлебнув для бодрости коньячка, держит себя развязно и вызывающе. Явно нарывается на скандал. Даже на тех, кто симпатизирует Израилю, еврейству вообще, поведение его производит тягостное впечатление.

*Вопрос:* Обвиняемый, вы признаете себя виновным?

*Ответ:* Признаю. Я виноват в любви к многострадальному еврейскому народу.

*Вопрос:* И любовь к многострадальному еврейскому народу толкнула вас на убийство ни в чем не повинных людей?

*Ответ:* Разве это люди? Это — гои.

*Вопрос:* Значит, для вас всякий нееврей — не человек?

*Ответ:* Почти человек...

(В зале ропот возмущения. Чей-то крик: "Провокатор!". Кого-то тихо выводят. Фарс продолжается).

*Вопрос:* Расскажите, как вас завербовала израильская разведка?

*Ответ:* Меня не нужно было вербовать. Мы нашли и поняли друг друга.

*Вопрос:* Для чего вы совершили это кошмарное преступление?

*Ответ:* Уже отвечал. Могу повторить: я хотел обратить внимание мирового еврейства на трагическое положение их братьев в Советском Союзе.

*Вопрос:* Раскаиваетесь ли вы в содеянном?

*Ответ:* Раскаиваюсь? Я только жалею, что убил слишком мало. Но — погодите! Это цветочки. Вы еще почувствуете силу наших ударов. Еврейское возмездие вас будет ожидать за каждым углом!

*Вопрос:* Ваше последнее слово?

(Юрий Васильевич приподнимается в кресле: Ну! Молодец, еврейчик, точно сработал! Не подвел.)

И вправду: Финкельштейн встал и, сжимая в кармане бразильский паспорт — остается только наклеить фотокарточку и поставить печать! — на имя Виктора Лурье со вложенным в него чеком на 150.000 долларов, твердо-твердо — сколько пришлось зубрить! — чеканя каждый слог, произнес:

— Шма, Исраэль, адонай алегейну!

В сопровождении своего нового друга капитана Назарова, Финкельштейн, посвистывая, шел по коридору. Он шел слегка танцующей походкой: на душе его было легко и радостно.

— Значит, прямо на аэродром? — беспечно спросил он.

Капитан задохнулся от ярости:

— Сначала налево, жидюга!

И выстрелил ему в затылок.

— Капитан Назаров, вам присваивается внеочередное звание майора.

— Служу Советскому Союзу!

Они сидели друг против друга почти на равных — Юрий Васильевич и новоиспеченный майор. На низеньком столике в чашечках дымился черный кофе, откупорена бутылка армянского коньяка. Мир, благоденствие, приятная усталость. Так чувствуют себя к вечеру труженики, честно заработавшие свой хлеб...

Юрий Васильевич дружески положил руку на колено Назарову:

— Со своей задачей вы справились блестяще. Теперь вам с супругой необходимо хорошенько отдохнуть. Крым, Кавказ, Рижское взморье. Набраться новых сил. Впереди вас ждут большие дела!

Нагруженный праздничными подарками, майор Назаров спешит домой. Он горд от сознания выполненного долга. Он с честью выполнил звание родной Партии. Еще одно осиное гнездо обезврежено. Правда — Катя, Катенька, Катьоша... Что ж, борьба не обходится без жертв. И — кажется, кажется... У них будет ребенок... Его ждет иная судьба. Счастливая.

Когда майор Назаров уже подходит к своему дому, его сбивает тяжелый грузовик и скрывается на большой скорости.

Рассыпаются праздничные покупки. По мостовой катится золотой апельсин.

\* \* \*

Иностранные агентства передают.

ПОГРОМНЫЕ НАСТРОЕНИЯ В СССР.

Львов. Среди бела дня группа хулиганов избила на улице еврея Блюмкина. По дороге в больницу он скончался. По сообщениям советских властей Блюмкин умер от сердечного приступа.

Ленинград. На дверях квартир некоторых видных представителей науки, литературы, искусства — евреев по национальности — неизвестные лица нарисовали свастики.

Киев. Здесь была совершена попытка поджечь синагогу.

Иркутск. Отряд дружинников ворвался на квартиру еврея Мошковица, где происходила свадьба. Исполнялся еврейский танец "Фрейлекс", звуки которого были слышны на улице. Все присутствующие получили по 15 суток за мелкое хулиганство.

Москва. В парке культуры им. Максима Горького еврея Файнбергу неизвестные набросили на голову мешок и насильственно сделали обрезание. Никто из присутствующих не вмешался. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

\* \* \*

— Натан Григорьевич, я хочу, чтобы наша беседа была доверительной и откровенной.

— Слушаю вас.

Они в кабинете вдвоем: Юрий Васильевич и дирижер симфонического оркестра Натан Григорьевич Глейзерман.

По странному стечению обстоятельств Натан Григорьевич сидит в том же кресле, где еще совсем недавно сидел лейтенант, капитан, а затем и майор Назаров, трагически погибший в результате несчастного случая.

— Натан Григорьевич, вы — человек искусства, вы столько сделали для советской культуры.

— Право же, вы преувеличиваете.

— Нет, нет. Это не комплимент. Я говорю только то, что думаю... Ваш авторитет огромен, ваше выступление по телевидению произвело на всех неизгладимое впечатление. Ваше решительное осуждение...

— Бандит — всегда бандит, вне зависимости от национальности...

— Вот именно. И ваши слова...

— Поверьте, они искренни. Я всю жизнь отдал музыке и, действительно, никогда не чувствовал своей национальности, но...

— Но?

— Но сейчас, кажется, я начинаю ее чувствовать...

— Это прекрасно! Иначе я и не мыслил себе. Я — интернационалист, но я — русский интернационалист. Вы — еврейский интернационалист. Не так ли?

— Я как-то до сих пор не задумывался об этом. Я жил только музыкой.

— Настало время задуматься. Поступок одного бандита ставит под угрозу существование всего народа. Великого народа! Народа, который дал миру Маркса.

— Я не вполне вас понимаю.

— Мы взрослые люди и должны отдавать себе отчет в происходящем. Необдуманный поступок одного еврея восстановил толпу против всех.

— Это не совсем так. Мои родные пережили кишиневский погром. Не все, правда...

— Но что же делать? Что? Посоветуйте, Натан Григорьевич.

— Я думаю, что, может быть, показательный суд над одним антисемитом и широкое освещение в печати...

— Ни в коем случае! Это еще больше озлобит массы. Мы не можем поставить милиционера возле каждого еврея. Но, кажется, есть выход.

— Что же вы предлагаете?

— Мы не можем охранять каждого еврея в отдельности, но есть возможность оградить их всех сразу. Натан Григорьевич, ваше имя, ваш авторитет могли бы сделать многое...

В кабинете наступает тишина. Кажется, Натан Григорьевич начинает понимать, но еще хочет на что-то надеяться. И тихо повторяет:

— Что же вы предлагаете?

Юрий Васильевич чуть улыбнулся. Или — пошевелил губами?

— Я предлагаю вам призвать евреев добровольно переселиться в Биробиджан. Там, когда они будут вместе, мы сможем гарантировать им безопасность. Кстати, помещения уже подготовлены.

— Гетто?

— Зачем же так примитивно? Автономная область.

— Я спрашиваю — гетто?

— Натан Григорьевич, вы забываетесь!

— И вы хотите использовать меня в качестве подсадной утки?

И тогда Юрий Васильевич и вовсе перестал церемониться. Жестко диктует:

— Слушайте меня внимательно, Глейзерман! Я не понимаю ваших колебаний. Поздно. Пользуясь вашей же терминологией, вас уже использовали в качестве подсадной утки. Своим выступлением вы безнадежно скомпрометировали себя в глазах еврейства. Туда вам хода нет. Но что же? Лично вы останетесь в Москве. Обещаю. Первый шаг вы уже сделали. Остается сделать второй шаг. Ну! Смелее!

— Я его сделаю.

И неожиданно легко отбросив Юрия Васильевича, птицей бросается в окно.

### НЕКРОЛОГ.

Советская культура понесла тяжелую утрату.

В расцвете творческих сил скоропостижно скончался выдающийся дирижер, Лауреат Ленинской и Государственной премии, Народный Артист СССР, профессор Натан Григорьевич Глейзерман.

Реакция узника Сиона Ройтмана:

-- Туда ему и дорога. Старый холуй!

\* \* \*

Не успел Ефим Ильич Глузман подать документы в ОВИР на выезд в Израиль, как его повесточкой пригласили явиться... В сердце радостно ёкнуло предчувствие: неужели? Некоторые месяцами добиваются... Вдруг разрешение? Вдруг?

А Ефим Ильич очень торопился в Израиль. У него были веские основания поторапливаться. Ну, а если отказ? Ефиму Ильичу стало страшно. Что угодно, только не это...

Произошло худшее.

Прилично одетый, средних лет человек с незначительной внешностью предложил ему сесть и не спеша принялся перелистывать тощую папочку с его личным делом.

— Собираетесь в Израиль?

— Да.

— Цель поездки?

— Хочу жить на своей исторической родине.

Прилично одетая личность закрыла папочку.

— Лжете, Глузман. Не хотите.

Ефим Ильич забеспокоился.

— То есть, как не хочу, когда именно хочу! Я, знаете ли, старый сионист.

— И опять лжете. Вы не старый сионист. Вы — старый жулик.

— Я?

— И если бы на фабрике, где вы работали, не началась бы ревизия и вами не заинтересовалось ОБХСС, вы сидели бы и не рыпались.

Ефим Ильич, подавленный, молчал. А личность равномерно продолжала:

— Сидели бы и не рыпались. И знаете — почему?

— Почему? — ошеломленно спросил Ефим Ильич.

— В Израиле бы вы столько не накрали. Не удалось бы. А теперь вы хотите сбежать, прихватив награбленное.

Человек за столом показал на лежащую перед ним тоненькую папочку.

- Вы полагаете, это ваше личное дело?
- А что же?
- Какая наивность! – и чиновник один за другим выложил на стол четыре увесистых тома:
- Вот ваше личное дело.
- "Десять лет с конфискацией", – на глаз определил Ефим Ильич и рискнул:
- Сколько вы хотите?
- Чиновник улыбнулся:
- Вопрос по существу. Сразу видно – деловой человек. Чувствую, мы договоримся.
- У Ефима Ильича отлегло от сердца.
- Умные люди всегда договаряются. Сколько?
- Немного. Мы хотим, чтобы вы выступили по телевизору.
- Я?! По телевизору?!
- Да, вы. От имени еврейского народа. Как его представитель. Улавливаете? С призывом ехать в Биробиджан. Аспекты вашего выступления мы еще подробно обсудим. Согласны?
- Выступить не трудно, но...
- Что же вас останавливает? Какие причины?
- Что будет со мной?
- С вами? Вы, кажется, хотели ехать? Пожалуйста.
- Спасибо! После такого выступления мне уже нечего делать в Израиле.
- Не приbedняйтесь, Глузман! С вашим капиталом можно прожить везде, не только в Израиле.
- Прожить-то можно, а документы?
- Документы есть! – И Юрий Васильевич протянул ему примятую книжечку. – Возьмите. Вас устраивает бразильский паспорт на имя Виктора Лурье? Остается только наклеить фотокарточку. И поставить печать...

Ф е в р а л ь , 29 .

Восьмёрки февраля  
упёрли руки в боки,  
округло хохоча:  
вот то-то же,  
всё — боком.

Всё боком,  
всё не в лад.  
Разлад —  
он зрел заране,  
коль нету у зерна  
охоты к прорастанью.

Фискальство февраля —  
паршивей нет фальшивки.  
Коль саданут сплеча —  
не легче, что —  
ошибка.

Ушибы разотрём,  
несчастья перемелем.  
Что было — зачеркнем,  
что будет —  
в то поверим.

Проверим жизни ход:  
вновь заведём будильник.  
Восьмёркой оборот —  
кивок и подзатыльник.

И снова заживём —  
ни хорошо, ни плохо.  
Поохав,  
вновь вздохнем:  
мол, —  
такова эпоха.

1980 г.



## Г у с и — л е б е д и .

Только лапчатой веткой  
Новый год нам помашет,  
как теплеющим ветром  
заштрихованы пашни.

Поспевающим летом  
острова — пышным раем.  
От зари до зари  
гуси—лебеди грают.

И играют свадьбы,  
и летят лебедята  
прямо с острова —  
в сказку,  
а весною — обратно.

Шумнокрылые птицы,  
длинношеи гуси,  
не уйти, не забыться —  
мыла ноги Маруся.

И ей плыли навстречу  
по голубенькой речке  
ваши братья из песни...  
Ах,  
как сердцу-то тесно!..

Бьётся в клетке пребольно  
окольцованной птицей,  
чтобы только — на волю,  
даже если —  
разбиться.

1980 г.

## К р и т .

Бросив якорь, сбежим на Крит.  
Остров Крит, словно рыба-кит,  
посредине моря стоит  
и, блаженно угревшись,  
спит.

Не тревожит его волна, —  
лишь баюкает, спеленав.  
В старых оспинах вся спина —  
вытравливали след времена.

Было — выболело — прошло.  
И устало солнце зашло.  
Занесло песком Лабиринт.  
Лабиринтом стал остров Крит.

Отыщи вот теперь, проверь,  
оцени по числу потерь  
до Эллады тот ладный век,  
что на острове сладил грек.

Мандолины звенит струна.  
На счету не одна война...  
Археологи спросят Крит,  
что́ он в чреве своём хранит?

И найдут, как за далью даль, —  
на кувшинах всегда — спираль.  
Разбирался бронзовый век:  
детермирован человек.

Сквозь века — многомерный сон, —  
многоликий Агамемнон.  
Трижды Трои страшной падёт  
всё, что радуется и живёт.

Но Елены прекрасный лик  
перед силой судеб не сник.  
Словно Лирою бередит —  
красотой её бредит Крит.

1980 г.

Р и м у.

Ведут дороги в Рим, ведут  
всех, кто по ним идет, бредут,  
спешат на крыльях и колёсах.  
О Рим! —



КАРЛ И ИНГРИД

Гостиная в доме киноартиста. Карл Зегерн сидит на диване, читая. Входит горничная:

- Герр Зегерн!
- Что вы хотите, Эльза?
- Герр Мойзебах хочет вас видеть.
- Проведите его сюда.

Зегерн встает. Входит Мойзебах, средних лет, среднего сложения, хорошо одет, и останавливается на полдороге. Он всегда говорит вежливо и спокойно:

- Доброе утро, Герр Зегерн.
- Доброе утро, Герр Мойзебах.

Мойзебах. — Министерство поручило мне сообщить вам, что ваш новый фильм принят и со следующего воскресенья пойдет в кинотеатрах города. Министерство предполагает большой успех.

Зегерн. — Спасибо, Герр Мойзебах.

Мойзебах. — Министерство также поручило мне возвратить ваше письмо с просьбой о разрешении эмигрировать вам с женой... — Мойзебах кладет конверт на стол,

—... с обещанием, что это письмо не будет упомянуто в вашем личном деле.

Зегерн. — Объяснило ли Министерство причину отказа?

Мойзебах. — Да. Причина в том, что вы очень талантливый артист, Герр Зегерн, на пути к большой известности. Министерство не может позволить потерять вас... (пауза). Также не может позволить это и Германия.

Зегерн молчит. Мойзебах поворачивается и идет к двери. Останавливается и говорит в полоборота:

- До свиданья, Герр Зегерн!

Зегерн молчит. Мойзебах выходит и через короткий промежуток времени входит Ингрид:

- Мойзебах был здесь?

— Только что. Он сказал, что Министерство приняло "Соловья" и начнет...

- Сообщил ли он другую новость?

- Да. Отрицательную.

У Ингрид опускаются руки и, подойдя к дивану, она медленно садится. Зегерн садится рядом.

Ингрид. — Отрицательно. Это значит, что мы не сможем уехать... О, Карл,

я боюсь, ужасно боюсь...

Зегерн притягивает Ингрид и прижимает ее голову к своей груди.

Гостиная, освещенная настольной лампой. Карл Зегерн в кресле, читая. Ингрид — на диване. На звонок Зегерн выходит и возвращается с Густавом Бергером. Ингрид поднимается навстречу.

— Герр Бергер! Как хорошо, что вы пришли.

Зегерн усаживает Бергера на диван, рядом с Ингрид, и идет к шкафу с ликерами.

Ингрид. — Мы не видели вас так долго. Как там жизнь?

Бергер. — В нашем артистическом мире? Без особого оживления. Но и мы не видим вас на наших вечерах — ни вас, ни Карла... Хотя я понимаю...

Зегерн подходит с рюмками.

Бергер. — За твой успех! — Он поднимает рюмку и держит ее высоко. — Поздравляю! — Повернувшись к Ингрид: — Поздравляю вас, мадам, с таким талантливым мужем. Вы видели уже "Соловья"?

Ингрид. — Мы больше не выходим из дому.

Бергер. — Да? Но это как раз то, из-за чего я пришел. В следующий четверг мы празднуем успех Карла среди друзей, без фанфар, без репортаров — как бы семейное событие. И, конечно, вы оба будете?

Молчание. Ингрид смотрит на Зегерна, потом на Бергера.

Зегерн. — Очень жаль, но мы там не будем.

Ингрид встает, подходит к Зегерну и касается его руки:

— Карл, это же празднование твоего успеха среди друзей. — Бергеру. — Конечно, мы будем. А сейчас я пойду и приготовлю кофе. — Уходит. Бергер. — Ингрид нужен свежий воздух и старые друзья. Ведь она так любила наши вечера.

Зегерн. — Обстановка изменилась, и мы не хотим подвергаться оскорблениям. Кроме того, эти "старые друзья" все равно успели ее забыть.

Бергер. — Это неправда. Просто мы не можем показывать. У всех же есть семьи и все хотят сохранить службу. Мы — обыкновенные люди, Карл, обыкновенные запуганные люди.

Зегерн. — Может быть, это и так. Ты думаешь, нам можно пойти?

Бергер. — Конечно. Это даст нам возможность показать Ингрид, что мы любим ее, как прежде. Несмотря на все правительственные теории.

Зегерн. — Я хотел бы, чтоб они остались теориями, но, к сожалению, это уже вошло в практику.

Входит Ингрид:

— Господа, приглашаю вас на кофе и шоколадный торт.

Карл Зегерн сидит на диване, читая. Входит горничная:

— Герр Зегерн!

— Что вы хотите, Эльза?

— Герр Мойзебах хочет вас видеть.

— Проведите его сюда.

Зегерн встает. Мойзебах входит и останавливается на полдороге:

— Доброе утро, Герр Зегерн.

— Доброе утро, Герр Мойзебах.

Мойзебах. — Министерство поручило мне задать вам несколько вопросов. Две недели назад вы с женой были вечером в доме Бергера по случаю празднования вашего успеха. Это правильно?

Зегерн. — Да, это правильно.

Мойзебах. — Там вы показывали выдержки из фильма "Соловей" специально для вашей жены. Гости выразили свое благожелательное расположение к ней и сочувствие к ее теперешней ситуации. После ужина все перешли в гостиную, куда в 10.35 неожиданно вошел Герр Райхсминистр Доктор Геббельс. Это правильно?

Зегерн. — Да.

Мойзебах. — Доктор Геббельс подошел к Вам, поздравляя и высоко оценивая ваш талант. Ваша жена была ему представлена и Доктор Геббельс поцеловал ее руку. — (Пауза)... — На виду у всех присутствовавших. Это правильно?

Зегерн молчит.

Мойзебах. — Министерство уверено, что вы выполните следующий план: вы — немец и ариец, разведетесь со своей женой — еврейкой. Она будет отправлена в изолированное место, а вы будете продолжать свою успешную карьеру...

Зегерн (тихо). — Вон!

Мойзебах идет к двери, останавливается и говорит в полоборота:

— До свиданья, Герр Зегерн.

После ухода Мойзебаха Зегерн стоит несколько минут, потом подходит к двери и зовет:

— Ингрид! Можешь ты прийти сюда?

Он встречает Ингрид и, обняв ее за талию, подводит к дивану. Оба садятся.

Зегерн. — Вот какое положение. Наша надежда, что ничего не последует, не оправдалась. Доктор Геббельс, видимо, пришел в неистовство, узнав, чью руку он поцеловал публично. Но комедия на этом кончается и начинаются серьезные вещи. Они настаивают на нашем разводе и твоём отъезде из дому.

Ингрид. — Пусть так и будет.

Зегерн. — Что "будет"?

Ингрид. — Развод и отъезд.

Зегерн. — Зачем ты это говоришь?

Ингрид. — Я говорю вполне серьезно. Ты уже сейчас — актер, лучше всех остальных. Ты должен пожертвовать всем во имя своей будущности.

Зегерн (кладя руку на плечо Ингрид). — Перестань, Ингрид. Ведь мы любим друг друга. Могла ли бы ты жить без меня?

Ингрид. — Наверно, нет. Пожалуй, мне было бы легче умереть. Но ведь мы говорим о твоей будущности, а не о нас. Не правда ли?

Зегерн. — Меня не интересует ни моя будущность, ни даже сама жизнь без тебя.

Ингрид берет его руку и прижимает к своей щеке:

— Я это знаю.

Зегерн. — Положение серьезное, но не безнадежное. Надо пробовать уехать нелегальным путем. Обязательно.

Карл Зегерн стоит перед окном. Входит горничная:

— Герр Зегерн!

— Что вы хотите, Эльза?

— Герр Мойзебах хочет вас видеть.

— Приведите его сюда.

Мойзебах входит и останавливается на подороге:

— Доброе утро, Герр Зегерн.

Зегерн молчит. Пауза.

Мойзебах. — Министерство поручило мне задать вам вопрос. На прошлой неделе вы встретились в кафе "Рояль" с человеком, который обещал провести вас с женой через границу в Швейцарию. Послезавтра вы оба должны встретить его в Маркдорфе у Бодензее. Это правильно?

Зегерн молчит.

— Министерство заключает, что вы переоценили свое артистическое величие, Герр Зегерн. С понедельника по всей Германии перестанут показывать ваши фильмы и Министерство уверено, что через шесть месяцев Германия забудет вас. Вы имеете два дня, чтобы принять план, который я изложил вам во время моего последнего визита. В случае отказа — полиция займется делом вашей жены.

Мойзебах идет к двери, останавливается и говорит вполголоса:

— Человек не встретит вас в Маркдорфе. До свиданья, Герр Зегерн.

В кухне на столе лежат стулья, а на освободившемся месте стоит диван. Входят Зегерн и Ингрид.

Ингрид садится на диван и смотрит, как Зегерн запирает дверь и проверяет, закрыты ли окна. Потом он зажигает газ в печи и тушит его.

Ингрид. — Карл! Еще не поздно. Пусть они возьмут меня.

Зегерн. — Они тебя убьют.

Ингрид. — Я знаю. Но зачем терять две жизни? Пусть я умру одна, ведь ты же ценней для нашей страны.

Зегерн. — Это не наша страна. Не наша больше. Мы жили и умрем вместе.

Ингрид. — Я где-то читала — человек живет в обществе, а умирает один. Конечно, я могу умереть одна, и мысль о тебе, продолжающем жить, могла бы смягчить мои последние минуты... только умирать здесь, с тобой

возле меня... значительно легче...

Зегерн открывает газ, садится возле Ингрид и кладет руку на ее плечи.



*О т Р е д а к ц и и: "Карл и Ингрид" — первая из серии драматизированных новелл П.Петрова под общим названием "Любовь". Мы намерены продолжить публикацию этой серии в следующих номерах "Современника".*



НАДО БЫ. НО...

Мне бы вымолить пощаду,  
чтоб расстаться без прощанья,  
без ненужного прощенья  
через грехоотпущенье,  
без презренного прощенья  
твоих губ ещё вернуться...

Чтоб бежать от поражения —  
слабости мужской минутной —  
я отверг прощальный ужин —  
возвращение утраты —  
предоставил это мужу  
(как приличествует такту),  
и последнее... осталось  
незаконченным формально,  
вялый поцелуй усталость  
мою вымучил, опальный;  
он, ненужный мне, воспрянет,  
не желая стать зачатъем,  
и на миг беспечно пьяный,  
весь в ушибах, будет счастьем.

1960 г.

ДВЕНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

Не буду обжигаться сентябрем,  
а то дожди размоют иней строчек,  
и я, при попадании прямо, —  
трубы любой достойный водосточной —  
стеку стыдом в трясинную дыру,  
чтоб стать чистилищем в преддверье Ада,  
щекой прижаться к теплоте в дыму —  
на горе или, может быть, на радость.

Дай силы Ариэлю провалить  
в тартарары зверюгу Калибана —  
духовного рассвета паралич,  
подонка, изувера, гниды, гада.

1974 г.

## ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ

Разносторонний писательский талант Синявского проявил себя в литературной критике, эссе, фантастических рассказах, мемуарах. Данная статья не претендует на всесторонний разбор творчества Синявского. Я оставляю в стороне его интересные литературоведческие статьи и книги (например, "В тени Гоголя"), вопрос о формировании его творческой личности, о влиянии на него Гофмана, Гоголя, Кафки... Мне хочется изложить здесь мнение читателя, немало повидавшего на своем веку и имеющего личный опыт в вопросах, затронутых Синявским.

Писательская манера Синявского своеобразна и порой даже нова. Я усматриваю в ней три разных направления, которые условно называю:

1. Фантастика Абрама Терца.
2. Камбальный жанр.
3. Поляризованный реализм.

В этих трех направлениях действуют как бы три разных, не схожих друг с другом писателя, составляющих собирательное имя: Синявский. Не каждому дано выделить из себя три ипостаси, и их изъяны в известной степени оправданы общей удачей. Не берусь судить, не будучи психологом, как произошло творческое разделение личности писателя. Но это — факт. Литературный критик и три своеобразных писателя уживаются в Синявском: четыре в одном.

### 1

Фантастический мир Абрама Терца отвечает действительности в нашей стране после 1917 года. Непрерывный массовый террор душил свободу, поработал население, выкорчевывал религию, уничтожал миллионы лучших людей. Насильственно насаждаемое безбожие исказило основы жизни. Дьявольский замысел Ленина осуществлялся в буднях: опустошение души породило зверские нравы. Нарушение глубинных законов общества привело к иррациональности, странности, невероятности бытия, как бы созданного плохим сочинителем.

Абрам Терц великолепно понял страшную сторону этого бытия и ярко выразил его, не прибегая к гоголевским красным свиткам и мертвецам, поднимающимся из могил. Фантастический жанр сделал вероятными факты, которые при протокольной передаче могли вызвать лишь недоумение и недоверие, особенно у человека Свободного мира.

Разве может он поверить, что подавляющее число горожан при Ленине, Сталине и Хрущеве прожили жизнь в коммунальных квартирах, а многие продолжают жить и по сей день? В каждой квартире, ячейке ада на

земле, пять-шесть, а то и десять семей, вынужденных пользоваться одной кухней, умывальником (редко ванной) и уборной, и зачастую наслаждаться обществом настоящего, непридуманного шизофреника. Сплошь и рядом опасные больные не интернированы в переполненные дурдома, где палачи в белых халатах с помощью химии сводят с ума здоровых, для которых там всегда находятся вакантные места.

В нашей московской квартире тоже была сумасшедшая, которая временами, нагая, бегала по коридору. К счастью, она была агрессивной лишь на словах и не подсыпала мышьяк в кастрюльки, что однажды произошло в другой многонаселенной квартире. Не удивительно, что при такой жизни, многие приделывали замочки к кастрюлям и запирали кухонные шкафчики. Прочитай читатель об этом у Свифта в "Путешествиях Гулливера", он приветствовал бы выдумку автора — посему и не верит он, что такое возможно не в Лилипутии.

А поверит ли западный читатель следующей были? В 1937 году моя мачеха работала бухгалтером при домоуправлении в центре Москвы. Домоуправ, видимо, помешался на почве бдительности и шпиономании, которые свирепствовали в разгар ежовщины. С утра по домовоей книге он выискивал очередную жертву среди советской знати, наполнявшей этот огромный дом, и строчил донос, триговаривая: "Так я и думал, он — старый троцкист. Я слышал, как он на лестнице ругал Сталина" (возможен был вариант: "говорил с Х. о том, что хочет убить Сталина"). С его легкой руки инженеры оказывались вредителями, старые члены партии — троцкистами или бухаринцами, дипломаты и военные — шпионами. "Материалам" управдома немедленно давали ход, и на их основе НКВД пекло дела. Дом обезлюдел, каждую ночь прикатывал черный ворон. В панике жильцы согласны были на невыгодный обмен своих комнат, лишь бы выбраться из этого проклятого логова. Не тут-то было: для обмена нужна была справка все того же домоуправа, который сразу же оформлял просителя как врага народа, заматающего следы преступления. Вспомнился мне также разговор, услышанный в пригородном поезде в годы (1929-35), когда в мирное время была введена карточная система и даже хлеб можно было купить только по карточкам:

— Жаль Анну Петровну, ведь не старая была.

— Да, жаль, что так скоропостижно скончалась... И еще горше беда у нас: задевала Петровна куда-то карточки на все шесть человек, никак не найдем их... а ведь начало месяца.

Двое всё возвращались к сказанному, возможно и нарочно. Первый выражал свои соболезнования, второй всё больше и больше поносил умершую. Вагон притих, подконец пассажиры еле сдерживали смех.

Писатель-реалист смог бы использовать тома подобных фактов для произведения огромной обвинительной силы. Абрам Терц пропустил их сквозь призму своей фантазии, и загадочная действительность стала более доступной для восприятия. Больное общество и сумасшедший мир тре-

буют адекватных форм для изображения. Уродство возможно передать со скрупулезной точностью или утрированно, как это удалось Абраму Терцу.

## 2.

На дне морском лежит камбала и смотрит. В вечных сумерках морская тина, скелеты рыб, гниющие водоросли принимают странные очертания, и далеко камбале до полноценного восприятия окружающего. А на поверхности резвится великолепный дельфин, поражающий красотой грациозных движений и разумностью поведения. Нередко он стремительно бросается на помощь утопающим, и маленькие рыбки, плавающие на поверхности, становятся свидетелями его благородства. Но глубоководным чудовищам, как бы они ни силились, не понять высоких идеалов: они видят лишь тень порхающего дельфина. Камбалу нисколько не смущает ее искаженное представление о верхних морских слоях. Смотрит она одним глазом. А, может, один глаз на нас, а другой на Арзамас?

Я прочел "Прогулки с Пушкиным" и понял абсурдность совместных прогулок камбалы и дельфина. Создание кумиров греховно и вредно, и их критика позволительна, но не на камбальном уровне. Гениальный писатель всегда загадочен, быть может потому, что в нем нечто — от пророка. К гению возвращаешься всю жизнь и лишь постепенно его открываешь и постигаешь. Посему благоговею перед Достоевским, Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Мандельштамом и не приемлю упрощенчества Толстого.

"Прогулки с Пушкиным" были подвергнуты заслуженной критике в эмигрантской прессе, т.к. камбальное осуждение гения Синявским часто граничило со вздором. Уже первые страницы книги (50-90) меня потрясли. Синявский не отказывает Пушкину в "всепонимающем, всепроникающем даровании" (стр. 51) и "вселенском замахе" (стр. 80), но недоумевает, что "часто его гениальность пробавлялась готовыми штампами — чтобы только шире растечься, проворнее оттараторить" (стр. 85). "Пустота — содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было... (стр. 64), "ему нехватает своей начинки" (стр. 65). "Трупы в пушкинском обиходе представляют собой первообраз неистощимого душевного вакуума" (стр. 71), "салонным пустословием" он развязывает себе руки и превращает болтовню в осознанный стилистический прием (стр. 84). "Взамен описания жизни он учинял ей поголовную перепись" (стр. 79), у него "была слабость к тому, что близко лежит", и он "равно охотно болтал с дураками и умниками", иногда с лакеями. По его собственным словам, не скучно ему было ни с кем, "начиная с булочника и до царя" (стр. 53), и "в итоге ему подчас приходится любить негодяев" (стр. 58). "Строфа у Пушкина влетает в одно — вылетает в другое ухо... не брезгуя ради темпа ни примелькавшимся плагиатом, ни падкими на сочинителей рифмами" (стр. 85). "У него было правило... пользоваться услугами презируемых собратьев" (стр. 86). Ряд верных и интересных замечаний Синявского не

спасает положения...

По "Бедным людям" нельзя судить о гении Достоевского, и странно переносить требования, предъявляемые к богослову и философу, на творчество поэта до 30 лет. За годы учения в Московском университете Сиянский должен был узнать от своих профессоров-пушкинovedов — Благого, Бонди, Л.Гроссмана — о зрелом Пушкине предсмертного периода, о его заметках, письмах, статьях. Жаль, что камбальный жанр помешал Сиянскому совершить прогулки с этим большим мыслителем. Жаль также, что за бортом остался храбрец и благородный человек, несчетное число раз отстаивающий на дуэлях свою честь и честь женщины.

### 3.

"Голос из хора" содержит отдельные высказывания, замечания, мысли разных "хористов". Но очевидно Сиянский придает значение лишь своему голосу, иначе он назвал бы книгу: *"Голоса хора"*.

Перед нами лагерь самого легкого режима для политзаключенных. В нем привилегированный экз вполне сыт и не знает о том, что можно "доходить": в его распоряжении продовольственный ларек, ему выдают деньги, он получает регулярно продовольственные посылки. Ежемесячно на трое суток ему разрешено свидание с женой, во время которого, видимо, даже не обыскивали, т.к. Сиянский передавал жене главы из будущих книг, и для их писания имелись под рукой необходимые справочники и академические издания.

Я извлекал эти сведения, читая "Голос из хора" и сопоставлял их с тем, что знал о хрущевско-брежневских лагерях. У Сиянского глаз, ухо, память, и он должен был с самого начала объяснить читателю, что отбывал срок в царских условиях, а не в специальных лагерях четвертого режима, где содержались особо неугодные политзаключенные. Иначе западные люди могут решить, что в советских лагерях ничуть не хуже, чем в тюрьмах Канады или Франции, и А.Марченко, Э.Кузнецов, М.Хейфец лишь сводят счеты с режимом, клеветают на него, сгущают краски в своих, написанных кровью, книгах. И уж совсем легендой покажется быль о сталинских истребительных лагерях.

Голоса воров, убийц, бандитов резко выделяются из хора. На меня эти блатари Сиянского произвели странное впечатление. Семь лет лагерного срока я прожил бок о бок с настоящими блатарями. Во время войны они полностью развернулись, и явью стал их неписанный воровской закон: "Умри ты сегодня, а я умру завтра". Нам, осужденным, по знаменитой 58-ой статье, было известно, как блатари уничтожают всех, кто не умел обороняться, и мы отстаивали свою жизнь, часто в рукопашную. Я описал их кроважные нравы в своих воспоминаниях (1). Совместное пребывание в смешанных лагерях (1941-1948), на этапах и пересылках помогли мне понять сущность представителей блатного мира.

В конце 40-х годов Сталин начал готовиться к новой войне и решил

"очистить и укрепить тыл". Ему мало было шестидесяти миллионов, уничтоженных в мирное время, двадцати трех миллионов погибших на войне, шестнадцати миллионов зэков в лагерях. Кривая посадок снова резко поднялась вверх, хотя и не достигла кривой при ежовской вакханалии. В 1948 году были образованы особлаги для смертельных врагов режима. Рецидивисты из блатных перестали в ту пору получать детские сроки наказания (по 162-ой статье за воровство полагалось от 6 месяцев до 2 лет, но им лепили по 25 лет, подводя под указ) и стали всю поносить режим и Сталина, за что им прибавляли 58 статью, дающую "право" на наши каторжные лагеря. Таким образом, снова я мог наблюдать их нравы.

За 16 лет я столкнулся с вереницей блатарей, и мне ясно, что Синявский пал жертвой своего легковерия. Он черпал сведения из источника, в котором, как в кривом зеркале, отражалось лишь то, что они хотели, чтоб о них знали. Блатари — лжецы по натуре. Им страстно хочется похвастаться, принять участие в невероятных приключениях, иметь сказочный успех. Фраер (не вор) часто принимает за чистую монету их рассказы, и, желая блеснуть, добавляет еще от себя. Синявский передает легенды и воровской фольклор, и лишь несколько блатных песен подлинны.

В Дубровлаг (2) могли быть и блатари, но — на лагпункте с самым тяжелым режимом, который, к счастью, не коснулся Синявского. На лагпункте же Синявского мог оказаться лишь специально подосланный блатарь-стукач. Синявскому надо бы оговорить, что он пишет о блатарях понаслышке, что до него докатывался только глухой гул их голосов на пересылках. Тогда его книгу о заключенных не воспринимали бы как выдумки Абрама Терца. А иначе трудно воспринять досужие разговоры Синявского о том, что воры образуют орден, основанный на воровской чести. Не следует забывать слова "шайка" и "банда" в применении к воровским кучкам. На 25 лет раньше Синявского я слышал легенды о воровском мире из уст блатарей, но уже тогда они говорили, что золотой век кончился в 1938 году, когда Сталин повелел расстрелять полмиллиона бандитов и родских (коренных) воров в связи с самообличениями Ягоды.

Синявский ни слова не промолвил о стукачах. То ли не было их на его чудо-лагпункте, то ли не считал он важным, чтобы читатель знал об их существовании. А ведь вопрос борьбы со стукачами имеет первостепенное значение для любого зэка.

В сталинское время стукачи вынуждены были вести свою "работу" тайно, шнырять в ночи подобно крысам, прятаться, изворачиваться даже на лагпунктах, где они задавали тон. Их скрытность была понятной, ибо, несмотря на все увертки, зэки их распознавали и часто расплата была неминуемой. Кроме того, разоблаченный стукач терял ценность для чекистов, что ускоряло его гибель. За смерть стукача сталинские зэки не несли ответственности, и чекисты редко занимались расследованием "несчастного случая", в результате которого стукач был задавлен на лесоповале деревом, на погрузке леса — бревном, в шахте был убит сорвавшимся

ся камнем, на стройке — свалившимся кирпичом. На каторге остервенение зэков дошло до белого каления: стукачей кололи при свете дня. Во многих сталинских лагерях политические были хозяевами положения и не боялись вести смертельную борьбу со стукачами.

Хрущев ввел новые законы. Статья 77-1 дала право лагерному начальству расстреливать блатного, у которого на лбу было вытатуировано: "раб КПСС". Расстреливали зэков за избивание стукача, именую это "преступление" террором против местных властей. Стукачи ожили: они могли безнаказанно издеваться над своими жертвами, им дано было право сажать зэка в карцер, избивать. Брежнев не изменил хрущевские законы ни на йоту и несет за них полную ответственность. Эти законы лишали зэков человеческого достоинства и превращали их либо в смертников, либо в дрожащих рабов. Но несомненно находились зэки, подобные моим друзьям по Песчанлагу, которые проламывали череп стукачу, затасившему их в карцер, хотя знали, что ждет их за это казнь. Как же Синявский не рассказал читателю о наглом, рассчитанном на полную безнаказанность, поведении стукачей?

Конечно, его самого не таскали в карцер, и он спокойно мог обдумывать книгу, которую впоследствии составил из писем жене. В письмах нельзя было описывать, что не по нраву начальству, но на Западе, задним числом, при подготовке книги к печати, полагалось восстановить истину и рассказать об огромном слое гадов (стукачей) — растленных людишек, готовых на любую подлость. Иначе содержание книги выносит Синявскому обвинительный приговор: он добровольно пошел на самоцензуру и чувствовал себя вполне сносно среди павшей шпаны. Синявский не мог не понимать вреда стукачей и непонятно, почему он извратил действительное положение вещей. Объективно получается, что стукачи в их новой роли были полноправными членами зэковского общества. Синявский скрыл нестерпимое унижение зэков при господстве стукачей и заменил правду никчемной болтовней, которую неопытный читатель может принять за благополучие в лагере.

Запад легко обмануть, поскольку он склонен на всё закрывать глаза, и это лишь усугубляет вину Синявского. Впрочем, он не протестовал, когда его поверхностной книге о зэках была присуждена одна из литературных премий. Я не случайно считаю, что "Голос из хора" написан в манере поляризованного реализма. Явление поляризации света представляет собой следующее: в особых условиях из пучка света выделяется плоский луч, тогда как остальная часть пучка поглощается средой. Синявский тоже проделал подобную операцию: он заполнил книгу тем, что не могло принести ему никаких неприятностей и умолчал о главных животрепещущих особенностях зэковской жизни в хрущевско-брежневских лагерях. Ни слова о тех, кто не приемлет напроочь советскую власть! Неужели на загадочном лагпункте Синявского не было ярых борцов с режимом, не было праведников, его не приемлющих? Или, быть может, Синявский боится

высказать свое отношение к ним и посему преподносит читателю набор фраз блатных, не существовавших на его лагпункте, и свои рассуждения, которые служат дымовой завесой? В таком подходе есть нечто и от камбалы, которая не видит то, что может помешать ей лежать в тине.

П р и м е ч а н и я:

1/ Д.Панин. Записки Сологдина. Франкфурт на Майне, 1973.

2/ Лагерь, в котором был Синявский.



## А. РОСТОВСКИЙ

\* \* \*

Я еду с милой Маргаритой,  
В её руках кольцо руля.  
Во мне опять совсем открыто  
Пути пройденные бурлят.

Я глазом многое не трогал,  
Хотя и дар мне трогать дан, —  
Пусть под горами вдоль отлога  
Мне морем кажется туман.

Пусть медный куст шумит, как примус, —  
Я подытожу жизни путь:  
Каким годам поставить минус,  
Какие дни перечеркнуть...

\* \* \*

Берег, камни, вода суетится.  
Вот, где не надо мне думать длинно!..  
Глыбе под рёбра, рискуя разбиться,  
Волны локтями толкают бревно.

Думать пришёл я сюда не о вечном,  
Думаю вон о той ржавой трубе!  
Думать бы надо о жизни, конечно,  
Как Маяковский, ломая хребет.

Думать мне не о чем в этой берлоге, —  
Пусть в своём логове думают там...  
Буду, покуда не вытяну ноги,  
Думать и верить себе и стихам.

Вот и стемнело. Иду, как бездомный,  
Издали город совсем без чудес.  
Арфой мне кажется мост озаренный,  
Тихо играющий в зале небес.

## ЗАДАЧА РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(По материалам доклада, прочитанного 9 декабря  
1979 г. в Украинском Народном Доме в Нью-Йорке)

"Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты". – эту, "слегка" перфразированную русскую поговорку, хотелось бы адресовать некоторым современным русским антикоммунистам. ненавидящим всем сердцем советский режим и одновременно горой стоящим за Московскую империю. Забывают, бедолаги, в своем великодержавном рвении, что как раз на имперской мощи только и держится этот ненавистный режим.

Такое, увы, противоестественный парадокс. Не здесь его, однако, вскрывать, ибо задача сейчас – другая. Моя цель – рассказать о *первом* в истории новейшей русской эмиграции (т.н. "Третьей волны"), существующем на практике, политическом образовании – Оргкомитете "За Русское Национально-Демократическое Государство – Россия без Колоний" (ОК РНДГ-РБК). Параллельно это будет также попыткой опровергнуть широко распространенное, запущенное с легкой руки первой и второй эмиграции, ложное мнение, будто "третьеволновники" ни на что другое неспособны, кроме литературы; расплескались, мол, в Зарубежье (по витиеватому выражению одного въедливого писаки) "газетно-журнальной словесно-пенистой волной".

Достигнуть этих целей я постараюсь наиболее заслуживающим доверия путем – обзорением публикаций на данную тему не только на русском, но и на украинском и белорусском языках, с учетом англоязычной прессы.

Лейтмотивом мне хотелось бы взять слова мужественного борца за независимую Украину Валентина Мороза. В интервью с западногерманской газетой "Ди Вельт" в июне 1979 г. Мороз сказал: "...советская система покоится на динамите и это приведет к взрыву. Национальные меньшинства представляют самую большую проблему в Советском Союзе. Национальные движения крепнут... Уже теперь Запад должен завязать контакты с теми элементами, которые завтра будут руководить динамичными силами."

Мы полностью разделяем это заявление. Именно в национальных движениях, включая русское, видим мы главную, а, может быть, и единственную сейчас, реальную политическую силу, способную не только сокрушить советский империализм, но и похоронить в целом коммунистический режим.

С сожалением приходится констатировать, что Запад, замороженный политикой детанта (по крайней мере до недавних пор), признавший ради этой сомнительной иллюзии политическое и территориальное статус-кво в Европе, без боя уступивший коммунистическим режимам всю ее восточную часть, менее всего склонен поддерживать в этом регионе национально-освободительную борьбу. Западные политики близоруко делают ставку лишь на движение за гражданские права, забывая элементарную, понятую еще Макиавелли, истину, что гражданская свобода недостижима и не может быть свободен человек-гражданин без свободы своей нации, родины, народа. Такой односторонний, иллюзорный подход лишь дискредитирует правозащитное движение. Оно в СССР и восточноевропейских странах-сателлитах легко превращается в управляемую партократией пропагандистскую фикцию. Избежать подобной профанации можно лишь одним путем -- всесторонней поддержкой национально-освободительных движений. Не подлежит сомнению, что по самой своей внутренней природе движения эти являются мощным оплотом также и правозащитной борьбы.

А теперь перехожу к истории создания Оргкомитета. Но сначала несколько слов о предыстории.

#### *Предыстория ОК РНДГ-РБК.*

1/ В декабре 1977 г. в Нью-Йорке, на расширенном заседании директоров организации "Американцы за Освобождение Порабощенных Наций" (АОПН) я сделал доклад о национальной проблеме в СССР. Основная мысль доклада была вынесена в заголовок: "Русские -- за ликвидацию своей империи". Так был намечен первый ориентир.

Первые же публикации доклада в марте 1978 г. в русской эмигрантской прессе сопровождались (без всякого, как говорится, предупреждения) злобной и разнузданной балаганной травлей. В нее включились газета "Русская Жизнь" (Сан-Франциско), имперско-монархическая газета "Наша Страна" (Буэнос-Айрес), погромный просоветский ежемесячник "Свободное Слово Карпатской Руси" (США) и др. Особенно старалась "черно-красная сотня" из т.н. "Свободного Слова...". Свалив в общую кучу "расщепенцев", выступающих за безоговорочное расчленение Московской империи; "либералов-диссидентов" из журнала "Континент", обставляющих это расчленение рядом предварительных условий; "слепых антикоммунистов" из мюнхенского журнала "Голос Зарубежья", на словах вообще протестующих против расчленения, нечестные бесы с Карпатских гор доказали в своей антирасчленительской вакханалии до следующего пассажа: "За один стол с (этими) филистимлянами мы не сядем... Придя к власти, они оставят от России Москву с огородами. С врагами -- по-вражески. Ни в какое обсуждение мы вступать не намерены... *Не переговариваться с ними надо, а накинуть на их шеи веревочный галстук и потуже затянуть петлю*" (курсив мой -- П.Б.) -- "Св. Слово Карп. Руси", № 9-10, сент.-окт. 1979, стр. 27.

Лихие горцы окопались в "Карпатской Руси", ничего не скажешь. Явно пересаливают по части своей русскости. Чуть что — и шашки наголо. Но пусть сперва ответят на "шекспировский вопрос": "что он Гекубе, что ему Гекуба?" То бишь, собственно, какое ихнее уж такое шибкое дело до России и Москвы, с огородами или без? Вот ведь беспардонная публика! Хотят, хоть ты лопни, быть католиками первее даже Папы. Так и лезут поперек батьки в пекло. Глотки готовы перегрызть, лишь бы приткнуться хоть сбоку к "старшему брату", лишь бы не потерять "чести" сапоги ему чистить. Впрочем, чему удивляться? Давно уже подмечено, что завоеванные инородцы перенимают самые худшие черты своих поработителей, — если, конечно, смиряются и прекращают борьбу за освобождение. Что поделаешь, психологический "закон силы". Так, между прочим, случилось и с русскими после монгольского завоевания. А теперь вот "карпатороссы", и многие другие, подмятые русскими, заразились. Прискорбно, но факт: именно подобные "соотечественнички", равно шавки, дерут глотки громче всех насчет своей имперскости и великоросскости, особенно в наше смутное время.

Отметим теперь отклик "Голоса Зарубежья" (№ 9). Говоря о моем докладе по национальному вопросу, главный редактор журнала обвинила меня в пропаганде н а с и л и я над русскими и нерусскими народами. Мол, не интересуюсь я их желанием и волей, призываю к безоговорочному и окончательному развалу СССР. А они, бедные, может и не хотят свободы, может полностью удовлетворены своим рабским положением.

Вот уж, поистине, с больной головы на здоровую! Чего же спрашивать, когда всё уже стало ясно в 1918 году и еще более продолжало выясняться (особенно, конечно, в условиях свободы за рубежом) все 60 с лишним лет советской диктатуры. А сейчас мы наблюдаем новый подъем национальных чувств — как среди русских, так и среди нерусских, как в СССР, так и в эмиграции. Российская империя н е о б х о д и м о е с т е с т в е н н о развалилась в 1-ю мировую (см. об этом особенно "Август Четырнадцатого" А.И.Солженицына), поставив входившие в нее народы на грань катастрофы и национального вырождения, приведя к большевистской революции. Парадоксально, но "закономерно": именно большевики-"интернационалисты" — при помощи огня и меча, подкупа и обмана, вероломства и предательства, вновь собрали, подобно старорусским князьям, территорию вокруг Москвы, восстановили, подобно российским самодержцам, бывшее великоросско-имперское могущество. Сейчас оно, как будто бы, вновь шатается. Ну, а чем же занимались в это время "национально и антибольшевистски", но от этого не менее великодержавно, настроенные русские? Обливали грязью нерусских самостийников (а сейчас взяли за русских), да бессильно прозlobствовали на тех, кому, по идее, они первым должны поставить "памятник нерукотворный" за сохранность империи.

"За львиную долю бедствий в XX веке отвечаем прежде всего мы — русские, — с горечью констатирует в "Голосе Зарубежья" (№ 14) Дм.Панин. — Нам надлежало... помнить об ответственности за судьбу присоединенных к нам народов. *(По нашему глубокому убеждению, надо было решительно и окончательно признать независимость, установленную в 1918 году, и ни на йоту не отступать от этой позиции. Мы упустили этот шанс. За то сейчас и расплачиваемся. — П.Б.)* Поведение в 1917-21 годы ведущей русской нации империи было бездарным и позорным..." Позволим добавить: не только в 17-21 годы, но и много раньше — лет этак тому 400, когда началась имперская гонка. И позже, вплоть до нашего времени, когда великороссы — безразлично уже, коммунисты или антикоммунисты -- превратились в двуликого Януса с одним, однако, сердцем, бьющимся в унисон, пылающим одним и тем же адским огнем имперской гордыни и шовинистического тщеславия.

Надо быть, в конце концов, последовательными: либо прекратить борьбу с режимом и благодарить его за то, что железным обручем держит империю; либо отказаться от империализма и влить тем самым свежие силы в антикоммунистическое движение.

2/ Обратимся теперь к откликам в украинской и белорусской прессе. Он, разумеется, был иным. Доклад мой был напечатан на украинском, белорусском и английском языках в целом ряде печатных органов Европы и Америки — от украинских газет "Свобода" (Нью-Джерси, Нью-Йорк), "Шлях Перемоги" (Мюнхен) и украинского академического ежеквартальника "Юкрэнизн Квотерли" до главной белорусской газеты "Белорус". Украинский отдел радиостанции "Свобода" (Мюнхен) передал 29 марта 1978 г. основные тезисы доклада в Советский Союз.

Отклики на доклад были в целом дружественные и положительные. Так, в газете "Свобода" (23 марта 1978 г.) была опубликована статья под характерным заголовком: "Подаймо руку билим крукам". Украинцы справедливо считали, что русским антиимпериалистам заведомо уготована нелегкая участь первопроходцев, и их готовность сотрудничать была особо ценной.

В статье "За плебисцит крови" (16 апреля 1978 г.) газета "Шлях Перемоги" высказала мысль, что сейчас уже мало одних разговоров о праве на независимость, даже и без предварительных условий. Необходима реальная совместная борьба за окончательный развал империи. Она и явит реальную волю народов, это и будет подлинный плебисцит.

В апреле и июне 1978 г. в газете "Свобода" появился ряд откликов, авторы которых, в целом поддерживая наше начинание, тем не менее выражали неуверенность. Дело, мол, трудное, новое; антиимпериалистов пока в массе русских немного, а имперское прельщение еще очень сильно. И все же, по мнению газеты, сам факт протеста против имперских традиций внушает надежду, что кошмар большевистской тирании не прошел

для русских зря, великодержавный и шовинистический угар в части русского народа пошел на убыль, знаменуя поворот русского национального сознания от традиционной язычески-имперской связанности к раскованности и христианским ценностям свободы.

Примерно в том же духе откликнулась газета "Белорус" (апрель 1978 года).

Украинский журнал "Юкрэнизн Квотерли" сопроводил английский вариант доклада интересной редакционной заметкой, сравнивающей наш анализ с позицией А.И.Солженицына. Вывод журнала таков: наш подход к национальному вопросу более последователен и более удовлетворяет нерусские народы. Именно на такой основе возможно сотрудничество русских и нерусских, преодоление недоверия и нахождение общего языка.

Общее впечатление можно резюмировать словами одного старого украинца, сказанными в собрании сразу после прочтения доклада: "Я с большим удовольствием отмечаю, что впервые за мои несколько десятков эмигрантских лет я встретил со стороны русских столь продуктивный и приемлемый для нерусских народов подход к решению национальной проблемы в СССР. Необходима всесторонняя поддержка этого начинания, тесное сотрудничество с русскими антиимпериалистами, чтобы решить эту жизненно важную для наших народов проблему."

Такова, вкратце, предыстория.

#### *История ОК РНДГ-РБК.*

1/ Широкий общественный резонанс показал, что дело требует организационного оформления. Того же требовала неотложная задача сотрудничества всех противников советско-великоросского империализма. Нужен был Оргкомитет, который взял бы на себя координацию действий.

Объявление о создании такого комитета под названием "Россия без Колоний" было сделано мной 4 июня 1978 г. на расширенном заседании Совета Директоров АОПН в присутствии различных национальных и американских организаций и прессы. Сообщения о создании ОК РБК появились на трех языках (украинский, белорусский, английский) в семи газетах Европы, Америки и Австралии. По-русски — в аргентинской газете "Наша Страна", в парижской "Русской Мысли" и, как водится, анафема в сан-францисской газете "Русская Жизнь". В ней, не заботясь об историческом правдоподобии, сравнили нас с делегатами нацменьшинств Советского Союза, подписавшими во время войны (1944 г.) "Меморандум на имя Розенберга", направленный против "Пражского Манифеста" генерала Власова, в котором Власов выдвинул претензию на единоличное представительство всех народов России перед лицом гитлеровского командования. Эта претензия, как известно, была представителями этих народов отвергнута. Газета хлестко заключала: "мазеповщина расщепленцев стала фактом. Их судьба нас больше не интересует". "Отлучение", таким образом, состоялось.

Иным был отклик на "мазеповщину" нерусских. Лучше всего, пожалуй, выразил общее настроение один из сотрудников газеты "Украинец в Австралии", который в сентябре 1978 года писал: "Создание Оргкомитета "За Россию без Колоний" украинцы Австралии приняли с большим энтузиазмом. Вы своим актом показали, что не все русские — поработители, и что есть среди русских те, кто не только мечтает о свободе, но и способен за нее бороться."

2/ Первое значительное общественное событие, в котором принял участие новый ОК, была 20-я ежегодная церемония "Неделя Порабощенных Наций" в Нью-Йорке. 23 июня 1978 г. у Статуи Свободы я прочел доклад "Национально-освободительная борьба — кратчайший путь к ликвидации коммунистической диктатуры". Уже из одного этого лозунга было видно, насколько близко совпадала позиция ОК РБК, от имени которого я выступал, с позицией нерусских национальных групп и их ответственных лидеров. Особенно из новейшей эмиграции (В.Мороз).

В журнале "Голос Зарубежья" (№ 11, 1978 г.) мой доклад был напечатан с истерической сопроводительной Главного Редактора журнала В.Пирожковой. Я сравнивался почему-то с Л.Плющом, а оба мы оказывались "фальсификаторами истории" и совратителями "невинного Запада".

Далее, в духе самой дурной политической демагогии, следовало насквозь фальшивое, псевдопатетическое восклицание: весь мир, мол, стремится к единству, а новоявленные русские сепаратисты тянут назад, к балканизации! Подобная софистика (по принципу: "признай, что все кошки серы, коль скоро они кошки") вообще свойственна великоросским еднонеделимцам, как только речь заходит о милой их сердцу империи, которую они готовы защищать любыми, самыми нечистыми способами. Так, например, забывают они и такой, вроде бы твердо установленный (в том числе их собственными идеологами), бесспорный факт как кардинальное различие и даже п р о т и в о р е ч и е между коммунистической системой и всем остальным миром. Общеизвестно, что коммунизм — это совершенно особый, извращенный мир, а н т и м и р, где все оценки меняются на противоположные (в том числе, а может быть, и в первую очередь, оценка имперской и национальной проблемы). Смешно, в самом деле, сравнивать положение нацменьшинств, скажем, в Англии, Канаде, Испании, Бельгии или даже в Африке и в мусульманском регионе, с положением угнетенных народов в СССР. Везде имеют меньшинства более или менее широкий выбор средств мирной (или даже немирной) борьбы — за отделение или, напротив, за достижение более приемлемых условий интеграции. И лишь в советско-великоросском имперском блоке не имели и не имеют подневольные народы никаких прав даже на малейшую перемену своей судьбы, все они "равны" в рабстве перед Москвой, все запуганы и придавлены, подобно Будапешту или Праге, призраками советских штыков и танков. Остается поражаться бессовестности или дальтонизму

того, кто в угоду своим преходящим политическим и идеологическим интересам пытается фактически уравнивать положение народов в коммунистических странах и некоммунистических, да еще выдавая себя при этом за антикоммуниста.

Достойный ответ на филиппику В.Пирожковой был дан в русском независимом журнале "Современник" (Торонто). Добавим для информации, что английский текст доклада можно прочесть в "Бюллетене Антибольшевистского Блока Народов" (№ 5/6, сент.-дек. 1978 г.).

3/ 2 августа 1978 г. на заседании Исполкома Украинского Конгрессового Комитета Америки (УККА) была организована специальная группа для сотрудничества и поддержки ОК РБК. Возглавил группу Президент УККА проф. Л.Добрянский. Сообщение об этом появилось в газете "Свобода" от 28 августа 1978 г. (ст. "Налаживается сотрудничество с русскими диссидентами").

Русская единонеделимская пресса (газета "Русская Жизнь") назвала это событие "бесславным концом расщепенцев", которые вместо покаяния (перед ними, единонеделимцами) предпочли идти... в "украинскую Каноссу" (!).

Последнее сравнение вызывает лишь улыбку своей неуклюжестью и исторической вымученностью. При чем тут, в самом деле, Каносса, да еще украинская? Ведь как раз украинцы нас не "отлучали", а, наоборот, всячески "привечали". А вот единонеделимцы, действительно, "отлучили", но в их обреченную Каноссу мы ни под каким соусом идти не желали. Вместо этого мы попытались устранить многолетнее русско-украинское недоверие, предложив принять его за досадное историческое недоразумение, спровоцированное в основном как раз этими самими, из единонеделимской "Каноссы". Мы предложили наладить сотрудничество с украинцами, нашими естественными и верными союзниками по борьбе с коммунистическим и любым другим видом великоросского империализма. Наше предложение было с благодарностью принято.

О том, какие трудности и подводные рифы, поистине "эльфовы огни", ожидали нас на этом пути, хорошо можно судить по следующему эпизоду. В октябре 1978 г. в приложении к газете "Свобода" была помещена статья "Российски били круки", в которой слишком оптимистично утверждалось, что создается общий антиимперский фронт в составе ОК РБК и тех правозащитников из журнала "Континент", которые присоединились к Декларации по украинскому вопросу, помещенной в польском журнале "Культура". Оптимистические ожидания наших украинских друзей были понятны. Тем более прискорбно, что позиция правозащитников в дальнейшем их не оправдала.

Отказавшись, как будто бы, от идеи плебисцита как предварительного условия предоставления независимости (что было, кстати, провозглашено нами значительно раньше — еще в моей речи у Статуи Свободы), журнал "Континент" всё же до сих пор не дошел до признания п о л и т и ч е с-



к о г о суверенитета поработенных Москвой нерусских народов. Правозащитники предлагают по сути лишь к у л ь т у р н у ю автономию нацменьшинствам в рамках федерации, ни слова не говоря об их политической самостоятельности. Причем и эта автономия, при ближайшем рассмотрении, оказывается исторически преодоленной, ибо ббльшую автономию при Александре Первом уже имели, скажем, Польша и Финляндия. Эти страны располагали в первой четверти XIX века своими парламентами и финансами, что отнюдь не предлагает сейчас Украине, Прибалтике, Белоруссии и т.д. боязливая и малопродуманная национальная программа журнала "Континент".

Два кровавых польских восстания прошлого века, а затем упорная и успешная борьба финнов за независимость, показали, что даже самая широкая культурная автономия не может заменить зрелой нации политического суверенитета. А теперь представим, что может случиться в условиях усеченной культурной автономии, предлагаемой нашими правозащитниками хотя бы украинцам, которые давно уже ощущают себя равноправной с русскими, суверенной нацией. Наверняка ничто не изменится в судьбах подмосковных народов (в том числе тех же украинцев), если осуществится некогда (не дай Бог!) фантастический прожект богатого воображением, но не шибко склонного считаться с историей, Главного Редактора "Континента" В.Максимова, грезившего недавно утопией т.н. "Российской Федеративной Земли", то бишь, на поверку, той же Московской "Святорусской Империи". У этой идеи, правда, длинная борода, ибо ведет она свое происхождение еще от первого русского эмигранта кн. Андрея Курбского (XVI в.). И она же, смягченная либерал-конституционалистскими мотивами Б.Констана (ведение времени!), вдохновила в начале XIX века декабриста Н.Муравьева и легла в основу его политической программы. И вот опять, совсем уже близко к нам и несмотря на оглушительный крах 17-го года, обратилось к ней политическое сознание русской эмиграции, как будто и не извлекшее никаких исторических уроков, что и констатировал в 30-х годах крупнейший русский историк и общественно-политический деятель П.Б.Струве. Поистине, хоть кол на голове теши! Обанкротившееся имперское наследие принялись сейчас эксплуатировать уже не только наши "правые", но и новые "левые" из журнала "Континент". Гибельная эстафета продолжается...

4/ Все эти проблемы, интенсивно обсуждаемые в Оргкомитете, вызвали серьезные разногласия. Они сводились к трем пунктам: о руссификации, об уже упоминавшейся идее "Святорусской Империи" ("святой Руси"), о мере ответственности русских за создание империи. Мы, образовавшие в дальнейшем ОК "За Русское Национально-Демократическое Государство", были убеждены, что 1/ руссификация была в России и остается в СССР главным рычагом имперского господства; 2/ по одному этому мы, русские, несем полную ответственность за имперское порабощение; 3/ утопия "святой Руси" есть по сути дела новая имперская ловуш-

ка; только стала она сейчас, в свете опыта XX века, еще более опасной и завуалированной. Ибо никогда ранее не подтверждалась с такой очевидностью и грозной силой старая истина: опасность утопии — в ее способности осуществления. Кто-то, кажется Маркузе, добавил к этому, совсем в духе русского "на каждого мудреца довольно простоты": да, утопии осуществляются, если нет на каждую из них своей а н т и у т о п и и, нивелирующей первую. Идея деколонизации СССР — одна из таковых. Наши оппоненты в Комитете придерживались по всем этим пунктам противоположных мнений.

Жизнь сама доказала, кто прав, а кто неправ. Один из бывших лидеров оппозиции (художник И. Синявин), стоявший на непоследовательных и трусливых позициях скрытого русского шовинизма, отвергавший факт руссификации и историческую вину русских за создание империи, унижавший наше национальное достоинство тем, что выдавал русских людей за безответственное и бессловесное стадо, по всему своему историческому пространству только и гонимое антинациональной властью поочередно то на подневольный труд, то на захватнические войны, был приглашен в апреле 1979 г. в Торонто, чтобы выступить там перед украинской аудиторией. Результатом был полный провал. Украинцы требовали ясных и точных формулировок: относительно империи, относительно их собственной судьбы. Докладчик, разумеется, был бессиле их дать. Торонтская украинская газета "Вольное Слово" от 2 июня 1979 г. писала по этому поводу (статья "Шкидливе братання"): "московский гость" увильнул от ответа на главный вопрос: будет ли предоставлена независимость Украине в "вольном союзе вольных наций", которые он усиленно декларировал". Газета заключала: "...докладчик очевидно действовал по принципу "и нашим, и вашим", чем проявил полную беспринципность. Осталось неясным, с кем мы имели дело — с аферистом или малокомпетентным, неподготовленным человеком, выдающим себя за писателя и общественного деятеля". Окончательный вывод газеты был таков: "Мы должны быть осторожными в подобных братаниях".

Из реакции канадских украинцев стало ясно, что молодое дело сотрудничества русских с нерусскими подвергается серьезной опасности. На грани развала оказался и сам Оргкомитет. Опортунисты угодливо расшаркивались перед единонеделимцами из боязни быть обвиненными в русофобии и еще в семи смертных грехах. (1). Тот же оскандалившийся в Торонто Синявин со страниц русской прессы вещал: "русские не должны брать на себя обузу освобождения нерусских от имперского гнета. Не они повинны в создании империи". Спрашивается: а кто? Кто должен взять на себя эту обузу, кто должен признать имперскую вину? Уж не сами ли угнетенные великороссами нерусские? Или, может быть, империя "святым духом" строилась?

И далее, в полном противоречии самому себе, этот автор продолжал:

"Русские, конечно, не могут требовать от других любви к себе. Лишь после того, как русская нация пойдет навстречу и удовлетворит чаяния нерусских наций, -- лишь после этого она сможет рассчитывать на добрые чувства" ("Русская Жизнь", 23 марта 1978 г.). Так кем же, черт возьми, являемся в конце концов мы, русские: без вины виноватыми, "неповинными в создании империи"; или всё же поработителями, не имеющими права "требовать от других любви к себе"? Поистине, авторов подобных абракадабр или надо лечить от слабоумия, или посадить за школьную парту зубрить курс начальной логики. Очевидно, однако, что для общественной и политической деятельности эти субъекты фундаментально непригодны.

Для полноты картины -- еще один "перл" того же "политика": "Центральная власть (в России -- П.Б.) никогда не была исконно русской. Скандинавов сменили татары, монголы, затем немцы, евреи, грузины..." (Там же). Всё же договорился, наконец, наш "правдоискатель" до сокровенной "истины", свалил-таки с русских вину, и именно на нерусских. Не считаясь с оскорблением и тех, и других. Ибо, -- договаривает далее, -- все эти "дорывавшиеся" до власти инородцы, оказывается, только тем и занимались, что гнали бессловесных русских на порабощение тех же инородцев -- грузин (плюс мусульман), "немцев" (прибалтов, финнов, евреев...), да плюс еще собственных братьев-славян -- поляков, белорусов, украинцев... Умопомрачительная логика! Получается, что русские не при чем в создании колониальной империи; это, оказывается, инородцы сами себя, с помощью русских штыков, порабощали. Глупость или провокация -- это не очень оригинальная дизъюнкция, но иного эпитета здесь, право, не подберешь. (2).

Практический вывод, тем не менее, стал нам ясен. Необходимо было предохранить Оргкомитет от подрыва изнутри, от дискредитации глупостью или провокационным оппортунизмом. По этому поводу и состоялся тур переговоров с редколлегией независимого национально-русского журнала "Современник", который и раньше стоял на позициях последовательного антиимпериализма и поддерживал наш ОК, пока тот имел твердую и ясную линию. В создавшейся ситуации выбора редколлегия журнала, естественно, солидаризировалась с теми, кто делал шаг вперед, а не пятился назад, что и заложило основы нашего будущего альянса. Это был качественно новый этап в работе нашего Оргкомитета.

5/ После окончательного согласования позиций, в "Современнике" (№ 42) и в майском номере журнала "Факты и Мысли", был опубликован составленный мною по поручению группы членов ОК текст "Меморандума Содружества", который в переводе на украинский, белорусский и английский языки появился затем в нескольких печатных органах США и Канады. Этим "меморандумом" мы начали кардинальную перестройку, пытались создать новый, более стройный и политически заостренный, свободный от реликтов шовинизма, шкурничества и паникерства, эффективно действующий

щий Оргкомитет. Он получил название "За Русское Национально-Демократическое Государство — Россия без Колоний".

Тесный идейный союз ОК РНДГ-РБК и журнала "Современник" принял в дальнейшем соответствующие организационные формы. 22 мая 1979 года в Нью-Йорке состоялось открытое совещание Оргкомитета, на котором я сделал итоговый доклад. Был окончательно упразднен старый вариант как не выполнивший своего назначения, и было декларировано создание нового ОК РНДГ, в состав руководящего центра которого единогласно были избраны Главный Редактор журнала "Современник" (Торонто) А.Гидони и Ответственный Секретарь журнала Г.Румянцева. Я был кооптирован в состав редколлегии. Был организован Канадский отдел ОК под руководством А.Гидони. Информация об этих событиях была дана в журнале "Факты и Мысли" (№ 11).

Каковы же были печатные отклики? А их в русской прессе было немало. Вопреки прежним голословным и разбитным поношениям, на этот раз оказалось, что наша судьба русских шовинистов всё же интересует. Однако теперь они стали осторожней. Убедившись в нашей жизнестойкости, в поддержке нас со стороны нерусских, они отказались от прямолинейного хамства и угроз и перешли к более гибкой тактике, не оставив, однако, испытанных приемов замалчивания и охаивания.

Вот свежий пример — на замалчивание: украинская газета "Свобода" дает полный текст объявления о нашем выступлении в Украинском Народном Доме 9 декабря 1979 года, с темами докладов и именами докладчиков, — русская газета "НРС" дает урезанный до нескольких строчек текст без всякого называния имен и докладов. Хотя при объявлениях и менее крупных, но угодных ей мероприятий, эта газета, как правило, не скупится.

Второй пример — статья "Опасный жупел" в "НРС" от 2 декабря 1979 года. Опасный жупел — это, разумеется, национализм. Автор пишет: "Вот А.И.Солженицын — попав на Запад, он первым делом заявляет о необходимости ухода из империи на Северо-Восток... Вот другие националисты... основывают журнал для освобождения России от колоний. (3). Вот в журнале, называющим себя национальным (имеется в виду журнал "Современник" — П.Б.), страшный автор предлагает во имя русской культуры вывести Россию из Советской Империи". Мы хотим кое-что добавить к этой руладе, где единое неделимое, по своему обыкновению, всё извращает. Сравнение с Солженицыным всегда лестно, конечно; освобождать Россию от колоний — не столько "во имя русской культуры" (это само собой), сколько во имя краха коммунизма, — мы, русские антиимпериалисты, совместно с угнетенными народами, действительно, собираемся. Но только не методом пассивного "ухода из империи на Северо-Восток". Это не для нас — слишком утопично. К тому же, как говорится, от себя не уйдешь. Нет, мы стремимся к активному участию в "выведении России из советской империи", к решительной борьбе за ликвидацию и безоговорочный

развал этого хищного и анахронического образования.

И, наконец, для полноты, заглянем в последние номера журнала "Голос Зарубежья". Обозреватель его — г-н Рудинский, воинствующий шовинист, не стеснясь, распинается: мы не "национальные изменники", не все эти самостийники и русские расщепенцы, чья мечта — "Россия слабая и униженная, Россия на коленях". Мы — русские империалисты, — откровенно расписывается он, — и мы хотим России великодержавной и единое неделимой. Ну что ж, со своей стороны, мы, русские а н т и и м п е р и а л и с т ы, благодарим за откровенность — любую, даже хамскую. Она ставит точки над "и". Однако против униженной России выступаем именно *мы* — за Россию сильную, великую, но не великодержавную. В этом вся разница. Ибо как раз языческим великодержавием, имперской гордыней Россия и унижается.

Мы же видим силу в нравственном здоровье и духовной мощи нации, величие — в цветении национальной культуры. Государственная крепость здесь — не самоцель, но лишь вспомогательное, хотя и необходимое, средство, — отнюдь не ценой собственного рабства и чужого порабощения. Наш же единое неделимец, бьющий челом имперскому псевдовеличию, усматривает его, конечно же, в традиционных символах хищного двуглавого орла "с поднятой грозно булавой"; или, совсем уж вульгарно (но характерно для нынешнего вырождения), — в образе какого-нибудь глупого, как пень, но здорового, как конь, этакое "былинное" русского Ваньки. Сей недоросль самонадеянно забавляется тем, что играет "при народе" мышцей, грубо и зримо подавляет окружающих своей мускульной массой. "Сила есть — ума не надо", — таков, видимо, "нравственный" постулат и аксиома "национальной стати" для русского единое неделимца.

А если глубже копнуть, то окажется здесь всё... по Фрейдю. В воспаленном и похотливом, садомазохистском воображении этих "патриотов-сыновей", бессознательно идентифицирующих себя с изменившей им Матерью-Родиной, образ этот трансформируется затем в потную и волосатую, брюхатую, туго завернутую в лопающееся трико, бьющую "все рекорды мира" (прежде всего собственные) фигуру здорового русского жлоба, вроде штангиста-медалиста Васи Алексеева, этой нынешней советской "национальной гордости". Эта грудa мяса метко прозвана на Западе "домкратом", машиной для поднятия тяжестей. И за мощными ягодицами этого "производителя", за жирной спиной этой устрашающей весь мир "машины" никакой другой России уже единое неделимцу не видно.

Мы всё же не оставляем зыбкой надежды ее разглядеть. Увидеть какую-то иную Россию, более одухотворенную. Оценить русское величие по другой шкале, по ломоносовской, а не по единое неделимской. И всё еще уповаем, может быть несколько наивно, "что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать". Так же, впрочем, как и Поддубных с Алексеевыми.

Величие русского духа хотелось бы выдвинуть на авансцену истории, задвинув за кулисы заржавленное идолопоклонство перед "плотью"; что не мешает, однако, и последней "быть здорову" на Руси.

В применении к России *Mens sana in corpore sana* всегда звучало по-язычески, по-имперски, слишком угрожающе. "При здоровом национальном духе да будет здоровым государственное и общественное тело" — вот это, с нашей точки зрения, по-христиански.

Закончу несколько, может быть, необычно — заимствованием у "врагов", которых мы, впрочем, не считаем врагами, но заблудшими. Хочу привести любопытное свидетельство одного единоведемца из "Третьей волны", "славного", главным образом, своей семнадцатилетней отсидкой. За что, однако, — история умалчивает. В "Голосе Зарубежья" (№ 8, 1978) этот деятель услужливо и несколько глуповато делится своим лагерным опытом. "В лагерях, — говорит он, — мне приходилось встречать творческую интеллигенцию разных народов... Но должен отметить качественную разницу между русскими и всеми нерусскими противниками власти: главная цель нерусских... — это отделение своего народа от России, а потом уже решение социально-политических проблем в пределах своего народа". Здесь пред нами поистине неоценимое, хотя наверняка невольное, признание. Единоведемец явно не продумал всех его последствий.

Тем не менее, вывод напрашивается сам собой. До какой же степени должно дойти отвращение "нерусских противников власти" к рабскому своему положению под Москвой, если задачу отделения от оной они ставят даже पहले антикоммунистической борьбы?! Это уже предел, который "не преjdeши". Качественная разница между нерусскими и русскими здесь в том и состоит, что для первых уже немыслимы *никакие* условия, предвещающие выход из империи, даже если этим условием является крушение коммунизма. А вот для русских империалистов, которые и довели, собственно, нерусских до такого состояния, существует обманчивое условие "крушения коммунизма". При ближайшем рассмотрении — это лишь демагогический прием. На словах единоведемцы ставят судьбу империи в зависимость от судьбы коммунизма. На деле же империя для них — табу, и сохранность ее остается *вне всяких условий*, высшей сакральной целью, независимо ни от чего, в том числе и от существования или несуществования коммунизма. Увековечить "единую и неделимую" есть для них цель даже и самой антикоммунистической борьбы. Трудно придумать что-либо бессовестней и более дискредитирующее последнюю.

И особенно, конечно, в глазах нацменьшинств и зависимых от СССР стран-сателлитов. Ибо получается, что русские антикоммунисты призывают к борьбе не столько против общего врага — московской коммунистической империи, сколько за укрепление и усиление этой тоталитарной империи. Только в каких-то новых, может быть, еще более интегрированных (вроде "солидаристического государства" ИТС) формах. Вряд ли такая перспектива способна вдохновить нерусских.

Подход ОК РНДГ-РБК диаметрально противоположен. Он фундируется на реальностях. Мы не ставим никакого предварительного условия ликвидации империи, даже если таковым является крушение коммунизма. Напротив, мы склонны полагать, что в реальности сегодняшнего дня скорее будущее коммунизма решается судьбой империи, а не будущее империи — судьбою коммунизма. Падет империя — падет и коммунизм. Ибо на имперской, военно-физической и геополитической мощи он только и держится.

Непредвзятая оценка сложившейся в конце XX века ситуации позволяет предположить, что падение коммунизма в СССР, даже в случае осуществления, вряд ли гарантирует ликвидацию великоросской империи, но, напротив, способно даже влить в нее свежие соки и тем самым оживить. Лишь окончательное и бесповоротное упразднение московского империализма ознаменует собой крах коммунистической системы, а с ней вместе целой своры мелких и безответственных промарксистских диктатур, вносящих дополнительную смуту и безнаказанно справляющих сейчас, в тени серпа и молота, свою тризну по всему миру.

Г.П.Федотов в статье "Судьба империй" (1952 г.) говорил, что в наш "глобальный" век уже бессилён старый принцип "империя — это мир"; торжествует противоположное: империя — это война и тоталитаризм.

И еще оттуда же, как будто специально для русских шовинистов: "Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик...". "К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи".

#### П р и м е ч а н и я:

1. Иллюстрацией может служить журнал "Факты и Мысли" и, в частности, статья И.Гурвича "Кто русофоб?" (№ 15).
2. Необходимо, в конце концов, признать, что обеление русского народа "богоносца" противопоставлением его "невинности" преступлениям исторической русской власти суть безответственная трусость и попытка с негодными средствами. Хотелось бы вообще прекратить спекуляции на этом затертом словце — "народ" (подразумевается "простонародье") в его узкоклассовом, социальном противопоставлении с "интеллигенцией", "правителями" и т.д. Здесь так и пахнет отрывкой вульгарного марксизма. Социологическими категориями, при всем желании, социальной действительности не подменишь: они служат лишь для создания вспомогательных и познавательных ее конструкций. Когда это гносеологическое правило нарушается, тогда и подставляется имплицитно под живое слово "народ" его мертвая плоско-социологическая абстракция — "народ", "простона-

родье". Да еще (неизбежно) в различных искусственных противоположениях. Народ как духовно-историческая целостность (нация), обладающая своей судьбой, при таком подходе исчезает, редуцируется до понятия почти биологического, в лучшем случае биосоциального, означающего лишь грубый материальный процесс выживания и воспроизводства поколений. Такова медвежья услуга, оказываемая кумиру-"народу" слишком ретивыми его идолопоклонниками. Они же оказываются еще и раскольниками в плане политическом, пытаясь сравнить внутри единого народного тела простонародье (их "народ") с культурной и властвующей элитой нации. Не мешало бы вспомнить древнее и мудрое изречение: "каждый народ имеет (по крайней мере, в каждый данный исторический момент – П.Б.) то правительство, которое он заслуживает". Иными словами, "вся власть от Бога". И признание этих положений не отвергает, а, напротив, поощряет борьбу с властью, в том числе и революционную, когда власть перестает служить народу (нации) или соответствовать своему верховному (онтологическому и аксиологическому) назначению.

3. Имеется в виду журнал "Факты и Мысли", который наш Оргкомитет не основывал (см. об этом: Официальное сообщение ОК РНДГ-РБК в журнале "Современник", № 43-44). Еще раньше и в той же "НРС" тот же автор утверждал, что русские сепаратисты-националисты, мол, образовали Комитет специально для выпуска "острорусофобского журнала". Мы еще раз подчеркиваем, что журнал "Факты и Мысли" не является органом ОК РНДГ. – П.Б.



## ГРИГОРИЙ РЫСКИН

### ИЗ "ДНЕВНИКА КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ"

(Окончание. Начало см. в "Современнике" № 43–44)

#### 8.

##### Разгрузка мяса.

Скользит в крови, влекомое крюком,  
Блистая рёбер смутным перламутром,  
А шествовало барственным быком,  
Органном звуком оглашая утро.  
Наждачных лиц мельканье,  
пошлость взвеса

Кровавых мяс, почти что человеческих.  
Стальным крюком под жилу ахиллесову  
И в камеру, холодную, как вечность.  
Меж батарей, что словно полюса,  
Где в тусклом свете — льдистые крупницы,  
Качаются могучие мяса.  
Но кто там кружит, ангел или птица?  
Быть может, то — звериная душа,  
Запутавшись в телесной паутине,  
Меж полюсами кружит неспеша,  
Совую белую садится на хребтины.  
Скажи мне, кто ты, ангел иль душа?  
Была и нет...

##### Привиделось неужто?

Говядина, жестокость торгаша,  
И пустота материи бездушна.

#### 9.

##### Гастроном.

Прохладные гроздья, туманно дыша,  
Всей плотью сиреневой просятся в бочки.  
Трусливо-жестоки глаза торгаша  
За окнами линз в золотом ободочке.  
Сокрытая власть чуждодея и мага.  
Приходят за бронзовобоким лещём  
Тяжёлый и влажный, как полная фляга,  
Полковник в отставке и кто-то ещё.  
Торгаш шелестит в закуточке бумагой.  
Икры в холодильнике блестит антрацит.

Осётр замороженный с мордою гневной.  
Дворецкого кликнув, король-дефицит  
Свой бал закулисный справляет вседневный.  
Приходят две бархатно-глазые дочки.  
За окнами линз в золотом ободочке  
Печальная влажность в глазах торговца.  
Под белым халатом, должно быть, душа.  
И юноша-грузчик следит из-за двери,  
Как юноша Дарвин за редкостным зверем.

10.

С м е р т ь   о т   с е р д е ч н о г о   п р и с т у п а   в   б а н е .

Врач неотложки, опоздав с уколом,  
Склонился над ненужным протоколом.  
Весёлый банщик, только от стакана,  
Глядел на труп глазами таракана.  
А он, мертвец, к пределам звал иным.  
Как будто тыкал пальцем костяным.  
Под жёлтой кожей тёмные пигменты  
Всплывали, как моря и континенты.

11.

Заброшу в озеро ключи  
От одиночки коммунальной,  
Где надо мною поминальный  
Ночами колокол звучит.  
И глубина застонет глухо,  
Позамутятся родники.  
Большие рыбы кверху брюхом  
Всплывут, раскинув плавники,  
Железного отведав яда.  
Замрут стрекозы в тростнике.  
Зеленокудрые дриады  
В тоске забудутся на песке.

12.

О эти общепитовские блюда,  
Изжогою терзающие люто,  
Как будто приготовленные сплошь  
На комбижире под названием "Ложь".  
Везут цемент, замешанный на жи.  
Непрочны новостроек этажи.  
Но бьют газеты лживости рекорд.  
Паноптикум партийных держиморд  
Открыт на Невском.

Гордые вожди  
Глядят, глядят сквозь мутные дожди.  
Но держат рядом с собственным портретом  
Живого держиморду с пистолетом.

13.

Все эти  
Чужие звуки,  
Вы мне накличете беду,  
Метель разлуки,  
И одиночество, и бред  
В снегах Канады,  
Тоску и стариковский плед,  
Косые взгляды.  
Что путь неведомый таит  
За тем порогом,  
Где Муза бледная стоит  
И смотрит строго.

14.

Прощайте, я не с вами, я иной,  
Я ухожу, я человек за кадром.  
Я в космос выброшен без троса и скафандра  
И вот лечу скульптурой ледяной.  
И бьётся пульс, как ручеёк в прорубке,  
О звёздная космическая пасть.  
И ни любви, ни кислородной трубки,  
Чтобы губами мёртвыми припасть.

15.

Родной язык, родной и непокорный,  
Как ты суров,  
Корнями слов цепляешься за корни  
Родных лесов.  
За тёплую осеннюю грибницу,  
Замшелый сруб,  
За камни храмов, взорванных в столице,  
Толстовский дуб.  
Так отпусти ж меня в иные дали  
Из тьмы углов.  
Вцепился Музе в лёгкие сандалии  
Корнями слов.

*В январе этого года Редактор "Современника" Александр Гидони встретился в Нью-Йорке с писателем Эдуардом Лимоновым и имел с ним беседу, в которой приняли участие член Редколлегии "Современника" П.Болдырев и художник В.Бахчанян.*



*На снимке (слева направо): Эдуард Лимонов и Александр Гидони. Фото Вагрича Бахчаняна.*

#### БЕСЕДА С ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ

*Александр Гидони.* С какого года вы в эмиграции, Эдуард?

*Эдуард Лимонов.* Практически более пяти лет...

*А.Г.* Так что в некотором роде — старожил... Что вы можете сказать о таком понятии, которое часто дебатруется в прессе — о литературе русского Зарубежья? Реальное ли это понятие, перспективное ли? Каково ваше личное отношение к ней? Принимаете ли вы ее как жизнеспособную реальность с проекцией на будущее?

*Э.Л.* Вы имеете в виду литературу на русском языке, существующую в Зарубежье?

*А.Г.* Да.

*Э.Л.* По-моему, пока мы имеем дело с довольно скорбным опытом. Ничего особенно значимого и необычного за границей создано не было, за исключением без конца склоняемого и поминаемого Набокова, а также тех людей, которые уехали из России уже сложившимися писателями. Даже если

кто-то сейчас из нашего поколения чего-то добьется, это тоже будет сделано сложившимися писателями. Я подразумеваю не столько возрастную группу, сколько понятие, когда человек сложился. Я не думаю, что — за редким, каким-то гениальным, исключением — может случиться, что человек, родившийся от русских родителей здесь, избравший карьеру русского писателя, пишущий по-русски, сделал бы что-нибудь значительное. Это невозможно.

А.Г. Следовательно, вы разделяете то мнение, что русский писатель, находящийся в Зарубежье, может остаться писателем, только если этому предшествовал сложившийся литературный опыт в России?

Э.Л. Не совсем литературный опыт. Я имею в виду его развитие как человека, но и, конечно, он должен иметь литературные навыки. Развиться дальше он может и здесь. Если он вынес из России определенные наработки культуры и профессионализма, то он имеет здесь неплохие шансы. Очевидно, существует и определенный возрастной период, когда писатель может работать продуктивнее всего. Плохо, когда человеку за 60 лет, или меньше двадцати пяти. Но это, конечно, условно...

А.Г. Мы опять вернулись к возрастным категориям. А я хочу задать более, может быть, рискованно-острый вопрос. Само собой, вы не считаете, что предшествующий литературный опыт предполагает членство в Союзе советских писателей. Не это, разумеется, критерий...

Э.Л. Да, безусловно. Это могло быть, а могло этого и не быть. И скорее, этого все же могло *не быть*, ибо человек может работать свободней, если над ним не тяготеет опыт воздействия цензуры. У него больше шансов что-то сделать оригинальное, интересное...

А.Г. В связи с этим могли бы вы назвать имена из живущих ныне писателей русского Зарубежья — бывших членов Союза писателей и *нечленов* его, которые подтвердили бы эту вашу мысль?

Э.Л. Очевидно, мы с вами имеем в виду представителей третьей волны... Пока говорить об этом сложно, потому что опыт даже старожилов невелик. Возьмем хотя бы Анатолия Кузнецова. Его пример печален. Он так ничего и не сумел написать за границей, насколько мне известно. Я даже сомневаюсь, чтобы существовало то, что он писал "в стол" и никому не давал читать.

А.Г. Пирожкова — редактор "Голоса Зарубежья", дает именно такую трактовку. Кузнецов, — считает она, — поставил перед собой слишком высокие критерии, мучительно болел этим и именно поэтому ничего не написал. А в сущности, с точки зрения стандартов не столь строгих, он писал очень хорошо. Это ее трактовка.

Э.Л. Я думаю, что это демагогия, потому что писатель, если он пишет — он пишет. Если у него есть книги — у него есть книги. Если же у него нет книг, то глупо говорить о стандартах. Выходит, стандарты его и сдерживали, а рассуждать можно только о написанных книгах, а не о потенциях. Он мог быть потенциально талантлив, но вдруг взял бы и спился, скажем.

Что ж тут говорить?

А.Г. Хорошо. В этой связи я назову хотя бы несколько имен из литературной элиты третьей эмиграции. Как вы относитесь, скажем, к Владимиру Максимову, к Анатолию Гладилину, к Виктору Некрасову?

Э.Л. Я торопливо отвечаю на этот вопрос, потому что заранее знаю, что мне всё, что они пишут, неинтересно совершенно...

А.Г. Совершенно?

Э.Л. Абсолютно.

А.Г. Это эстетическая оценка, политическая или...

Э.Л. Это оценка хотя бы как читателя. Мне неинтересно их читать. Я читал и "Семь дней творения" Максимова — сколько было шуму из-за этого — лет пять или сколько тому назад!.. Мне было неинтересно. Я думаю, что это тот же опыт советского восприятия действительности, только перевернутый и приуроченный к нуждам совершенно другого политического течения.

А.Г. Понятно. Это оценка скорее всего политическая. А в плане эстетическом, не потому ли вы отрицательно относитесь к Максимову, что считаете его просто консерватором в литературе, тогда как вы, скажем, новатор? Может такой оттенок присутствовать?..

Э.Л. Ну, я, положим, не считаю себя большим новатором. Может, в стихах в какой-то мере. И то не большой авангардист. А в прозе уж точно. Дело проще: как читателю мне было бы интересно что-то прочесть как бы о себе, о своей жизни, своем поколении. Помнится, журнал "Ньюсуик" (это было, по-моему, в 1977 году) перечислил русских писателей за рубежом. Там называли Максимова писателем *историческим*, и Солженицына тоже. В этом нет ничего обидного, это констатация того, что данные писатели пишут о вещах, которые были и прошли. Исторический роман есть исторический роман. Этим жанром я никогда не интересовался.

А.Г. Вот вы сказали, что вам интересно было бы прочесть о вашем поколении. Анатолий Гладилин представлял собой в советской литературе волну "лирического натурализма", что ли. И на волне 50-х — начала 60-х годов, вместе с Аксеновым, — помните? "Хроника времен Виктора Подгурского" — это был неплохой дебют по советским условиям. Он каким-то образом опыт поколения передавал. Что же, по-вашему, находясь здесь, Анатолий Гладилин не может писать, не может вписаться в другую среду?

Э.Л. Я видел одну из его книг, выпущенных здесь. Не помню, как она...

А.Г. "Репетиция в пятницу"?.. По-моему, хорошая книга...

Э.Л. Я ее — честно сказать — только перелистал, и буду говорить с позиции человека, лишь пролиставшего книгу. У меня не возникло желания ее читать. Я увидел там карикатурные образы этих советских лейтенантов и так далее. Меня же вообще не устраивают карикатуры и гротеск, что дико распространено в современной советской и антисоветской литературе. Мне совершенно неинтересно это и, думаю, мы все больше будем от

этого уходить. В 70-е годы преобладал гротеск платоновского или булгаковского типа, часто это бывало соединено. Я думаю, в русской литературе по-настоящему интересен лирический, трагический герой... Не знаю, как точнее сказать — новый Гамлет, что ли...

*А.Г.* Я заговорил о Гладилине, поскольку вы затронули вопрос о передаче мыслей и чувств поколения. Гладилин, бесспорно, в начале своей литературной карьеры в СССР этой способностью обладал, хотя бы в подцензурных советских условиях, а здесь он, по-вашему, эту способность утратил?

*Э.Л.* Ну, я не большой специалист по Гладилину. Вообще все эти писатели — на одно лицо и из другого поколения. Они старше меня лет на пятнадцать, а это и есть поколение. Я лучше знаю Аксенова и его книги, чем Гладилина или покойного Анатолия Кузнецова. Аксенов когда-то вызывал у меня определенный интерес, когда я был совсем еще... юным человеком. Безусловно, литература отражает всё, что происходит с нами. Литература всегда жила вместе со временем. Когда-то Байрон делал то, что потрясало всю интеллигенцию Европы, а сейчас нам это странно и немного смешно. Всё устаревает, и ничего удивительного в том, что те люди, которые вчера делали литературу, сегодня ее не делают.

*А.Г.* Читатели уже знают в какой-то степени об отношении вашего героя Эдички к Солженицыну, но, видимо, все же читатели не должны отождествлять вашего героя с вами. Я хочу задать вопрос о вашем личном отношении к Солженицыну, оставляя в стороне трактовку его как исторического писателя. Как вы оцениваете его значение писательское?

*Э.Л.* Чисто писательское?.. Я попытаюсь как-то ответить... Опять же хочу вначале сказать, что его чисто историческое значение я признаю полностью.

*А.Г.* Нет, оставим это в стороне.

*Э.Л.* Если этого не сказать, то начнут говорить, мол, Лимонов опять такой и какой-то не такой...

*А.Г.* Ну, вы привыкли, я думаю, к тому, как о вас говорят.

*Э.Л.* Я привык... Но хотел бы сказать, что на мой взгляд, Солженицын отражает только одну сторону русского национального характера. Он, безусловно, очень русский человек. И трудно предъявлять писателю претензии, почему он не сделал того и другого. Он очень определенный. Его называли и пророком и кем угодно. Французы сейчас — эти "новые философы", называют его "Данте нашего времени"... Как писатель, на мой взгляд, он не стоит слишком высоко. Когда-то, в интервью одной норвежской газете, Солженицын отвечал на вопрос, кого он считает самыми интересными советскими писателями. Солженицын назвал группу "деревенских писателей" и т.н. славянофилов. Туда он отнес и Солоухина, и Шукшина, и Белова, и Распутина, и так далее. Я думаю, что многие из перечисленных им писателей по чисто словесному мастерству стоят куда выше его. Я лично это говорю и в это верю. Его же заслуга в том, что он долго эксплуатировал ( в кавычках или без кавычек — как хотите) тему, на которую

не у каждого писателя хватит смелости посягнуть в условиях советской власти. Он эксплуатировал эту тему смело, он писал много. Другие писали рассказы — например, Алдан Семенов, а Солженицын — многотомные вещи. Он просто "задавил". Вот и всё. После публикации первых своих романов он превратился из писателя в пророка, представителя нации, т.е. стал играть определенную роль. И тут появились обращения к правительству СССР, воззвания. В эту область я не иду. Я считаю, что дальше началась... ну...

А.Г. Политика...

Э.Л. Да, политика. Или другая его судьба как духовного вождя, как его рассматривают некоторые. Сейчас меньше. Это пошло на убыль, но все-таки его ставит кое-кто очень высоко.

А.Г. Когда вы упомянули о сравнении Солженицына с Данте, я невольно вспомнил эпизод из биографии Мережковского. Во время его визита Муссолини он тоже сравнил дуче с Данте, на что сам Муссолини — в общем-то импозантный и любитель рекламы — сказал: "пьяно, пьяно"...

Э.Л. Это интересно...

А.Г. Так что в оценках бывает доза преувеличения. Впрочем, для меня Солженицын — величина крупнейшая во всех отношениях. Но... можно и спорить... А вот скажите, значит в принципе вас не интересует сейчас эволюция, наметившаяся в творчестве Солженицына в его *действительно исторических* произведениях, эволюция, связанная с тенденциями неославянофильства и так далее? Вас эта проблема просто не интересует, или как вы к ней относитесь?

Э.Л. Видите ли, Солженицын пишет какие-то "культпросветские" вещи. Когда-то первый роман о лагере, который я прочел, были "Мои показания" Марченко...

А.Г. Это не совсем роман. Это документальная вещь...

Э.Л. Ну да. После этого я прочел "В круге первом" Солженицына. Я прочел их с расстоянием в десять дней... И после книги Марченко "В круге первом" мне показалась *все-таки литературой*, ужасно неумелой, какой-то склепанной и — *литературой*. Из нее выпирала эта литература. Там шли какие-то безумные рассуждения о Сталине — я не знаю, с точки зрения школьного учебника. И меня поразило, как Марченко — практически не литератор, который и не владеет очень уж стилем, безумно выигрывает. А книга Солженицына начинает раздражать. Попробуйте прочесть их в таком сопоставлении... Я могу говорить об этом много, целый вечер.

А.Г. Хорошо. В сущности, это старый спор — времен Корнеля и Расина во французской литературе, когда спорили о правде и правдоподобии: что ценнее в искусстве — правда жизненного опыта или правдоподобие, которое имитирует жизненную правду, являясь фактором искусства. Это тема для бесконечной эстетической дискуссии... У вас очень интересная точка зрения в сопоставлении Марченко и Солженицына. Я с ней не совсем согласен, но это интересно... Однако коснемся теперь вашего творчества.



Существует такое мнение, что хотя вы в основном поэт, но с вами происходит нечто, подобное... (Я сейчас выскажу очень комплиментарную для вас ассоциацию) – примерно, как в восприятии, скажем, в России Виктора Гюго, которого французы знают прежде всего как поэта и только затем как прозаика, а в России его знают прежде всего в качестве прозаика и в меньшей степени как поэта... Так вот, хотя вы начинали как поэт, многие считают, что вы все же интереснее как прозаик. Как вы относитесь к такому восприятию вашего творчества?

*Э.Л.* Ну, конечно, моя проза вредит моей поэзии...

*А.Г.* Я не имею в виду атмосферу литературного скандала и всякие наносные вещи. Я имею в виду литературу как таковую. Ваша проза – это явление. Можно спорить о ней, конечно...

*Э.Л.* Все-таки она в чем-то вредит... Моя первая книга стихов вышла в свет 11 лет спустя после их написания, а роман вышел буквально через несколько месяцев после книги стихов. И был нарушен естественный процесс. В России я не имел возможности печатать стихи. Я выпускал их там сборниками в Самиздате. Кто-то знал о них, кто-то не знал. Но русскому зарубежному читателю, условно говоря, "широкому читателю", это попало позже. Вся же история в том, что сейчас – время прозы, а не поэзии. Уже 70-е годы – время прозы, и 80-е – я уверен – будут временем прозы везде, повсеместно. Вы знаете, какое обилие поэзии было в 50-60-х годах, отчасти и в 70-х тоже. Сейчас, я думаю, поэзия сходит на нет. Возможно, так лет на десять только, а потом будет новая волна – дай-то Бог!.. Но сейчас люди более внимательно относятся к прозе...

*А.Г.* Словом, *время говорить прозой...*

*Э.Л.* Да, да... Кстати, книга моя – это мой первый роман. Первый.

*А.Г.* Итак, я могу сделать вывод, что теперь вы будете писать в основном прозу?

*Э.Л.* Безусловно. Я практически и не пишу стихи, как писал раньше, профессионально включая в них всё, что вокруг себя видел. Теперь я это делаю в прозе.

*А.Г.* Это вы объясняете не возрастными изменениями, а лишь социально-психологическим климатом?

*Э.Л.* Наверное, есть и то и другое.

*А.Г.* Скажите, пожалуйста, есть ли у вас своя, если можно так выразиться, эстетическая философия, или вы считаете, что само творчество ее порождает и нет нужды в особой системе такой философии?

*Э.Л.* Видите ли, эстетическая философия рождается в высоко культурной среде, в окружении людей, разделяющих или не разделяющих с вами какие-то взгляды. Мы живем в такое лихорадочное время (я говорю именно "мы" – не только о себе), что у нас нет времени выработать какую-то философию. Я думаю, что она у меня есть, но, видимо, вся уходит в книги.

*А.Г.* Словом, вы считаете, что художнику нет необходимости создавать свою особую эстетическую платформу, а достаточно только творить, и в

творчестве обязательно будет какая-то философия. Правильно я вас понимаю?

Э.Л. Ну, я никого не ограничиваю в выборе. Каждый может решить это для себя. Возможно, для меня еще не пришло время создать свою эстетическую систему...

А.Г. Ясно. В числе обвинений по адресу вашего романа "Это я — Эдичка" можно было встретить политические упреки: дескать, вы — троцкист, анархист, левый. Что вы можете сказать по этому поводу? Справедливы ли эти упреки? Например, "троцкист" ли вы?.. Это не опасный вопрос в условиях Соединенных Штатов...

Э.Л. Ну, во-первых, я позволю себе политическое отступление — это *опасный вопрос в условиях Соединенных Штатов*... Но, конечно, нужно все-таки разделять героя книги и меня... Я определенно *не троцкист*. Нет.

А.Г. А Эдичка?

Э.Л. А он — почти был...

А.Г. Но не как осознанный политик, а скорее просто как спонтанный бунтарь, что ли... Так?

Э.Л. Он — да! Я лично если и буду троцкистом, то вполне осознанным... Впрочем, я наверняка им не буду. Я не люблю защищать вылинявшие знамена. Я буду кем-то новым, надеюсь...

А.Г. Ну, а теперь опять-таки в связи с критическими бурями вокруг вашего романа. Вы, конечно, знаете критику газеты "Новое Русское Слово" по вашему адресу? Я имею в виду хотя бы выступление Перельмана, да и вообще позицию "НРС". Что вы можете сказать об этом?

Э.Л. (*смеется*). Как ни крути, но Перельман собирается переводить свой журнал из Израиля в Америку. Поэтому он, как писали в России в фельетонах, "выслуживается перед Западом".

А.Г. А конкретнее, перед одним из "представителей Запада"?..

Э.Л. Конкретнее, он произнес в Колумбийском университете речь и напечатал ее в "НРС" у г-на Седых. Я видел однажды г-на Перельмана издавека, помню, что он писал и знаю о враждебности "НРС"...

А.Г. Как вы можете оценить эту враждебность и вообще как вы рассматриваете деятельность этой газеты? Ее эстетическую платформу, что ли, общественную позицию...

Э.Л. Практически я не читаю "НРС", но в русских домах газету вижу. Помоему, она все более превращается в типичный желтый листок, в том смысле, как когда-то говорили о "желтой прессе" в СССР. Это не советская выдумка...

А.Г. То есть, "желтая пресса" не есть выдумка *красной прессы*?

Э.Л. Вот именно. "НРС" — это предприятие чисто коммерческое, и в ней всё подчинено коммерции. Недаром в ней всё больше и больше объявлений, рекламы, всё меньше и меньше собственно *прессы*, вообще текста... И прежде всего это — газета очень низкого уровня.

А.Г. Понятно. А применительно к атакам против вас, думаете ли вы, что

Седых руководствуется какими-то принципиальными соображениями — допустим, заботой (пусть ханжеской) о т.п. "чистоте литературы", или в основном тут есть какие-то подкладки?

Э.Л. Видите ли, мне трудно говорить, когда речь идет обо мне. Я не видел Седых, пожалуй, с 1976 года, т.е. с того времени, когда я ушел из его газеты, вернее, "меня ушли" из нее. Когда я работал у Седых, он относился ко мне хорошо, величал меня одним из "лучших русских журналистов". А потом как-то всё резко изменилось, и я не могу даже себе уяснить, почему это произошло... Меня это, правда, не очень заботит, но тем не менее... Я думаю, что определенную роль играет его личная неудовлетворенность, когда я написал печально известную статью "Разочарование", за которую ему, видимо, очень досталось. Со всех сторон. Ее ведь частично перепечатала советская "Неделя". В общем, Лимонов в представлении Седых был "наш", и вдруг Лимонов оказался "не наш"... А.Г. Вроде киплинговской кошки, которая "гуляет сама по себе"...

Э.Л. Точно. Я думаю, что когда-то Яков Моисеевич был неплохой журналист...

А.Г. Конечно. Журналистских качеств у него отнять нельзя. Так же, как у Булгарина из пушкинских времен их не отнимешь...

Э.Л. Да. Седых был неплохим журналистом. Он до сих пор пишет связно и хорошо, но вот вопрос — *что* он пишет?

А.Г. Ну, по поводу того, *как* он пишет, я мог бы многое сказать. Однако это я сделаю, когда сам буду давать интервью, а не брать его...

Э.Л. Вы знаете, газета "НРС" предпочитает уже годами не упоминать моего имени вообще. Даже когда она меня ругает, то называется номер журнала, где я печатался, пишется, о чем идет речь, но не упоминается автор. "НРС" также не печатает объявлений о выходе моих книг.

А.Г. Знакомая история...

Э.Л. Вообще, смешно рассуждать о справедливости в связи с "Новым Русским Словом" и г-ном Седых... Или говорить тут о "журналистской этике". Об этом очень много говорили — к сожалению, меньше писали. Негде писать...

А.Г. Наш журнал критикует г-на Седых из номера в номер. У нас идет своего рода "седыхиана".

Э.Л. Ваш журнал, по-моему, единственный, который осмелился, поскольку все остальные боятся связываться с "НРС", т.к. это единственная ежедневная газета. Там просто не будут печатать объявления о ваших книгах, журналах, и кто будет о них знать?

А.Г. Ничего, мы, например, приспособились.

Э.Л. Я могу добавить об "НРС", что как газета она ориентируется на самые низкие слои русских читателей. Она воспитывает у них дурной вкус. Имея сильное влияние, она делает эмиграцию хуже, чем та могла бы быть.

А.Г. Хорошо. Еще такой вопрос к вам. В "Современнике" опубликована статья Е.Кармазина, который не является литературным критиком и выб-

рал поэтому социально-политическую трактовку вашего романа. Как вам показалась эта статья?

Э.Л. Я, конечно, читал статью Кармазина. Неплохо написано, хотя он слишком "ополитизировал" книгу. Впрочем, я больше люблю, когда меня ругают...

А.Г. Ну, этого вам хватает.

Э.Л. Конечно. Мой роман — это прежде всего, как говорят американцы, "любовная история", а всё остальное — побочно.

А.Г. Вы бы согласились с отнесением вашего романа по манере к тому "лирическому натурализму", который на Западе был представлен Ремарком, Хемингуэем, отчасти Сэлинджером, а в Советском Союзе его дублировали аксеновская проза, гладилинская?..

Э.Л. Думаю, что сходство есть. Можно вспомнить и Жана Женэ. Говорят, что я на русском языке попытался сделать то же, что Миллер в американской литературе. Но я не литературовед, и мне трудно говорить о собственной книге.

А.Г. Заключительный, самый традиционный вопрос. Каковы ваши творческие планы?

Э.Л. Я написал вторую книгу в 1978 году. Это не роман. Она написана в форме дневника. Отрывки напечатаны в третьем номере "Эха" за 1978 год. Называется она "Дневник неудачника". Книга меньше "Эдички" и написана в другой манере. Думаю, она доставит больше удовольствия "любителям изысканной словесности". Там более развитой, что ли, русский язык...

А.Г. Так что пуритане не будут нападать на вас?

Э.Л. Да нет, уже нападали. Ефимов-Московит, например, назвал эту книгу "Портрет бандита в юности", вернее, "автопортрет, написанный мастерской рукой". Чему я был безумно рад. Считаю, что это хорошо, когда я затрагиваю мало трогаемых людей.

А.Г. Как редактор "Современника", я позволю себе спросить о вашем отношении к нашему журналу. Кажется ли вам полезным сам факт его существования, имея в виду, что это независимый, литературно-общественный и весьма "задиристый" журнал?

Э.Л. Я читал не все номера "Современника", но у меня есть впечатление довольно цельное. Это очень здорово, что вы первый замахнулись на "мафиози" эмигрантской прессы...

А.Г. Ну, я не первый, конечно; до меня замахивались...

Э.Л. Да, но в печати, в толстом журнале, — это, пожалуй, впервые. Безусловно, г-на Седых исправить невозможно. Но хорошо, что его развенчивают понемногу. Полезно, что у вас в журнале высказываются разные точки зрения. Вообще, в принципе могу только приветствовать "Современник".

А.Г. Что ж, спасибо, Эдуард, за интересную беседу. И, как водится, желаю вам творческих удач.

Э.Л. Спасибо.

ГЛЯДЯ НА ПЛАН г. ЛЕНИНГРАДА

( А к р о с т и х )

*Льву и Елене ПАНИНЫМ.*

Брожу по городу. Как это просто:  
Раскрою план, — он стоит пустяки, —  
Аптекарский найду сейчас же остров,  
Тут я живал, у Карповки-реки.  
Узреть Пески, мне памятные, жажду

И молодость вернуть... на пять минут.

Есть среди домов здесь дом пятиэтажный,  
Губ женских сладость мне открылась тут.  
Отсель — на Охту. Под казённой крышей

Жить здесь пришлось в казарме, скучно жить.  
Ефрейтор всё же из меня не вышел.  
Но стоит ли бывшее ворошить...  
Ещё махнуть необходимо в Смольный,

Попутно, там же, и во Вдовий Дом, —  
Он бабушку напомним мне. Довольно  
С ней кофейка я попил тут... Потом  
В Зоологический да в Зимний, да в музей, —  
Я не могу забыть сокровищ их.

Щедр город этот, радовать умеет.  
А много ль на земле дворцов таких!  
Ещё б бродил, да срок отпущен малый,  
Так что прервать придётся "променад".  
Судьбина всё ж меня побаловала:  
Я у тебя в гостях был, Ленинград.

## ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ И ЧЕМ МЕРТВЫ?

Кипят праведные и паучьи страсти на мотив "а кто ты такой?!" Как мясники, обзываем собратьев "носорогами", начисто забывая, что эти неуклюжие и боязливые травоядные, хотя и взаправду толстокожие, да не особо колю от наскока разных мошек инстинктивно защищаются броней из грязи. Да и рога-то их не так страшны, если не вторгаешься в их частную жизнь, уважая их свободу, как свою. И рога тогда — всего лишь выросты энтермического слоя кожи, которые уносятся обыкновенно в бегстве от людей, но не от посягнувших на жизнь их. Так что животные тут не при чем.

Но суд идет. И летят камни, маты, куски полемической пены. Вот тебе и на: "Кто без греха, пусть бросит в нее первый камень". Тогда — в библейском эпизоде "Христос и грешница" — толпа быстро *разошлась*. А ныне — *разошлась* в другом смысле, да так, что невольно возвращаешься на что напоролся: "И тот, кто сегодня поет не с нами, — тот против нас!" Или понимай так: "И тот не наш, кто с девой вашей кольцом заветным сопряжен..." Так-то, граф Олизар, привет тебе от природного демократизма и космополитизма русской натуры! "Нашим" — "Вашим", одним словом. "Рога и Копыта". Молоту и наковальне. Прямому и обратному, наизворот дарвинизму — от великого до смешного один шаг — посвящается: тем самым, сага о саге, или "почему в России так легко привился марксизм?"

Давно замечено, что люди не понимают друг друга. Поэтому и требуют ясности там, где ее быть не может. И от нетерпения сами ставят точку над "и", домысливают за безответного собеседника. Рискованная проекция себя на каменеющий мир. Но и нельзя иначе — не могу молчать, как говорится. Душе потребно. Камень, тогда, может обернуться хлебом. Слово "Позор!" для словаков означает: "Внимание!" Владимир Солоухин полагает, что смысл этих слов один и тот же. Что такое русский "позор", если не привлечение к человеку всеобщего внимания? Выставить к позорному столбу — значит выставить на всеобщее внимание, как Чернышевского и многих других. И все-таки гармония есть, "жив курилка", "вертится" Земля, хотя бы и "авоське меридианов и широт"... Не хлебом единым жив человек, а все той же бессмертно-сюжетной л ю б о в ь ю. "Люди! Давайте любить друг друга!" — заклинает умирающий Шукшин. Это относится и к "мягкотелым вырождакам" (одним из них, дядюшкой Ростаневым — из "Села Степанчиково" — гордился Достоевский), и к гогочущим харям (фу, что-то адское, метильное; не "платоновские идеи" злого в испол-

нении Франсиско Гойи, или Гофмана, или Гоголя нашего), и... к генералу КГБ, наткнувшемуся на совесть, как у Нарокова в "Мнимых величинах": "... А слезки вытрем! — повторил он. — Все не все, а парочку вытрем!" И услышав он: "... Да если бы... вы хоть половину ее слез вытрите, так... так... Так ежели за вами перед Богом есть какие грехи, то смело на суд Его идите: простит!" Это ожившая ситуация из "Преступления и Наказания": весь в крови — "до такой точки дошел, что вот слова "добро" не мог сказать!" — начальник местного произвола перед нео-Соней чуть ли не на коленях — чтобы она ему силы дала, "*настоящей*, соленой..." Вот она — "жесточайшая ностальгия по *настоящему*", ностальгия по-Вознесенскому. Ну и что, когда "хохочет в рожу идиотствующая мафия"? Говорю: "Идиоты — в прошлом. В настоящем — рост понимания"... Склерозны водопроводные артерии, но закупорка пробьется: "настанет" День. "Да не застану." И совсем не важно, что стихотворение это посвящено Р.Гуттузо, идейно близкому и официозу и поэзии. Наоборот, служение добру не обусловлено местом в пространстве, или служебным положением. "Сам Бог велел" — это сказано о кратчайшем пути, но святее, пожалуй, то, что с великими трудами дается: "измучившись, нам насладиться". Это всё о любви. Но до ненависти, как известно, один шаг, как и от великого до смешного. Так что же лучше: быть клювом петуха или хвостом быка? Гласом вопиющего в пустыне!

Как известно, английский утилитарист Иеремия Бентам видел основу морали в личной пользе, ограничиваемой благоразумием и благополучием отдельной личности. Его учение породило теорию "разумного эгоизма", столь популярную со второй половины XIX века до наших дней. Раньше Достоевского формулу "всё дозволено", противопоставленную самоограничивающемуся эгоизму, запечатлел Владимир Одоевский. Этот же философ и писатель, кстати сказать, предварил проблематику "Смерти Ивана Ильича": "... Я начал *думать*! Думать — страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь*! Любовь — страшное слово после 60-летней бесчувственной жизни! И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготы своей!" (Остановить мгновение и задуматься — сквозная тема: у Солженицына, Юрия Нагибина и вширь). У Одоевского же — раньше протестантов шигалевщины (Замятина, Хаксли и Орвелла, и "зияюще-высотного" Александра Зиновьева... Раньше прославленных критиков тоталитаризма многое уже было, о чем и ныне толкуют. Например: "Поэты будут употребляться лишь в назначенные дни для сочинения гимнов общественным постановлениям"; "Живой мертвец" (ср. с "Живым трупом" Толстого); "Машины для романов и для отечественной драмы"; или вот, как будто бы о теперешних художниках-диссидентах": "... Эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих... этого рода люди происходят по прямой линии от кулацких бойцов... надобно надеяться, что с большим распростра-

нением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце... один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек...!" ( "крестоносец" И.Синявин и вокруг него). Разоблачение "пользы" сто сорок лет назад начисто забыто ныне многими держателями рублевого золотого тельца. Об этом и глаголит континентный Максимов, доказывая, что и один в поле воин, тем более за ним, как сам говорит, "молчаливое большинство".

Вернемся опять к Одоевскому, авторитетному и со стороны антихамства, хотя и введенному в нашу литературу, вроде бы первым, "афеньский язык" — жаргонные слова, которые в избытке свинцом терминологической тяжести недоброй тянут современную беллетристику к специальным словарям (то было без политуры не разберешься, то стало иного писателя- "деревенщика" и не прочесть и русскому-то, коли понадобился "Сибирско-русский словарь"! ). "Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту" — мораль такова: "...однажды спросонья он выкинул куклу за окошко; ... куклу никто не поднял..." Нет, тут Одоевский — не пророк: недоучел смены вех всех, эх, — жива бездушная а-ля женщина: вдохнул в ее бессмертные черты золотом-дождем Юпитер, и географию она собой покрыла до 42-ой нью-йоркской улицы, всесветно то есть. Но важнее другая иллюстрация нашего "Города без имени": "...полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти... Религия сделалась предметом совершенно посторонним; нравственность заключалась в подведении исправных итогов; умственные занятия — изыскание средств обманывать без потери кредита; *поэзия — баланс приходно-расходной книги* (как у Синявского во время "прогулки" с Онегиным — курсив мой — Е.В.); музыка — однообразная стукотня машин; живопись — черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека; негде было ему забыться хоть на мгновение. Таинственные *источники духа иссякли*... В это время... явился человек... Горе... тебе, страна нечестия... Смотри... уже собираются грозные тучи... Ты растлила свою душу, ты отдала свое сердце в куню и *забыла все великое и святое*; ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром — злато, коварство — умом и ум — коварством; ты презрела науку ума и науку сердца." И вывод следует: "Падут твои чертоги... травю прорастут твои стогны, и имя твое будет забыто. Я, *последний из твоих пророков*, зываю к тебе: брось куню и злато, ложь и нечестие, оживи мысли ума и чувства сердца, преклони колени не пред алтарями кумиров, но пред алтарем бескорыстной любви... Но я слышу голос твоего сердца; слова мои тщетно ударяют в слух твой: ты не покаешься — проклинаю тебя!" И что же?! — Полиция, — сказано в этом поучительном примере, — "раздвинула толпу любопытных и отвела несчастного в сумасшедший дом" (казнимые сумасшествием?!). "Чрез несколько дней жители нашего города в самом деле были поражены ужасною грозою...". И что же



для обывательствующего мира? — "... В "Прейскуранте", единственной газете, у нас издававшейся, мы прочли следующую статью: "Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают двадцать процентов уступки. Выбойка требуется." Одним словом — "интернациональная по форме, социалистическая по содержанию." Это от Третьего Рима до Бродвея, считай так. Таковы симптомы пропадающего времени. И только в *постскрипуме*, мимоходом обронил Одоевский, от лица Газеты (какого цвета? красного ли только?) уведомлено, что многие города тогда сгорели от молнии, тысячи жителей лишились жизни. Но это как бы и плохо и хорошо, ибо: "К счастью остальных, застывшая лава представила им новый источник промышленности. Они отламывают разноцветные куски лавы и обращают их в кольца, серьги и другие украшения..." Вот что значит преклонять колени перед пьедесталом статуи Бенгама. "От всей отчизны остался этот безжизненный камень, и один я над ним *плачу и проклинаю...*" Это, должно быть, об эмигрантах: "Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу," — как бы повторит тургеневский Потугин о России.

Но жуткое отличие времен-правов: Потугин мог вернуться: "Да-с... Я теперь вот ее покинул... но я скоро назад поеду..." А *к чему* возвращаться пробовать теперь, ведь всё то же самое — только роднее и невыносимее будет! Впрочем, самоубийство — по Бердяеву — прямо противоположно Кресту Христову, Голгофе, оно есть отказ от Креста, измена Христу. Поэтому оно глубоко противоположно Христианству. В психологическом этюде о самоубийстве Бердяев формулирует целевую установку смысла существования в русском зарубежье: "... Каждый русский сейчас в безмерно большей степени несет в себе Россию, чем нес тогда, когда он мирно жил в России. Тогда Россия давалась ему даром, теперь же она приобретается горением духа", а не почесыванием зубок насчет гнилого Запада и движением вспять.

Бюргерство, мещанство, "посорогство", "дураки-дураки" — очень обидно, а уши-то непреклонно холодные! "Благодаря мещанству мы пришли от Прометея к хулигану" — и Горький против, как видно. В этой болотно-золотой середине "черти водятся". Карл Ясперс в конце 60-х годов века нынешнего говорил, что слабость либерализма — в нерешительности и медлительности, в отсутствии готовности действовать со всей энергией. Предстоит вот-вот Свободе сыграть ва-банк! И Солженицын о том же — о тенденции к войне. Спор Востока и Запада вечен: еще Геродот, указывая на похищения Финикиянами женщин из Аргоса и Елены из Лакедемона сыном троянского Приама, относил его начало ко временам полудисторическим. Но Россия во многом уже "не та" Азия, как и Европа — вовсе "не та" отчасти. Страх перед врагом уничтожает злобу на него, — заметил как-то Достоевский, будучи в восторге от чувства всемирного синтеза, как его князь Мышкин — перед энигматическим припадком. Впрочем, Достоевский стоял за союз России с Германией и утверждал, что союз этот будет долговечен. Ирония истории! Сталин следовал в этом вопросе за

гениальным "архискверным".

Но если для немца Шопенгауэра "совесть" теоретически разлагается на пять составных частей: страх перед людьми, деизм (страх перед верховными силами), предрассудок, тщеславие и привычку, то для славянского сознания это — нравственный, неделимый фундамент жизни и мирозерцания. Толстой, например, как бы строит совершенство; Достоевский в большей степени анализирует человеческие глубины. Хотя, конечно, не лишено оснований предположение, что "Люцерн" мог бы написать и Достоевский, а "Мужика Морей", допустим, — Толстой; ведь "Отец Сергей", "Фальшивый купон" — в духе поучений старца Зосимы... Конгениальны они и по праву возглавляют великую русскую литературу, христианскую в основе. Справедливости ради скажем, что московский профессор В.И.Кулешов удачно парировал красивый афоризм американца Роберта Беллэпа, бросившего, что в "Братьях Карамазовых" — "Христос приходит в Севилью, а не в Скотопригоньевск". Возражено так: "это несколько не мешает жарко молиться Христу... а главное, восстать на инквизицию, католицизм, не довольствуясь "хлебом" и "зрелищами". Он и должен был прийти в Севилью, там — извращение христианства. Для Достоевского это принципиальный вопрос". Кстати, Кулешов же убежден, что "Смерть Ивана Ильича" и "Посмертные записки старца Федора Кузьмича" — это у Толстого "записки из подполья" наоборот. Правда, предлагаемый советским ученым критерий — "был таким, а стал другим" — довольно поверхностен, хотя конечная точка очень даже правдоподобна: от осознания — к "подполью" — покаянию праведному; в этом контексте "нормальная" жизнь объявляется тем, из чего *"пора всем выйти*, как "из мрака заблуждения", выражаясь стихом Некрасова. Так что право-левая шагистика — по Маяковскому — не меняет сути ничуть за разнолагерностью собеседников. Особенно в искусстве именно так. И вряд ли стоит сгущать подозрением краски, топтать ростки к свету вольному. Говорю о том, что не за "диверсантов" идеологических большинство русских на Западе справедливо принимает выходцев знаменитых *оттуда*. Вот и если бы талантливейший Валентин Распутин пожаловал к нам, нашлось бы о чем поговорить для общей пользы — хотя бы о теме праведного суда: усилил, кажется, Гоголя ("Страшная месть"), ибо автор "Живи и помни" устранился от самосуда над людьми-братьями. Социальная окраска-ярлык ("трус", "предатель", "герой" и т.д.) — это зады вчерашних линейных измерений, перемещающихся показателей, заданных уставных схем. Зазвучало подспудно, что к а ж д о м у дано дыхание, которое легко прервать и которое невозможно восстановить. Какие тут "потуги сатанизма"?!

Сказанное вовсе не отменяет мужества, напротив! Но нейтральная правда — это когда не стыдно смотреть в глаза ребенку. В это верил Толстой. И если иной раз кажется здоровым окружающим, что правда, вроде бы, "свое взяла", то москвич Юрий Нагибин возгласом больного героя Ко-

зырева ("На кордоне") немедленно останавливает ложь: "Нет!.. одна неправда одолела другую..."; был блатной успех, а не торжество Правды. И решение: "Надо прогнать из себя страх... выполнить себя до конца". Так Нагибин, отталкиваясь от Толстого, коснувшись незаметно для себя "Ракового корпуса" (об этом он услышал впервые от меня недавно в Чапел Хилле — Е.В.), да и, пожалуй, "Нового назначения" Бека, — на вопрос моего студента о вере ответил ясно: "Человек без Бога в душе вряд ли человек". Ну какая тут "пропаганда"?! Жить со своей совестью можно только вследствие твердых и ясных религиозных убеждений. Так что "не троньте музыку руками!"

Поучителен пример. В статье "Страх Божий и любовь к человечеству" К. Леонтьев разбирает "Чем люди живы" Толстого и не находит ни высшей гениальности, ни настоящей святости — якобы потому, что Толстой-де слишком подчеркивает значение человеческой любви к ближнему и недостаточно в рассказе крестьяне боятся Бога. Посему, это-де "розовое христианство" Жорж Санд, сен-симонистов и других. К слову, Леонтьев и Достоевского считал "розовым" христианином. "Начало премудрости (т.е. настоящей веры) есть *страх*, а *любовь* только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом..." — утверждал он. Но не за Леонтьевым пошла русская литература.

У страха глаза велики ("лучше быть красным, чем мертвым!") и ненадежно на него полагаться. То ли дело — доброта. Вот и Анатолий Гладили в статье о Борисе Полевом так и заявляет с самого начала: "Не будем разделять людей на "наших" и "не наших", не будем придерживаться принципа — дескать, если человек в другом идеологическом лагере, значит, он обязательно сволочь. *Это принцип советский...*" И стоит за принцип, иллюстрируя его состоятельностью метаморфозой американского писателя Говарда Фаста: "...разуверился... и, так сказать, перешел в другой лагерь". Зачем же так неукоснительно придерживаться "лагерной" терминологии в чутком вопросе о доброте? Да, конечно, все это так, но для писателя врагом №1, "козлицами", как, помнится, окрестил их Мандельштам, были и остаются враги вольного слова. Это может быть не только суровым режимом, но и неполноценным собеседником... Разговорная речь, по мнению поэта, "настроена примиренчески и определяется расплывчатым благодушием, т.е. оппортунизмом". Смотрите как беззаконно-кометно слово, как "ничей брат", как космополит, как просто человек: "Разве вещь, — вопрошает Мандельштам, — хозяин слова? Слово Психея. Живое слово не обозначает предметы, а *свободно выбирает*, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела". Но гражданин в поэте сознает, что культура голодная — военный лагерь, и слово — в оппозиции к государству, отделившему вместе с церковью историческую культуру и дух святынь от себя. Мандельштам пишет: "Произошло отделе-

ние церкви-культуры от государства... старый мир... жив более чем когда-либо. Культура стала церковью..."! И поэт призывает *сострадать государству*, отрицающему слово. Война вечная — в поэзии, а в гражданской поэзии — вынужденная терпимость. И задача высшая: "Кто поднимет слово и покажет его времени, ...будет вторым Иисусом..." Но "поэтика гражданской поэзии — искание узды", а "обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю столь же неблагодарная задача, как попытаться усесться на кол" ("Россия", 1922, №2)! То-то и оно... Так что вряд ли следует "усиливать" могущество искусства привеском обязательно-"лагерным". Позиция — точка в абстрактном пространстве, в мироздании; не она сама по себе, а помыслы к Богу определяют значение творений. Кому неизвестно "социально-политическое убожество" Гете? Его засвидетельствовал еще Людвиг Бёрне в горьких укоризнах: "Мне уважать тебя! За что?... Тебе дан был великий ум, боролся ли ты когда-нибудь с низостью? Небо даровало тебе огненный язык, защищал ли ты когда-нибудь право? У тебя был хороший меч, — но ты был всегда только своим собственным стражем". Прочтя дневник Гете, Бёрне писал: "такой другой сухой и безжизненной души не может существовать в мире, и нет ничего изумительнее того чистосердечия, с каким он выставляет напоказ свою бесчувственность". Бёрне по-своему прав: роль зрителя политической борьбы казалась ему омерзительной и недостойной великого поэта. Но не должно ли было эстетическое чувство самого Гете придти в конфликт с его бесцветной позицией в социуме? Вот что отвечает на это поэт: "Писать воинственные песни и сидеть самому в четырех стенах...; писать их на бивуаках, слушая ржанье коней на неприятельских форпостах, — это было бы в моем вкусе. *Но не такова моя жизнь и не таково мое дело...* Я не обладаю ни воинственной природой, ни пониманием воинственного духа, и у меня воинственные песни представляли бы только маску, которая очень не шла бы к моему лицу. Я никогда не был аффектирован в своих произведениях." Так Гете не только сознает свою социальную индифферентность, но даже и гордится ею: никакого "конфликта" нет — напротив, художник в полном согласии с собой.

Неправильность жизни художника, нарушающая все законы, составляет высшую мораль. Гейне в ответ на заявление Менцеля, что у Гете "три вида личного тщеславия и шесть видов чувственности", и что "талант" Гете по самому существу своему и внутренней устойчивости похож на "гетеру, отдающуюся всякому", — остроумно заметил: подобное мнение найдет себе последователей только среди дураков и "даже эти дураки должны будут признать, что Гете всё же имел талант быть гением". Поэт, "для тебя закона нет!" (Пушкин). Но, однако же, опасение, как бы "Каин эстетика" не убил брата своего — этику и политику — есть. Но это специальный вопрос.

Свобода воли, — говорил И.Лашин, — дает себя чувствовать нам, по выражению Бергсона, в "торжественные моменты" нашей жизни, от которых зависит вся наша дальнейшая судьба. В это время проявляется подлинный моральный характер человека, делается вполне очевидным, кто он такой по натуре: великий герой, просто порядочный человек, или презренный моллюск, лишенный всякой собственной инициативы. Нельзя считать безучастного к политике просто порядочного человека по-бойцовски "автоматом добродетели", а интеллект человеческий уподобить, по Грималь-парцеру и Шопенгауэру, бессильному паралитику, сидящему на плечах слепого гиганта. А попытка призывать человека к перемене натуры — вряд ли осуществима...

Но есть Божий Суд. И еще утешает то, что в России никогда не было в чистом виде искусства для искусства. "Я пришел дать вам волю" — сказал Шукшин, совсем по-разински: "... Я пришел дать всем... свободу и избавление... *будьте только мужественны и оставайтесь верны*". Разин судом идет на неправду. Но кровавый разинско-декабристский путь — истреблять "кого следует" (кажется, и в "Записках из подполья" усматривается в некоторых видах кровопролития справедливость), как и "самобманный" способ постепенцев, — не принял Толстой, предложивший взамен этих двух ошибочных — третье: простое, спокойное, правдивое исполнение того, что считаешь хорошим и должным, совершенно независимо от правительства. Или другими словами: отстаивание своих прав разумного и свободного человека, без всяких уступок и компромиссов. Пользуясь удачной ассоциацией Романа Гуля, позволю себе обобщить главный смысл отклика моего на злобу дня: советский чай не непременно жиденький. Он может быть с подлинным знаком качества, как и китайский, впрочем. Нравственность есть Правда, — говорил Шукшин, характерный для духа времени и именем своим, ибо Шукша — не есть ли такое божество, которое неотлучно пребывает между людьми, примечая действия каждого человека, записывая его пороки и добродетели и тотчас относя оные Богу? Число Шукшей, по мнению Черемис, многочисленно.

## П. БОРИСОВ

### АМЕРИКАНСКАЯ КЛАССИКА

Не день, а век. Журнальный небожитель  
Бессмертен и неразложимо прост,  
Когда в рекламе райская обитель  
К материи протягивает мост.

Под это небо неподвижных звёзд  
Вслед за Плутоном лезет потребитель.  
Но Голливуда ангел и хранитель  
Земных желаний сдерживает рост.

Моя любовь бесспорно идеальна,  
Искусство не тактильно – визуально,  
И муви-стар прошла земной предел.

Нас разделяет медленная Лета.  
И бедный рыцарь в титрах разглядел,  
Что вечность – целлулоидная лента.

## С. ТОЛ

### БЕГСТВО ИЗ ГОРОДА

Пересекаю узкий двор.  
С домашней утварью прощаюсь.  
Соседу,  
Наспех,  
Улыбаюсь  
И заминаю разговор.  
И с лёгким вздохом – вдаль, туда,  
туда,

Где поутру не будит топот,  
Где речки слышен тихий рокот  
И ярко-красная – звезда.  
Над лесом – чистота небес,  
И запах трав стоит медвяный,  
И месяц, будто оловянный,  
Прошил насквозь  
Лучами лес.



ФРАНЦ КАФКА

### ДОКЛАД В АКАДЕМИИ НАУК

Достопочтенные члены Академии!

Вы удостоили меня приглашения изложить в Академии отчет о моей прежней обезьяньей жизни.

К сожалению, я не могу полностью удовлетворить ваше желание. Почти пять лет отделяет меня от той жизни — время, возможно, незначительное по календарю, но бесконечно длинное для того, чтобы пронестись галопом, как это сделал я, сопровождаемый превосходными наставниками, хорошими советами, аплодисментами и оркестрами, но, в сущности, будучи одиноким, так как все те, кто сопровождал меня, желая оставаться в центре внимания, держались далеко от моего курса. Это намерение было бы невозможно осуществить, если б я старался удержать в памяти свое воспоминания о своем происхождении и детстве. Именно отказ от упрямства был наиболее важной заповедью, которую я дал самому себе; я — свободная обезьяна, подчинил себя этому игу. Посему моя память о прошлом, как бы мстя, всё больше замыкается от меня. Вначале, если б люди этого хотели, я бы мог вернуться назад теми сводами, которые небеса простирают над землей, но по мере моего движения вперед по предназначенному направлению, отверстие в сводах всё снижалось и суживалось; удобнее и приспособленнее чувствовал я себя в людском мире; буря моего прошлого, которая свирепствовала прежде, постепенно утихала; сегодня это только легкий ветерок, прохлаждающий мои пятки, а отверстие вдаль, через которое я однажды прошел, стало таким маленьким, что я, если б даже мои силы и желание были достаточны для достижения его, неминуемо содрал бы кожу, пролезая через него. Говоря откровенно, поскольку я стремлюсь выразиться образно для представления моего дела, — итак, откровенно говоря: ваша обезьянья жизнь, господа (если что-то в

этом роде есть в вашем прошлом), не может быть отстранена от вас, так же, как и моя от меня. Пятки чешутся у каждого, кто ходит по этой земле: как у маленького Шимпанзе, так и у великого Ахиллеса.

В каком-то смысле я, возможно, смогу удовлетворить ваш интерес, и сделаю это с большим удовольствием.

Первое, чему я научился, — это рукопожатие; оно предвещает искренность, откровенность; и вот сегодня, достигнув вершины своей карьеры, я надеюсь добавить искренность в слова к тому моему первому рукопожатию.

То, что я расскажу, не представляет ничего нового для Академии и этого недостаточно в сравнении с тем, что от меня требуется, и чего я, при всем моем желании, не могу сообщить, но, несмотря на это, важно указать то направление, которому бывшая обезьяна, попавшая в человеческий мир и упрочиная себя в нем, должна была следовать.

Всё же, я бы не рискнул рассказать даже о тех незначительных событиях, которые изложу вам, если б я не был уверен в себе, и если бы мое положение на всех больших сценах варьете цивилизованного мира не было бы абсолютно устойчиво. Я — уроженец Золотого Берега. Как я попал в плен, я узнал из рассказов других. Охотничья экспедиция, посланная фирмой Хагенбэк, — кстати, с главой этой экспедиции я с тех пор осушил немало бутылок хорошего красного вина — заняла позицию в кустах у берега в то время, когда я, с группой обезьян, побежал вечером на водной. Раздались выстрелы. Я один был ранен двумя пулями. Одна попала в щеку — незначительная рана, но она оставила большой, голый, красный шрам, из-за которого меня прозвали Красный Питер, — ужасное имя, крайне не подходящее; его могла придумать только какая-нибудь обезьяна, как будто разница между мной и недавно издохшей, мало известной, дрессированной мартышкой Питером заключается только в этом красном пятне на щеке. Но это — только между прочим.

Второй выстрел угодил мне ниже пояса. Это была тяжелая рана, от нее я и доныне немного хромаю. Недавно я читал заметку одного из десяти тысяч пустомелей, которые обо мне высказываются в газетах: моя обезьянья натура еще не обуздана, доказательством является то, что когда посетители приходят ко мне, я с готовностью спускаю брюки, желая показать им, куда попала пуля... Чтобы тому малому, на его, писавшей это руке, отстрелили все пальчики — один за другим!.. Я, именно я, могу спускать брюки, перед кем я пожелаю: не увидишь там ничего, кроме выхленной шерсти и шрама — здесь я должен подобрать особое слово для этого особого случая — шрама от произвольного выстрела. Всё в нем на виду, скрывать нечего; когда дело идет об истине, великие умы пренебрегают изяществом и деликатностью. Вот если бы писавший обо мне вздумал спустить брюки перед посетителем, это уже совсем другое дело: я бы предложил во имя приличия не делать этого. И пусть он отвяжется от меня со своими деликатностями!



После тех двух выстрелов я пришел в себя — с этого момента начнутся мои собственные воспоминания — в клетке, между ярусами парохода Хагенбэк. Это не была четырехсторонняя клетка; всего лишь трехсторонняя, приколоченная к рундуку, который составлял четвертую ее сторону. Она была слишком низкая для меня, чтобы стоять, и слишком узкая, чтобы сидеть. Итак, я должен был присесть на корточки, мои колени вечно дрожали, лицом я был обращен к рундуку, очевидно потому, что я не желал никого видеть и оставался в темноте, а решетка клетки врезывалась мне в заднее место. Такой способ содержания зверей в первые дни плена считается выгодным. Исходя из моего опыта, я не могу отрицать, что с человеческой точки зрения это, действительно, так.

Но тогда это не приходило мне в голову. Я очутился в безвыходном положении первый раз в жизни. По крайней мере, прямого выхода не было; прямо передо мной был рундук — доски тщательно пригнаны одна к другой. Правда, между досками было одно отверстие, увидев которое, я завопил от наивной радости, но через него даже хвоста нельзя было просунуть, и всеми своими обезьяньими силами я бы его не расширил.

Как мне было потом сказано, я едва издавал звуки, из чего последовало заключение, что я или скоро подохну, или если переживу критический период, то буду очень податлив в тренировке. Я пережил этот период. Безнадежные рыдания, болезненное гонение за блохами, апатичное лизание кокосового ореха, ударение головой о рундук и показывание языка каждому, кто приближался к моей клетке, — такими занятиями я заполнял первое время моей новой жизни. Но сверх всего было одно чувство: нет выхода. Конечно, мои тогдашние обезьяньи чувства, я сейчас могу выразить только человеческими словами, и поэтому я их искажаю, но, хотя я и не смогу достигнуть своей старой обезьяньей правды, она всё же не далека от моего описания, в этом не может быть сомнения. Раньше у меня было так много выходов, а теперь — ни одного. Я был узником. Если бы меня даже приковали, мои движения все равно не уменьшились бы. Почему так? Хоть раздери себе кожу между пальцами на ногах, ответа не найдешь. Нажимай на решетку спиной, пока она тебя не перережет пополам, ответа не найдешь. У меня не было выхода, но я должен придумать его, без этого я не мог жить. Все время я был обращен только к рундуку. По правилам на Хагенбэк, место для обезьян и есть только перед рундуком — значит, я должен перестать быть обезьяной. Прекрасная, ясная мысль, которая как-то возникла у меня благодаря желудку, так как обезьяны думают желудком.

Боюсь, что меня не поймут, что именно я имею в виду под словом "выход". Я употребляю это слово в его обычном и полном значении. Я намеренно не говорю "свобода". Я не имею в виду это сильное всестороннее чувство свободы. Будучи обезьяной, очевидно я знал его и встречал людей, которые тосковали по нему. Но что до меня, то я не желал свободы ни тогда, ни сейчас. Кстати, свободой довольно часто обманываются

среди людей. И потому, что свобода причисляется к самым величественным чувствам, соответствующий обман считается тоже величественным.

Часто в театрах варьетэ, перед своим выступлением, я наблюдал пару каких-нибудь акробатов, упражняющихся на трапеции высоко под крышей. Они раскачивались вперед и назад, прыгали в воздух, бросались друг другу в руки, один держал другого за волосы. "Это тоже человеческая свобода", — думал я, — "самодовлеющее движение". Какая насмешка над Святой Природой!

Никакое здание театра не устояло бы от раскатов смеха обезьян при виде такого зрелища.

Нет, свободы я не хотел. Только выхода — направо, налево, или в любом направлении; я не требовал ничего другого; пусть выход будет иллюзией; требование небольшое и разочарование было бы небольшим. Выход, какой-нибудь выход!.. Только не стоять на месте с поднятыми руками, прижатым к рундуку... •

Сегодня я вижу: без глубокого внутреннего покоя я бы никогда не нашел выхода. И, действительно, может быть, всем, чего я достиг и чем я стал, я обязан только покою, которым наполнилась моя душа после первых дней моего пребывания на пароходе.

Но за этот покой я все же признателен людям на пароходе. Это были хорошие люди, несмотря ни на что. Я охотно вспоминаю отзвуки их тяжелых шагов, которые отдавались в моей полусонной голове. У них была привычка делать всё как можно медленнее. Захочется кому потерять глаза, он поднимает руку, как подвешенный груз. Их шутки были грубые, но искренние. Их смех всегда был смешан с резкой, опасной, но ничего не значащей интонацией. Им всегда хотелось что-то выплюнуть, а куда они плюют, им было безразлично. Они всегда жаловались, что мои блохи переселяются к ним, но все же они никогда не злились на меня; они знали, что в моей шерсти блохи благоденствуют, и что блохи прыгают; это было для них совсем ясно. В свободное время некоторые из них садились полукругом возле меня; почти не разговаривая, — лишь ворча слегка друг на друга; курили трубки, растянувшись на ящиках; хлопали по коленям, едва я делал малейшее движение; иногда один из них палкой чесал меня там, где мне было приятно. Если бы сегодня мне предложили поехать на этом пароходе, я бы наверняка отказался, но также верно и то, что не только плохие воспоминания остались у меня от моего пребывания там, на пароходе.

Покой, который я обрел между этими людьми, больше всего удерживал меня от попытки побега. Размышляя об этом сейчас, мне кажется, я предчувствовал, что должен найти выход, если я хочу жить, и что этот выход не заключается в побеге. Я не знаю сейчас, был ли побег возможен, но я верю: обезьяне побег всегда будет возможным. С моими зубами сегодня я должен быть осторожен, раскалывая даже обыкновенные орехи, но тогда мне наверняка удалось бы постепенно перегрызть дверной за-

мок. Я этого не сделал. Чем бы это мне помогло? Высунь я только голову, меня бы поймали и заперли в еще худшую клетку; или я бы мог незаметно перебежать к другим животным, например, питонам, которые находились напротив меня, и они удушили бы меня в своих объятьях; или — представим себе — я бы незаметно добрался до палубы и прыгнул за борт. Совсем недолго колыхался бы я на волнах, а потом утонул бы. Безнадежное положение. Тогда я не рассуждал так по-человечески, но под влиянием моих обстоятельств, я действовал, как будто бы я так думал.

Я не рассуждал, но преспокойно наблюдал за всем. Я наблюдал, как люди ходят взад и вперед — всегда те же самые лица, те же движения; часто мне казалось, что это был один единственный человек. Этот человек, или эти люди, действовали беспрепятственно.

Возвышенная цель проявилась в моей голове.

Никто не обещал мне, что если я стану таким, как они, решетка моей клетки будет отодвинута. Такие обещания, по явной невозможности исполнения, не даются. Но если невозможное достигается, обещания являются явными именно там, где их в прошлом тщетно добивались. Так вот, в этих людях не было ничего, чем бы я очень увлекался. Если бы я был сторонником упомянутой выше свободы, я бы предпочел морскую стихию тому выходу, который представлялся мне в угрюмых взглядах этих людей. Во всяком случае, я наблюдал за ними задолго до того, как я начал думать об этом. Именно мои многократные наблюдения влекли меня к определенному выбору.

Очень легко подражать людям. Плывать я научился уже в первые дни. Обычно мы плевались в лица; разница была только в том, что я на́чисто облизывал свое лицо, а они нет. Трубку вскоре я курил, как опытный курильщик; если я нажимал большим пальцем на чашу трубки, вой одобрения раздавался между ярусами; мне только долго не удавалось понять разницу между пустой и набитой трубкой.

Самое большое затруднение было у меня с бутылкой шнапса. Ее запах отвращал меня; всеми усилиями я принуждал себя к ней, но прошли недели, прежде чем я преодолел отвращение. Эту внутреннюю борьбу люди восприняли гораздо серьезнее, чем что-либо другое во мне. Даже в своих воспоминаниях я не различаю людей, но был один из них, который часто приходил — один или с друзьями — днем и ночью, в разные часы. Он становился напротив меня с бутылкой и давал мне инструкции. Он не понимал меня, но хотел разгадать загадку моего существа. Он медленно распечатывал бутылку и потом смотрел на меня, чтобы проверить, понимаю ли я; надо сказать, что я смотрел на него с диким и пылким вниманием — такого ученика человечества не найти на всей земле; после того, как бутылка была распечатана, он подносил ее ко рту; я старался увидеть глубину его горла; кивая головой в знак одобрения, он прикладывал бутылку к губам; я, увлеченный своей полной осведомленностью, взвизгивал, почесываясь вдоль и поперек, как полагалось; он радовался, накло-

нял бутылку и делал один глоток; я, в нетерпении и отчаянии, что не успею за ним, пачкался в своей клетке, что опять доставляло ему громадное удовольствие, и вот он взмахивал высоко бутылкой и, поднося и перегибаясь назад, чтобы лучше показать мне, залпом выпивал ее до дна. Я, изнуренный усиленными стараниями, уже не мог больше следить за ним и слабо висел на решетке клетки, а он, закончив таким образом свой теоретический урок, ухмыляясь, поглаживал себя по животу.

Потом началась практика. Не изнурился ли я уже теорией? Конечно, очень изнурился. Такая уж моя судьба. Несмотря на это, я хватаю протянутую мне бутылку как можно крепче; дрожа, распечатываю ее; этот успех придает мне новые силы; я поднимаю бутылку, почти так же, как он, прикладываю ее к губам и — и с отвращением бросаю, — с отвращением бросаю ее на пол. Это очень огорчало моего учителя, да и меня самого. Мы оба не утешались тем обстоятельством, что я, бросив бутылку, не забывал восхитительно погладить себя по животу и ухмыльнуться.

Моя тренировка слишком часто заканчивалась именно так. К чести моего учителя будь сказано, он не сердился на меня; правда, иногда он прикладывал горящую трубку к моей шерсти в тех местах, где я затруднялся достать, и она начинала глеть, но потом он сам тушил ее своей громадной доброй рукой; он не сердился, он сознавал, что мы оба ведем борьбу против обезьяньей натуры, и что моя доля гораздо труднее. И какая это была победа для него и для меня, когда однажды вечером, перед большим кругом зрителей — (очевидно был какой-то праздник — играл граммофон, офицер расхаживал между людьми) — когда я в этот вечер, никем не замеченный, достал бутылку шнапса, по оплошности поставленную кем-то против моей клетки, мастерски распечатал ее, вызывая возрастающее внимание публики, поднес к губам и, без всякого колебания, не скривившись, вращая глазами, как опытный пьяница, по-настоящему, во всю глотку, выпил ее до дна, бросил на пол, но не с досадой неудачника, а как мастер своего дела; я даже забыл погладить себя по животу, но вместо этого, так как я не мог иначе, потому что был напряжен и в голове кружилось, произнес краткое, но правильное "Алло!" человеческим голосом; на этот зов в обществе людей откликнулось эхо: "Слушайте, он говорит!" — оно прошло, как поцелуй, по всему моему вспотевшему телу.

Повторяю: я не был увлечен подражанием людям; я подражал им лишь потому, что я искал выхода, а не по какой-то иной причине. Даже эта победа мало что принесла. Человеческий голос сразу же отказал мне; он опять появился только спустя несколько месяцев, а мое отвращение к шнапсу стало еще сильнее. Но раз и навсегда мне стало ясно мое направление.

Когда в Гамбурге меня передали первому тренеру, я скоро осознал две возможности, которые часто представлялись мне: Зоологический сад или варьетэ. Я не колебался. Я сказал себе: приложи все силы, чтобы по-

пасть на сцену; это и есть выход; зоологический сад — это только новая клетка, попадешь в нее — пропал. И я научился, господа. Ох, научись, когда должен; научись, когда ищешь выхода; научись любой ценой. Можно над самим собой стоять с кнутом, сечь себя при малейшем сопротивлении. Моя обезьянья натура кубарем из меня выскочила — так, что даже мой первый учитель сам почти стал обезьяной из-за нее и скоро перекратил обучение, потому что был отправлен в психиатрическую клинику. К счастью, он скоро оттуда вышел.

Но мне требовалось много учителей, даже несколько одновременно. Вскоре я стал увереннее в себе, публика следила за моим прогрессом, мое будущее стало просветляться, я сам выбирал учителей. Я размещал их в пяти комнатах, которые были соединены между собой, и перебегаю из одной в другую, я брал уроки у всех одновременно.

Вот прогресс!.. Вот внедрение лучей знания со всех сторон в проснувшийся мозг! Я не отрицаю: это меня осчастливило. Но я должен заметить: я не переоценил прогресса ни тогда, ни тем более — теперь. Благодаря усилию, до сих пор не превзойденному на земле, я достиг культурного уровня среднего европейца. По-своему, это может быть совсем незначительно, но все-таки это важно тем, что помогло мне освободиться из клетки и открыло для меня особый выход — выход в люди. Есть замечательная поговорка: пройти сквозь огонь и воду; это то, что я сделал: я прошел сквозь огонь и воду. У меня не было другого выхода, имея в виду одно — свобода не была моим выбором.

Передумывая свое развитие и его цели, я не нахожу в себе ни ропота, ни удовольствия. Руки в карманах, вино на столе; полулежа, полусидя в качалке, смотрю в окно. Приходит посетитель, принимаю его, как полагается. Мой импрессарио сидит в приемной; позвоню — он входит и слушает, что у меня есть к нему. Вечером почти всегда у меня выступление, и мои успехи едва ли можно увеличить. Прихожу домой поздно вечером с банкетов, научных приемов — меня ждет полутренированная маленькая шимпанзе, и я утешаюсь ею по-обезьяньи. Днем я не могу на нее смотреть; ее глаза выражают недоумение полунормального дрессированного животного; только я понимаю этот взгляд и не могу его переносить. В общем, однако, я достиг чего хотел. Не говорите, что это не стоило стараний. Во всяком случае, я не желаю суждения людей, я хочу расширить пределы знания, я лишь информирую. Итак, почтенные члены Академии, я закончил для вас мой доклад.

*(Перевод с немецкого ТАТЬЯНЫ ПРОКОПОВОЙ)*

ТАТЬЯНА ФИЛАНОВСКАЯ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

*"И девочку укутавши платком,  
Сковзь мрак немой ни зги не видя,  
Царапаю, на ледяном топчане сидя,  
В морозной полумертвой тишине  
Все то, что муза продиктует мне..."*

Как должен выглядеть дом? То временное жилище, где мы подолгу живем прежде, чем перейти в дом вечный. Обставлять его модной мебелью? Вешать дорогие занавеси на его окна? Покупать ему ковры, чтоб утопала в них нога, а глаз отдыхал на зелени, подступившей к стеклам?

Наверно, это счастье — иметь свой дом и сад посреди своей страны, в вольном пространстве родного языка. Теплота традиций, уютность привычек. Счастье родства, кровной близости, общности интересов. Все мы родом из детства, но есть еще Родина и родня. Плотность единственно возможного бытия в звездной оболочке духовности. Географическое название на карте мира, начало координат, твой вечный земной адрес, поэтические и биологический код.

И если граница между посторонними физическими телами очерчена довольно четко, то между родственными душами она исчезает совсем.

Между мной и мамой не было границ. Над нами был тот закопченный послеблокадный потолок, на котором светлый круг от лампы на письменном столе. Темное пятно маминой спины в светлом нимбе стола, когда нас только двое неспящих в мире — мама и я. У меня пресная пустота никелированной кровати с шариками, куда положено уходить маленьким детям с наступлением темноты. У нее яркая даль стола. Разбег и полет.

Я не сплю. Я наблюдаю игру света и тени на потолке, мамину спину, стол у окна. Там творится мамина жизнь, что-то главное для нее, чему она предана больше, чем мне, к чему я неосознанно ревную. Это наша тайна ночная, за которую я люблю маму еще больше, чем прежде. И горжусь. Впрочем, я еще не знаю, что значит гордиться.

Много позже и мне открылась эта ширь стола, эта обманчивая ночная зыбь у невидимых берегов. Бесценный подарок, полученный от мамы впридачу к жизни, которую она мне подарила.

Дом Детства. Магнит, притягивающий. Не чистота жилища — чистота отношений. А в доме книжный шкаф с зелеными занавесками. Там только книги стихов. Многие с автографами. Мама знала авторов. Шепотом: "Его расстреляли в тридцать седьмом", или — "Последний раз я видела ее в доме писателей на улице Воинова сразу после войны". Шкаф, как и стол, наш секрет. Про него — ни слова моим подружкам во дворе...

Атом — это вселенная. Есть ядро и электронная оболочка. Заряженная электричеством условная поверхность, удерживаемая положительным зарядом ядра. Разве наш культурный мир не похож на эту модель? Посредине материальная нутряная жизнь, как она есть: "Хлеб наш насущный дасть нам днесь". А над ней звездное небо искусства. Сонм светил.

Из теплоты детства, за руку, чтоб нестрашно, ты ведешь меня, мама, а над нами крупные белые звезды. Они соединяются в созвездия, ибо гиганты рождаются не по одиночке, а выплескиваются в мир сразу. Точка, точка, тире, точка, пауза и опять — тире, точка, точка — сгустками энергии, светом звезд стекает вниз нерасшифрованная скоропись Творца. Может быть, Он посылает их в мир тогда, когда люди окончательно сбились с пути, чтобы подкорректировать траекторию. А потом надолго воцаряется тишина, прерываемая шепотком мышиной возни.

И все-таки это наше небо, которое не выбирают, и игра созвездий на нем, понятная только нам! Гумилев, Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Георгий Иванов...

С молоком матери, млечным путем надежд, на заряженную электричеством поверхность неба! А жизнь внизу с зелеными долинами ее радостей, с горными цепями ее неудач, с черным провалом смерти в самом конце, когда падением палочки невидимого дирижера гаснет музыка и замолкает свет.

И мне казалось: разве  
Стемнеет над рекой,  
И ночь сотрет все краски  
Безжалостной рукой?

Я не могу поверить,  
Чтоб озеро средь дня  
Волну несло на берег  
Уже не для меня,

Чтоб лес с весенним лугом  
Не снились мне во сне,  
И чтобы сердце друга  
Не радовалось мне!..

Думала ли ты когда-нибудь, мама, что есть на земле этот город, этот Эд-мон-тон? Новенький, безликий, как пахнувший свежей стружкой сруб, на берегу холодной реки Северный Саскачеван. Маленькая наша

квартирка, где всё не свое. Не дом — брезентовая палатка в степи. Думала ли ты, мама, что это твой последний земной дом и последний адрес?

В неустроенности эмиграции, в разрыве непрерывности бытия вспоминала поезда эвакуации, войну, близких.

Как наш Дом далеко, за огнями, за дымом,  
За пожаром сражений, по горло в снегу.  
Но он есть, он живет, он неопровержимо  
Дышит ветром на невском своем берегу.

За окном занимается вечер угрюмо.  
Как темно, только звезды не затемнены.  
Можно думать... Ну мало ли что можно думать  
Зимним вечером третьего года войны...

А земля эта — Канада, просторная и снежная. Но тесен чулан чужого языка. Под небом чужих созвездий ты умерла, мама.

И твоя молодость, твоя жизнь, отдельные уже от тебя, вернее даже и не жизнь сама, а ее проекция на тетрадь, восходит ко мне стихами:

Качает черемуху ветер,  
Горит молодая луна.  
Сквозь нежные сильные ветви  
Звезда голубая видна.

И все, что казалось забытым,  
На самом схоронено дне,  
Бесстрастием времени скрыто  
Опять воротилось ко мне.

\* \* \*

А память суровой походкой  
Нанижет событий кольцо.  
Я вспомню в холодной решетке  
Твое молодое лицо.

Платформу, слепые вагоны  
С надвинувшейся темнотой,  
Медлительный, настороженный  
У стен молчаливый конвой...

Неизданная книга "ДОМ". Где-то еще не убраны стропила, не вывезен строительный мусор, а под стрехой уже живут ласточки. Твой дом, мама, где в планировке комнат, в лепке потолка — безжалостный почерк эпохи, исказившей нас. Время обкатывает, не убережется.

Что бывает после жизни? Длинный темный туннель. Страх перехода в трепете вечности, когда дымится к небу душа, а сердце больше не бьет-



ся. А потом блаженство простора и света. Рай. Возвращенные из клинической смерти уверяют, что именно так выглядела дорога в царство мертвых. Но ведь это начало, первые шаги. Потом их оживляли, и дальше нога живых не ступала.

Темнота туннеля, разрыв непрерывности, лезвие утраты. Теряя маму, я еще раз теряю дом и Родину...

Рукопись на столе. Мамин "Дом". Оттуда звучит ее голос:

Если знать пожелаешь,  
где я,  
Ты спроси  
У Кассиопеи.

Все расскажет  
Кассиопея:  
Что я делаю,  
С кем я,  
Где я...

Выхожу на улицу. Это и не улица в привычном понимании, а пустое луговое пространство, перечеркнутое слепящей вереницей фар. Снег перестал. Тишина прибита к фонарным столбам. Сумерки. Ни души. На той стороне луга огни чужих домов. Надо мной в младенчески ясном небе Эдмонта — перевернутое английское дабль-ю Кассиопеи...



ТОМАС ХАРДИ (1840 – 1928).

ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ

– Что смотришь ты пристально так? – я спросил  
прохожего, что у могилы застыл,  
как будто бы нету других здесь могил...

– Иль душу ты хочешь её оживить,  
чтоб снова могла на земле она жить,  
страдать, огорчаться, любить?..

– Безумец! Конечно, хотелось бы мне,  
чтоб голос её прозвучал в тишине,  
но это возможно лишь только во сне.

– Так, значит, она была тою одной,  
за кем ты пошёл бы и в стужу, и в зной,  
она была солнцем твоим и луной?

– О, нет! Эту женщину я не любил,  
и ею при жизни едва ль дорожил,  
но горя немало я ей причинил.

ДВОЕ

Когда бы нас судьба свела  
в таверне старой, за столом,  
за наши мирные дела  
мы с ним бы выпили вдвоём.

Но мы сошлись в недобрый час,  
и на прицел его я взял.  
Мы обы выстрелили враз,  
и он убит был наповал.

В него стрелял я потому,  
что назывался он – мой враг.  
Здесь споры вовсе ни к чему,  
без споров ясно всё и так.

Всё распродав, что есть при нём,  
он безработный был, как я.  
И оказался под ружьём —  
как сотни тысячей вояк.

Чудное дело — воевать!..  
Да, я, как все, спустил курок.  
Того пошёл я убивать,  
кто лучшим другом мог мне стать!

*(Перевод с английского)*

АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ

### ПЕСНЯ

Я слабому сердцу сказал своему:  
— Ужель недостаточно милой одной?  
Зачем их меняешь одну за другой?  
К чему распылять свои чувства, к чему?..

Ответило сердце: — Неправ ты, о нет!  
Совсем недостаточно милой одной!  
Затем их меняю одну за другой,  
Что в радостях прошлых есть сладостный след...

Я слабому сердцу сказал своему:  
— Ужель не хватает печали одной?  
Зачем их меняешь одну за другой?  
К чему тебе новая горечь, к чему?

Ответило сердце: — Неправ ты, о нет!  
Совсем не хватает печали одной.  
Затем их меняю одну за другой,  
Что в горестях прошлых есть сладостный след...

*(Перевод с французского)*

## НЕСКАЗОЧНОЕ КОРОЛЕВСТВО

*Памяти Ирины Сабуровой*

Книга Ирины Сабуровой "Королевство" издана в 1976 году в Мюнхене, и поэтому ее запрещено читать по ту сторону занавеса, где у нее были бы миллионы читателей. Здесь же, как писала Ирина Сабурова в предисловии к этой своей последней книге, у эмигрантского писателя возможностей издаваться почти нет, а читателей, да еще покупающих книги, — очень немного. Во всяком случае, так было до появления новой эмиграции, и я хочу обратить внимание свободного русского читателя на поистине замечательного писателя, как-то почти обойденного рекламой.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы критика вовсе не замечала книг Ирины Сабуровой, но она почему-то не могла справиться с ними. В рецензии Э.Бобровой на "Королевство" ("Современник", № 33–34) собственно разбору книги, к сожалению, посвящено ровно девять банальных строчек. Больше содержания в рецензии Т.Петровской в "Новом Журнале" (№ 131, июнь 1978 г.), но о ней можно сказать только одно: ее автор не поняла книгу. Вот что пишет Т.Петровская: "Королевство" — сборник фантастических рассказов... Колдуны — главные действующие лица, без них пропал бы человек... В "Королевстве" не должно быть социальных проблем... Немного старомодное презрение к людям... Мертвые вещи опрыскивает живой водой. Вечно-юная душа писательницы, воспевающей немеркнущую старину... Ирина Сабурова живет в сказочной стране и чаще, чем следует, твердит о необходимости в жизни сказок..."

Все это так и не так.

Почтенные, столь дорогие сердцу Т.Петровской "социальные проблемы" с жесткостью ребер присутствуют в самых фантастично-сказочных сюжетах Ирины Сабуровой. Но "разница в том, — как говорит автору одна Колдунья, — что одни сказки уводят от жизни, а другие — входят в нее. Ты видишь только то, что есть на самом деле, чуточку иначе только". (стр. 196). "Сказка — это воплощение тоски и мечты, а стремление к справедливости и мечте присуще почти всем, в особенности здоровым рядовым людям, и поэтому современный человек тоже не может обойтись без сказок". (стр. 391).

Ирина Сабурова с замечательным мастерством создает свои сказки, умея простыми словами "пронзить насквозь", заморозить своими рассуждениями "на ходу": "Странные эти люди, мечтатели. Бьют их, раздирают, калечат — а мечта жива. Ни жить, ни надеяться не на что, да и незачем, —

казалось бы — а она живет и светится, и им и другим, представьте. Может быть, простить их все-таки за это — их неудачи, неспособность и другие, вольные невольные грехи?" (стр. 294).

Или — "Поэты разнесли весть о лесной почте по всему городу, и у многих блестели глаза и улыбались губы навстречу осенним листьям — а это как раз то, для чего существуют поэты" (стр. 81).

Вероятно, здесь самое подходящее место, чтобы рассказать коротко одну из ее поэтически-мудрых сказок. Вот, например, хотя бы цитированную выше "Лесную почту".

— "Звали его Рыжий Дурак, и он служил на почте. Письма, считал он, должны приносить радость: сколько хороших слов можно написать другу другу, и как должен радоваться каждый, что его не забыли, помнят и любят... Сам он никогда не получал писем. По праздникам он уходил в лес: это всегда живой и большой друг, особенно если нет других. Но сегодня в лесу был большой день. Когда он вдруг увидел все и понял, у него перехватило дыхание: почта в лесу! Лес посылал письма — всем, всем, всем! Он не мог унести всех, но знал, что ветер — надежный почтальон. Он набрал только громадную охапку самых нарядных красивых листьев... В этот день на бульварах много людей видело сутулого человека с восторженными глазами, который, робко улыбаясь, раздавал им письма из леса..."

А "Тихая ночь" — это даже не сказка. Это правдивая история одного бедного учителя. Влюбившись в дочь маркизы-эмигрантки, он пообещал ей совершить подвиг... Но горы не сдвинулись... И он сдался судьбе через пять лет и отправился учителем в маленькую деревушку... Но пути Господни неисповедимы. В 1818 году в церкви австрийской деревушки Оберндорф впервые была исполнена рождественская песнь "Тихая ночь", на музыку учителя Франца Грубера... И песня зазвенела: ее перевели на восемьдесят семь языков, и сорок лет спустя о ней узнал весь свет. Ныне нет страны, где бы ее не пели на Рождество...

Стоит только прочесть первые строчки, как вы начинаете чувствовать особую тональность каждой вещи. Музыка ритмов и образов захватывает целиком. И сколько же прекрасных стилистических находок врезаются в память яркими картинками: "вечернее солнце разглаживало сиреневые обрывки облаков"; "осень только подняла руку, чтобы постучаться у порога — и остановилась"; "в этой стране жители были глухие ко всему, кроме еды — и, поев, вешали ложку просто на серенькое небо, благо оно было так низко над головой — без ветра, без звезд, без солнца".

В сказочной стране Сабуровой часто ссылаются на Андерсена, Лагерлеф, Диккенса, Грина, Киплинга, Шоу, которых мы читали, на Гумилева, блестящие строчки которого входят в наш обиход, на Теккерея, о котором мы слышали. Мелькают и вовсе незнакомые советскому читателю имена: насмешливый и умный английский философ Чарльз Деф, уютная бидермайеровская сентиментальность.

Ирина Сабурова, бесспорно, создала свой особый жанр, в котором она — Мастер, самовластно и мудро распоряжающийся в Пространстве, Времени, в предметном и духовном мире. И смешение, смещение, переплетение всех этих элементов в ее сказках — гимн вечным ценностям нашего мира.

А вот наш присяжный критик (Т.Петровская) основную ценность сказок И.Сабуровой видит в том, что в них... описана Рига. Но из 39 сказок "Королевства" помечены "Ригой" только 15, и занимают они лишь треть книги. Все остальное навечно горьким очарованием старого Мюнхена. Невольно сомневаешься, читал ли книгу рецензент "Нового Журнала"?

Наш коллега В.Рудинский уже имел случай указать на оскудение жанра рецензий в "Новом Журнале" (см. "Голос Зарубежья", № 15). У нас же их крошечные рецензии с короткими мыслями вызывают в памяти известную эпиграмму: "Старомоден "Ревью", хоть и нью..."

Наши арифметические вычисления о Риге сделаны не ради оригинальности. Критика книг И. Сабуровой застряла на первоначальной стадии: "В Королевстве Алых Башен жили рыцари и маги..." Это вынудило Ирину Сабурову к необычному для нее признанию: "Я для них просто не существую. В лучшем случае — снисходительный кивок. Не то, чтобы нашли слишком легкой — просто не дали себе труда взвесить. А при всей самокритике должна сказать, что после первых незрелых шагов я сделала несколько вперед и с годами создала что-то действительно свое. Но теперь я не надеюсь и не жду больше" (стр.356). И в другом месте: "Резигнация" — отречение в силу необходимости, и в нем, кроме усталости, еще и разочарование, боль, обида, грусть." (стр. 351).

Действительно, обидно за ложно-сложное положение в русской эмигрантской критике, когда большие мастера слова остаются чуть не всю жизнь в тени, тогда как литературные хлыщи и шутихи умудряются создать невероятное количество шума и звона вокруг себя. Правда, с ними же все это и кончается, но не слишком ли дорого платят их современники за эту бутафорскую славу, создавая в тишине искусственной неизвестности или на периферии внимания критики свои, как сказал поэт, "золотые от зрелости ценности современности"?

Ирина Сабурова кончает книгу словами: "Я предпочитаю многому другому — мистера Эля Смита — и желаю и вам того же." И это имеет глубокое значение. Понять его можно только внимательно прочитав и перечитав рассказ об Эле Смите, мудром кувшине — самый большой текст книги. Пересказать его трудно — это сгусток жизненной мудрости, интересной философии, содержащей немало новых идей. Например, психологическое объяснение массовой преступности в современном мире. Или, что нам еще ближе, грустно-лирическое рассуждение о потерях:

— Что значит потерять родной город — знают только те, кто на чужбине. И это одно из самых бесполезных знаний в жизни, ибо даже разорванные нити связываются только узлом, а уж отрезанные куски всегда остаются ломтями... — Лишиться родины, дома, своего положения, профессии,

потерять близких — это, я представляю, равносильно тому, как если бы из меня выбили дно и сбили шляпу, — говорит благородный кувшин Эль Смит. И замечает, что нам, людям, еще хуже: — Разница между нами — вещами — и эмигрирующими людьми в том, что мы редко теряем свое назначение а люди — сплошь и рядом. (стр. 363, 342).

Но только не Ирина Сабурова. Выполнив свое высокое назначение быть Человеком, совершив творческий подвиг в литературе, оставив светлый след в сердцах всех, знавших ее при жизни, она устами ее любимого героя Эля Смита имеет полное право обратиться к нам со словами завещания, продиктованными ее добрым сердцем:

— Если бы вместо того, чтобы ныть от скуки и жаловаться на всех, люди почаще бы старались доставить хоть какую-нибудь радость или удовольствие окружающим — хоть капельку внимания, — как легче жилось бы им тоже.

---

По случаю кончины Ирины Евгеньевны САБУРОВОЙ — секретаря Редакции журнала "Голос Зарубежья", Редакция "Современника" выражает глубокое соболезнование Редактору "Голоса Зарубежья", всем его сотрудникам, а также всем почитателям большого таланта ушедшей от нас писательницы и журналистки.

---

КАЗНЬ ХЛЕБНИКОВА

Посвящается Н. Х.

Пророк! Со скатерти суконной  
режь звездный драп тем\* поперёк,  
как математики учебник,  
как тригонометр Попперек,  
как тот историограф Виппер,  
ты взял и прахи чисел выпер,  
суставом истин пренебрёг.

— Ложись, — портной, из облака  
сошьешь молочные капоты,  
ты лучевые эшафоты  
сколотишь из густого лака  
и головой зеленой плахи  
ты обезглавишь эту казнь, —  
всеглавый смертник и пророк.

На ножницах блестели нитки,  
ковались на перстах копытки  
и пытки прытких портняков,  
порты латунные гремели,  
рубahi мрамором горели  
и пояса из непарели  
газетной, гулкой и гагатной,  
фуражка из зеленой шерсти  
с гербом кругом — луженой чести.

Костюм готов. Готовься сам.  
Палач там ждет. Безмолвны толпы.  
Стопам открыты плахи тропы.  
Ступай. Не вытря лобик потный.  
На площади, где тумб хорал  
преступников кремнем карал,  
где небо пестрого гранита  
лежит от ветра не укрыто,  
выветривается и скоблится

---

\* Тем — не местоимение, а род, п. множ. числа т ъ м а (тьма тем).



скребками туч и вихрей пылью,  
на площади, где плоски лица,  
где зорки кровли, быстры шпицы,  
где кронверку закрепоститься  
у крепости на вечном мыте,

стояла голубая плаха.

Палач в мече, судья под шляпой.  
Сверкали розовые шеи,  
мозги оплавив золотые,  
глаза казненных как камеи  
агатом в мраморы резные.

Когда пророк подъехал на карете  
верхом, то на глазах у всех,  
на метр с лишком взрастались дети  
не для родителей утех.  
И, встав на плоской черной крыше,  
проговорил: пусть числа слышат,  
как судьи с площади вершат!  
И снова сел.

Когда у плахи  
колеса дрогнули, укоротясь  
от невертенья, два в цилиндре,  
с жезлами маршалов, под руки  
продели собственные руки  
и на помосте злобным лоском  
над львиным льном пророка заблистали.

Он поднялся. Он увидал  
глаза и уши и макушки  
и шеи и пупы и руки.  
И руки гордо говорили:  
— Мы — руки, нас восславил Энгельс.  
На камне ледника белея,  
тесали режущие штуки,  
чтоб льды от злобы зеленея,  
чтоб льды от солнца заленея,  
отвердевали людям в лупы,  
посевом пламя в грот посеяв.

Мы руки говорим пророку:  
ты не казнишься тут к сроку.

И пуп пропел животным тоном:  
Я — пуп вселенной и человека,  
я — солнце неба живота,  
я жизнь внушаю в смертном чреве,  
я — возжигления врата,  
я пуп-вещун, я вам вещаю  
и отвечаю, что вас беспутных зреть не чаю.

И ухо тонкое, резное,  
как переливная лощина,  
как колыбель ребят — прибоев,  
казнимому прошевелило:

— Я ухо, ухо, ухо, ухо,  
русло ума и уйма слуха,  
врата познания и забвенья,  
седло Орфея и Морфея.  
Я ухо, ухо, ухо, ухо,  
— ты не лишишься слуха духа.

Пророк вступил пятой на плаху,  
стояли головы рядами  
и снисхожденно улыбались  
ему, как будто ожидали  
его размеренной улыбки,  
чтоб прогреметь узорный хором —  
оркестр улыбок с дирижёром.

Пророк просунул поясницу  
рябому кату под десницу,  
а в небе видны были звёзды,  
и на сосне, от крови липкой,  
дышали древесины клетки.  
Помощник поднял золотую  
секиру ново-отлитую,  
он выточил ее об мрамор,  
на рукоять ее напаял,  
и через миг над плахой синей  
глава отъятая всем зрима.

Так был пророк казнен безвинный.

Некратко ухо куковало,  
зрачок колыша эхованьем,  
рука, как ветвь ствола, порхала.

13 сентября 1940 г.

АНДРЕЙ ДРУЖИНИН

## ТЕХНИКА ФИЛОСОФСКОЙ ЛЖИ

### 1

Как всякое искусство, ложь имеет свою технику.

Разумеется, не всякая ложь — искусство, хотя всякое искусство — немного ложь. Этот парадокс звучит в манере Оскара Уайльда, и если бы я развил его, могло получиться некое эссе... Впрочем, развивать его я не стану, и эссе не получится.

Причина тому — в объекте нашей критики. Хотя речь пойдет о философии, но мы не заберемся на ее вершины. Скорее нас ожидают тропинки, тропики и тупики философской публицистики. И мы, следовательно, окажемся на уровне *философических* рассуждений, которым до *большой философии* далековато.

По этой же причине срез *искусства* заменяется уровнем *техники* — того профессионального умения писать на различные темы гуманитарных наук, без которого нет ученого, но которое одно лишь, само по себе, настоящего ученого не создает. В результате, в сферу нашей полемики попадают как ловкие журналисты, прикинувшиеся философами, так и философы, *оступившиеся* в трясику средней журналистики; мы увидим дилетантов, желающих прослыть специалистами, и специалистов, которые, *начиная лгать*, поневоле впадают в дилетантизм; мы столкнемся с фальшью идей, маскируемых в оболочку научной аргументации, и со слабостью аргументов, которые не спасает даже правота идей. Словом, нам предстоит своего рода "приключение, почерпнутое из моря житейского" (если воспользоваться здесь добротным названием романа незаслуженно забытого Вельтмана) — приключение мысли, которая хочет пробиться к правде, преодолевая словесные барьеры лжи. На этом пути одним из высочайших барьеров оказывается философский (или, во всяком случае, *философствующий*) марксизм. Другой же барьер — это неумело-ретроградная его "критика".

Как известно, в СССР, где марксизм является официальной религией, наряду с процессом обеднения и вульгаризации философских осно-

ваний марксистской теории, приспособляемой чисто прагматически к советским реалиям, за десятилетия после смерти Сталина развился и другой процесс: известной отшлифовки приемов наукообразного толкования марксистских постулатов, повышения, так сказать, "культуры труда" в сфере философствования. Наиболее одиозные формы догматизма сталинского времени канули в прошлое; точно так же (в силу естественной сменности поколений) испарился комсомольски-ударнический "наскок на философию" 20-ых — начала 30-ых годов. Если в те времена Бухарин (ныне воспринимаемый чаще всего с классическим пиететом) казался академикам дореволюционной закалки недостаточно *серьезным* для академического кресла, то ныне можно с уверенностью говорить о культурном прогрессе в СССР именно на *академическом* уровне. Конечно, цензура, равно как и общая атмосфера партийного зажима, продолжают и здесь играть свою отрицательную роль, но в целом советские гуманитарии приобрели лоск, позволяющий говорить хотя бы о некотором приближении к западным стандартам в понимании "научного мира". Поэтому и защита марксистских концепций — эта лейтмотивная задача советских философов и гуманитариев вообще — стала во многих аспектах более профессионально добротной и *культурно поданной*, если можно так выразиться.

Это никоим образом не спасает безнадежности самой по себе цели защитить незащитимое. Одна из многих концепций западноевропейской мысли XIX века, перенесенная во вторую половину XX столетия и объявленная вершинным достижением всей человеческой мысли, давно уже не срабатывает на оборотах современной эпохи, а философски преодолена многократно. Если бы не политически-государственная поддержка марксизма как идеологического оружия коммунистов в борьбе за мировое господство, то дискуссии на марксистские темы спокойно заняли бы положенное им периферийное место на академических симпозиумах, вызывая не большее волнение, чем, скажем, споры о раннем христианстве или проблемах типа "Была или не была Атлантида?" Однако приходится считаться с реальностью: пусть и не на строго научной основе, однако марксистская философия находится в центре дискуссий нашего времени, а раз так, то по-прежнему она нуждается в ее *научной* критике. Или, говоря словами Крейна Бринтона, "марксизм, особенно так, как он выработался в России, — одна из самых активных форм религии в нынешнем мире, которую всем образованным людям следует понять." (Крейн Бринтон. Истоки современного мира. Перевод с английского Виктора Франка. Рим, 1971, стр. 340).

Именно привнесение религиозного по сути своей момента веры в исключительность марксизма как теории и мирозерцания позволяет советским философам настаивать на *особом* отношении исследователей к

марксистским категориям и постулатам. При этом — парадоксальным образом! — те из марксистских авторов, которые наиболее глубоко занимаются изучением генезиса марксизма, охотно жертвуют своими же наблюдениями над его развитием в угоду совершенно фантастическому утверждению насчет *особости* марксизма. Так, весьма талантливый советский исследователь Генрих Волков пишет в книге "Рождение Гения" (Становление личности и мировоззрения Карла Маркса):

"Марксизм — это цельное и стройное учение. Марксизм и формировался как цельное учение, как органическая система, в которой часть не возникает раньше целого, а развивается и совершенствуется вместе с ним по типу того, как это происходит с зародышем живого организма." (Ук. соч. — М., 1968, стр. 112).

Прямо-таки сова Минервы, родившаяся из головы Юпитера в полном воинском вооружении! Сам Г.Волков не смущается тем, что его же изыскания в *его же* книгах (между прочим, в талантливой "*Сове Минервы*" — М., 1973) показывают читателю, что всё было (в смысле генезиса марксизма) наоборот: сова сначала высунула свой клюв, *радикально* долбанула им по черепу *гегельянской* Минервы, затем показала голову на свет Божий; *по-фейербаховски* деквалифицировала его из Божьего в *мир человеческий*; хорохорясь, расправила крылья *диалектики*, и лишь после этого вооружилась броней политики и стрелами социального профетизма. Какое уж тут "цельное учение" с самого начала!

То, что делает Г.Волков, — это пример идеализации марксизма *умным* исследователем. Он сразу, априорно, приписывает марксизму исключительность хотя бы в силу уникальности его происхождения. Он не долдонит плеоназмами, вроде: "учение марксизма всесильно, потому что оно верно"; он заставляет читателя, принявшего данную посылку, отвести, как бы исподволь, марксизму особое место в сопоставлении с любыми другими теориями. А это и нужно для дальнейшей "диалектической (правильнее сказать, софистической) игры", когда то, что не прощается другим в ходе полемики, должно прощаться марксизму.

Неудивительно поэтому, что советские марксисты, веря (или делая вид, что верят) в абсолютное превосходство марксизма над всеми остальными концепциями, постоянно занимаются критикой "буржуазной" философии. Делается это (несмотря на разнообразие индивидуальных случаев) по единой схеме: против критикуемых теорий используются все способы полемики, в том числе и те, что разработаны самими "буржуазными" философами; с унылой последовательностью проводится мысль о несовершенстве любых концепций: правых и левых, детерминистских и релятивных, религиозных и атеистичных, а затем декларируется, что все их несовершенства снимаются торжествующим марксистским учением и мето-

дом. Это именно декларируется, потому что в конкретной полемике советские философы предпочитают сталкивать между собой различные концепции (например, экзистенциализм и томизм, логический позитивизм и философию жизни), а не разбирать их *строго с позиции марксизма как такового*. Последний, как правило, играет роль *Deus ex machina*. венчая итог полемики напыщенной агитацией в пользу "всесильного учения". При этом *техника философской лжи* бывает поискусней или поплоче, в зависимости от индивидуальных качеств тех или иных авторов, однако общий "смысловой код" и приемы логических передержек повторяются с удручающим однообразием.

Попробуем взять один из "контрольных примеров": книгу советского философа С.А.Эфирова "Итальянская буржуазная философия XX века" (М., 1968). Сразу оговоримся: это не какое-нибудь исключительное явление, это самая рядовая философская монография, которая именно своей заурядностью помогает понять способы натяжек и фальсификаций, призванных подтвердить тезис о пресловутом "превосходстве марксизма". Как видно из самого заглавия, объектом критики С.А.Эфирова является не один из философов, и даже не одно только философское направление, но вся целиком итальянская философия XX века (с захватом, в главе первой, и философии предшествующего столетия). Словом, есть где разгуляться марксистскому молоту!

Однако хотя молот и бьет от души, он далеко не всё сокрушает. Более того, если принять в расчет общее количество страниц книги Эфирова (267, с библиографией и именным указателем), то большая часть ее посвящена не критике, а информативному изложению таких крупных течений итальянской философии, как неогегельянство, томизм, христианский спиритуализм, а также философских концепций Кроче и Джентиле, Спирито и Дженнаро, Шакка и Джирарди, Аббаньяно и Пачи, равно как и многих других, не только крупных философов, но и тех, кого сам Эфиров считает "не очень серьезными фигурами" (см. его определение в адрес Э.Дженнаро — ук. соч., стр. 80). Возможно, такая конструкция книги объяснима сравнительной малоизвестностью итальянской философии в СССР, однако даже если оно и так, то это весьма показательно для нынешней ситуации. В былые времена партийная цензура грозно цыкнула бы на автора: "Подумаешь, малоизвестна!.. А зачем, собственно, советскому читателю знать какую-то итальянскую, да еще и "буржуазную" философию?" Теперь игра ведется более тонко, и книга Эфирова предлагает читателю большую, хотя и может быть, чересчур *спрессованную* массу информации, самой по себе весьма полезной. К тому же автор старается следовать "правилам хорошего тона": признает талантливость и научные заслуги многих своих философских врагов и даже (как, например, в случае с Э.Гарриным, *не являющимся марксистом*) способен кинуть реплику почти "кра-

мольного" свойства: "Гарин... достиг такой зрелости суждений, которая сделала бы честь некоторым марксистским исследователям." (Стр. 246).

Это не мешает ему, впрочем, пользоваться и запрещенными приемами, демонстрируя бессилие *собственно марксистской* аргументации. Так, в главе, посвященной сопоставлению доктрины томизма с концепциями христианского спиритуализма (идущего в русле того, что именуют неогавгустинианством), Эфиров, разбирая философию М.Шакка, всю свою "критику" строит на столкновении томизма и христианского спиритуализма *между собой*, выискивая слабости (реальные или мнимые) в доказательствах той и другой стороны и, соответственно, используя их друг против друга. Однако возникает вопрос: каким образом это доказывает "правоту марксизма"? Ровным счетом никаким, поскольку марксизм (тем более в его советском варианте) просто не подготовлен ко многим аспектам философской проблематики того же Шакка, к его метафизике например. Вот и приходится Эфирову проделывать логический трюк: "побивая" одного "буржуазного" философа другим, не менее "буржуазным", видеть в этом "победу марксизма". Как будто лошадь, перегнавшая на ипподроме другую лошадь, тем самым превращается в осла.

Не обходится и без явных противоречий Эфирова самому себе. Ему ничего не стоит, к примеру, сказать на стр. 71: "следует решительным образом отвергнуть мнение, будто идеи неогегельянцев в чем-то еще актуальны и могут служить плодотворным стимулом развития современной философской мысли", а на стр. 72-ой признать, что влияние неогегельянского идеализма "в интеллектуальной жизни страны частично продолжало сохраняться". Весьма слабой является также полемика Эфирова с итальянскими экзистенциалистами и близкими к марксизму (но не к советскому, конечно, марксизму!) философами. Поэтому всё построение книги Эфирова, должно показать "крах буржуазной философии" и предлагающей в качестве выхода перспективу "марксизма-ленинизма", оказывается немотивированной, искусственной натяжкой, свидетельствующей о "крахе" самого догматичного автора. По сути, всё цитируемое в его книге куда интересней, чем сказанное по поводу этих цитат; всё, в ней изложенное, глубже Эфировского анализа, а его пафос "марксистского обличителя" имеет ценность, не превышающую интеллектуальный уровень какого-нибудь китайского дацзыбао или антиамериканских плакатов сторонников Хомейни.

Впрочем, особенно удивляться неудаче Эфирова не стоит: он явно не из тех, кто в состоянии демонстрировать слишком высокий уровень философской полемики. Применяя к данному случаю неплохую сентенцию английского журналиста Малколма Маггэриджа по адресу советского шпиона Филби, можно сказать, что "Маркс, пересказанный, достаточно плох, но Маркс, пересказанный заикой, — непереносим." ("Time", December 3, 1979,

р. 44). Эфиров — это типичный "философский заика", скованный догмами советского марксизма, со всеми производными неудобствами, вытекающими отсюда.

В более выгодной позиции находятся западные марксисты. Между прочим, подобно тому, как задача полиграфического совершенства в издании советских книг обычно передоверяется *несоветским* издательствам, так и по возможности утонченная защита марксизма поручается не советским философам, а западным марксистам. Последние, таким образом, играют роль *полиграфического прикрытия* для "шершавого языка плаката", свойственного советской пропаганде.

Книга Эфирова об итальянской философии была нашим "контрольным примером" № 1. Возьмем теперь для сравнения (под номером 2) работу французского марксиста Люсьена Сэва "Современная французская философия" (Исторический очерк: от 1789 г. до наших дней). М., 1968. Ей предпослана вступительная статья доктора философских наук Г.А. Курсанова, которую мы просто игнорируем: для Курсанова Люсьен Сэв слишком "по-западному" своеволен, и он пытается его подретушировать на советский лад, а посему нагромождает массу глупостей. В сущности, он говорит то же самое, что и Сэв, только хуже по мысли и бесцветней по языку — почти неизбежный удел почти всех советских философов. Отсюда не вытекает, однако, что Люсьен Сэв изрекает истину — просто уровень его "техники лжи" поэlegantней и пораскованней.

Если сравнить Сэва с Эфировым, то различие по форме может показаться очень впечатляющим. Там, где Эфиров заикается, Сэв говорит "во весь голос": он не вихляет, как советский автор, а действительно *спорит*; его марксистская эрудированность много выше, гибче и диалектичней, нежели та, что отпущена советскому "ортодоксу". Одним словом, Сэв в сопоставлении с Эфировым имеет то преимущество, которое типично для манеры дискуссий, ведущихся т.н. "ревизионистами": их интеллектуальный багаж позволяет заняться "ревизией" марксизма, тогда как для догматиков сие невозможно хотя бы лишь по причине недостатка культуры. При этом сам Люсьен Сэв настойчиво подчеркивает свою марксистскую ортодоксальность (одобренную *на философском уровне* Морисом Торезом), яростно атакует "ревизионистов", и даже не ставит перед собой вопроса, почему каждый мало-мальски оригинальный мыслитель-марксист, как правило, оказывается "ренегатом", выталкиваясь, или же сам выходя, из лона официального марксизма (достаточно вспомнить имена Милована Джиласа, Анри Лефевра, Георга Лукача, Лешека Колаковского, Роже Гароди и других).

Люсьен Сэв не является ни оригинальным, ни крупным мыслителем. Он — талантливый публицист на философские темы, причем степень его таланта четко лимитируется мерой его ортодоксальности. В отличие от



Эфирова, он способен вести спор по чисто метафизической проблематике, отстаивая при этом марксистскую точку зрения. Но помогает ему не столько сам марксизм, сколько его индивидуальная эрудиция. Именно благодаря ей, он не отделяется наклеиванием ярлыков типа "реакционный", "фашистский", "ненаучный" (хотя в его лексиконе все эти клише присутствуют); более того, Сэв способен заявить, что "мы (т.е. марксисты — А.Д.), конечно, не хотим с помощью карикатурного искажения смешивать, например, феноменологию Гуссерля с нацизмом. Поверьте, мы не столь глупы, чтобы видеть в Гуссерле идеолога пангерманского империализма или, как это подчас делалось, представлять такого человека, как Хейдеггер, воинствующим противником гитлеризма. Мы собираемся дискутировать не на этой узкополитической платформе." (Л.Сэв. Ук. соч., стр. 280-281).

Такие заявления звучат многообещающе. Но — увы! — это только слова, и в ходе конкретного спора они остаются декларативным фиговым листочком, совершенно не способным замаскировать чисто *политические* цели, которые преследует Сэв: любой ценой защитить "премудрость" марксизма как "разгаданной загадки истории" (см. его рассуждения на стр. 48), доказать "несостоятельность" немарксистской философии и оправдать политику СССР, вплоть до защиты идейного и государственного сталинизма.

В этом последнем пункте Сэв доходит до совершенно циничных способов полемики. Прежде всего он отрицает правомочность самого термина "сталинизм", называя его "мистифицирующим понятием" (стр. 257). С неимоверной яростью нападает Сэв на "диктат реакционной буржуазии" периода аж... Второй Империи во Франции (1852-1870 гг.) и деланно изумляется при указании на "диктат коммунистической бюрократии" сталинских времен. Полемизируя с П.-А. Симоном, который в своей книге "Против пытки" говорит, что для такой государственной философии, как марксизм, применение пыток является, в сущности, вполне оправданным, Сэв патетично требует привести "хотя бы одно высказывание классика марксизма, оправдывающее применение пытки" (стр. 365). Как будто советские чекисты пытали свои жертвы менее жестоко по той причине, что не могли найти соответствующих "цитат из классиков"! Впрочем, если в *собрании сочинений* Маркса, Энгельса, Ленина и даже Сталина, действительно, не имеется трактатов на тему, предположим, "Историческая прогрессивность пытки в свете коммунистической теории", то прямой циркуляр Сталина о необходимости применять пытки — он среди государственных бумаг имеется. И Люсьен Сэв, весьма скрупулезно анализирующий документы бюрократических канцелярий столетней давности (времен Реставрации Бурбонов, Второй Империи и начала Третьей Республики во Франции) несомненно знает об этом сталинском приказе. Знает, но мол-

чит... во имя чистоты марксизма, разумеется!

В полемике с Ж.-П. Сартром, который обвинил марксизм в "окаменении" после торжества сталинизма в СССР и прихода к руководству французской компартией такого *сталинца*, как Морис Торез, Сэв прибегает к мелочной критике школярского образца, которую сам же величественно презирует, находя примеры ее у своих оппонентов. "Хронологическая точность не может повредить серьезному анализу", — глубокомысленно говорит он (стр. 252) и далее пытается "подловить" Сартра на противоречии, когда тот говорит о своей интеллектуальной тяге к марксизму в молодости, которая совпадает с тридцатыми, запятнанными сталинизмом, годами, и о своем разочаровании в марксистской философии из-за ее "окаменения". Сэв негодует в адрес Сартра: "Пусть поймет тот, кто может... Следовало бы выбрать что-то одно: нельзя одновременно утверждать, что марксизм был совершенно живым в эпоху Народного фронта... и что он начал сохнуть на корню около 1930 г." (Стр. 253).

Здесь одним выстрелом Сэв пытается убить трех зайцев: во-первых, загнать в угол Сартра, во-вторых, заверить читателя, что в любом конфликте мыслящего интеллигента с марксизмом всегда виноват этот самый интеллигент и никогда — марксизм, а в третьих, — как бы мимоходом — поставить под сомнение сам по себе бесспорный факт "окаменения" марксизма в результате прививки к нему сталинской догматики. Конечно, с такой триединой задачей справиться невозможно. Не составляет особого труда заметить, что Сэв передергивает карты, ибо Сартр говорит об эволюции марксизма *вообще*, а Сэв требует от него фиксации временного момента, связанного с личной эволюцией Сартра в соотношении с марксизмом. Как будто, если Сартр пришел к Марксу, то он автоматически должен был возлюбить Мориса Тореза, а если таковой любви не было, то следует поставить под сомнение его марксизм. Поэтому призыв Сэва к хронологической точности фактически означает стремление утопить главную суть полемики в мелочных деталях и в чисто формальной придирчивости к внешней стороне событий. Косвенным же образом факт "окаменения" марксизма Сэв вынужден признать, констатируя "относительную редкость одновременно подлинно марксистских и действительно творческих трудов в области философии" (стр. 251). И это во Франции, где марксисты не были придавлены официально насаждаемым *государственным* сталинизмом! Что же говорить о Советском Союзе и как в связи с этим понимать лицемерные фразы Сэва о "превосходстве советской науки" (стр. 275)? Нет, в противоборстве "Сартр и Сэв" последний, хоть и является атакующей стороной, однако проигрывает сражение еще до начала атаки: он настолько же слабее и элементарней Сартра по мысли, насколько, скажем, выше Эфирова по эрудиции и полемической манере. Так что,

пожалуй, достоинства французского марксиста суть перевернутое отражение философской беспомощности его советского коллеги — не более того. И при всем стилистическом блеске книги Люсьена Сэва, его интерпретация французской философии оказывается столь же порочно-фальсифицированной, как и аналогичная интерпретация Эфировым философии итальянской. Можно сказать, что Люсьен Сэв — это Эфиров плюс стиль и эрудиция. Последние элементы не так уж малозначны для философа, но общая *малозначительность* Сэва в качестве мыслителя является ничем иным, как расплатой за его марксизм. Причем марксизм полусоветского образца...

Особенно заметна слабость позиции Сэва, когда он пытается доказать несуществующее "торжество материализма над идеализмом" во французской философии XIX-XX веков. Здесь провал его усилий обратно пропорционален количеству софистических трюков, которые он применяет. Любопытная деталь: Сэв цитирует высказывания различных философов относительно того, что "материализм умер", не без ехидства замечая, что "с трупом не спорят", а если спорят, то материализм — не труп. Однако то же самое можно сказать Сэву, имея в виду его яростные заверения о том, что, мол, идеализм — это философия без будущего, что, например, неокантианство "полностью развенчано" (стр. 264), труды Тейяра де Шардена вскоре "будут забыты" (стр. 326), что спиритуализм потерпел крах (стр. 263-264) и т.д. И всё это на фоне отчаянной полемики с "трупами"...

К тому же как убого временами он полемизирует! Вот, например, его доказательство "конца неокантианства": "... совершенно очевидно, — пишет Сэв, что философия, основы которой были разработаны в XVI веке — и далеко не в самом передовом для того столетия духе, — не могла теоретически верно осмыслить мощный прогресс человеческого познания и человеческой истории в XIX столетии." (Стр. 264). Интересно было бы узнать у Сэва, как понравилось бы ему суждение о марксизме по аналогичной модели мысли? Например, можно ведь сказать: "Марксизм, основы которого разработаны в XIX веке, не в состоянии осмыслить эпоху XX-го столетия." (Мы знаем, кстати, что в подобном аргументе есть доля истины, но, конечно, *не вся* истина, и мы отвергаем марксизм не за древность его происхождения, а за несовершенство его суждения). Что же касается Сэва, то он "расправляется" с неокантианцами тем нечестным способом, который напоминает доводы примитивных расистов, считающих, что такой-то негритянский автор плох не потому, что плохо пишет, а потому, что у него черная кожа; такой-то еврейский деятель, может быть не совершил ничего дурного, но виноват в том, что его предки — евреи, ну и так далее. Конечно, Люсьен Сэв с негодованием отверг бы обвинение его в расистских взглядах, однако аргументацию из арсенала пресло-

вудой "классовой борьбы" — этой социальной формы расизма, он использует весьма охотно, и ему ничего не стоит, к примеру, упрекать некоторых современных философов в том, что их духовными предшественниками были весьма не нравящиеся ему "реакционеры" вроде Ройе-Коллара, Жозефа де Местра или Виктора Кузена, а отсюда уже выводится им философская "несостоятельность" теорий, опровергнуть которые *по существу* он, в большинстве случаев, не может. В одном месте своей книги он так и пишет: "Возникает вопрос: а нет ли у современной философии компрометирующих ее предков, которых необходимо во что бы то ни стало скрыть, подобно тому как семья, принадлежащая к лучшему обществу, вынуждена скрывать какого-нибудь прадеда, нажившего состояние на торговле неграми, или прабабку, поправившую дела продажей своих прелестей великим мира сего?" (Стр. 133). В общем, не так уж хороши дела Сэва, если ему для спора с его современными оппонентами приходится то и дело ссылаться на их идеологических дедушек. Мы не хотим сказать, что апелляция к факту происхождения всегда неуместна, но как аргумент против человека или идейного течения она всегда двусмысленна.

Одной из самых натужных и беспомощных фальсификаций в книге Сэва является его концепция насчет масштабности традиции материализма во французской философии XIX-го — начала XX-го столетий. Ему это нужно для подтверждения ленинской трехчленной схемы, носящей, якобы, универсальный характер: "материализм — идеализм — агностицизм". Поскольку факты (особенно в части, касающейся развития материализма) не очень укладываются в схему, Сэв вынужден "работать" под девизом: "тем хуже для фактов!" В результате, несмотря на большую изобретательность и не меньшую избирательность в подтасовке фактического материала, Сэв запутывается в противоречиях. Вначале он объявляет материализм одним из главных философских течений во Франции XIX века (стр. 143-147). Однако вскоре он должен объяснить подмеченный им же парадокс, что читатель не в состоянии "назвать хоть одно-единственное имя французского философа-материалиста XIX века" (стр. 180). Более того, оказывается, "даже философ, даже знаток XIX века, затруднится назвать какое-нибудь имя". (Там же). Нам тогда остается по-горьковски спросить: "А был ли мальчик? Может быть, мальчика и не было?" И Сэв разрешает наши сомнения насчет материализма эффектной фразой: "Его не было нигде, и, однако, он был повсюду." (Стр. 182).

Эффект эффектом, но чтобы подкрепить свой тезис, Сэв вынужден пуститься в сложные объяснения в том духе, что из-за "подавления материализма буржуазией" он "не мог проявляться в обычных формах и находить свое выражение в выдающихся произведениях" и что "надо уметь находить за скудным легальным материализмом необъятный подпольный материализм." (Там же). Далее констатируя, что материализм не раз-

вился "до высокого теоретического уровня" и пребывал "на уровне поверхностной индукции скорее, чем на уровне глубокого синтеза" (стр. 187), Сэв, словно в отместку, назвал его "буржуазным". Зато следующий раздел главы, посвященный материализму, гордо именуется: "Пролетариат — наследник материалистической философии". О "пролетариате" в этом разделе, действительно, говорится; что касается материализма, то он по-прежнему присутствует по формуле: "его не было нигде, и, однако, он был повсюду". В ходе последующего изложения Сэв признал, что "к 1900 г. буржуазный материализм был не больше чем воспоминание. Пролетарский же материализм являлся еще только обещанием." (Стр. 211). И это сказано после целой *главы* (стр. 180-189) о материализме XIX века! Поистине Люсьену Сэву следовало бы в данном случае напомнить его сентенцию против Сартра: "Хронологическая точность не может повредить серьезному анализу". Весьма минорным кажется и следующее признание Сэва насчет роли материализма: "не находя выражения в философских работах, и тем более в выдающихся произведениях, он не играл почти никакой роли в общественных дискуссиях." (Стр. 211). И, наконец, почти похоронным аккордом звучит его фраза (в главе "Материализм после 1920 г.") о том, что "сто лет назад во Франции, конечно, имелись материалисты, но в общем и целом почти не было материализма." (Стр. 240).

Вот так замыкается порочный круг! Несмотря на все попытки Сэва доказать противоположное, мы приходим к выводу, что *материализма как влиятельной философской доктрины во Франции XIX века не было*, а то, что имелся его фермент в житейской среде, в обыденности, в журналистской публицистике; наконец, во взглядах, суждениях и привычках отдельных (может быть, даже многих) людей, — это еще не дает основания говорить о материализме как об "одном из главных течений". Вся словесная игра, все подтасовки фактов, все попытки то принизить значение "университетской философии", то приписать слабости материализма именно тому, что материалистов не пускали в университетскую среду, — всё это нужно Сэву, чтобы "отработать" ленинскую формулу о "материализме — идеализме — агностицизме". Бремя марксистской догматики оказывается, однако, столь тяжким грузом, что его не выносит никакая "техника философской лжи". И потому частные достоинства работы Сэва не могут заслонить факта общей творческой неудачи: *объективной* и в то же время *марксистской* интерпретации истории французской философии не получилось.

Впрочем, Люсьен Сэв, не желая сбросить бремя марксистско-ленинской ортодоксии, сам наказал себя по заслугам. Нам, распрощавшись с этим автором, важнее теперь подчеркнуть, что и те люди, которые бунтуют против ортодоксии, но сохраняют в значительной степени марксистское мировоззрение, также бывают обречены на ту "технику лжи", кото-

рая представляется порой родимым пятном марксизма. Уж на что, например, талантлив, критически остр и образован Роже Гароди, однако и он в своей безусловно *антидогматической* книге "Крутой поворот социализма" то и дело прибегает к типично марксистским передержкам фактов. Вот первый попавшийся пример хотя бы. "Доказано, — пишет Гароди, — что нельзя преодолеть отставание, идя капиталистическим путем. Ни одна из стран Третьего мира не добилась на этом пути ни подлинной независимости, ни заметного подъема своего экономического потенциала и жизненного уровня." (Роже Гароди. Крутой поворот социализма. Франкфурт на Майне, "Посев", 1974, стр. 318). Вот это пассаж! — можно сказать в ответ. Да разве Гароди не знает об успехах экономического развития хотя бы Тайваня и Южной Кореи (осторожно не упоминаем "капиталистическую" Японию, которую, может быть, не стоит зачислять в "Третий мир")? Конечно, Гароди об этом знает, но, связанный марксистскими клише, предпочитает приводить в качестве примеров "успешного" экономического развития Китай (с его сверхсложненной экономикой), а также Вьетнам и Кубу (живущие на советском содержании). Ничего не скажешь, очень вдохновляющая аргументация!

Конечно, это пример не столько из философии, сколько из социологии, и, разумеется, он носит довольно частный характер. Однако сквозь эту частность просвечивает некая общая закономерность: то заклятие системы марксистского мышления, которое даже на путях субъективно-честного поиска истины способно таким "мелким бесом" сбивать человека с пути-дороги, приманивая свою жертву мнимой "диалектической глубиной марксизма", а правильнее сказать, — характерной для него *диалектикой мнимости*.

## 2

К сожалению, техника философской лжи марксистского образца отнюдь не является монополией советских философов или их зарубежных коллег-коммунистов. Люди, считающие себя врагами советского режима (или, во всяком случае, его решительными критиками), порою демонстрируют нам с необыкновенной рельефностью, насколько сильна в них марксистская прививка мышления с вытекающей отсюда "техникой лжи". Один из ярчайших примеров в этом плане дает Александр Янов.

Нам уже случалось полемизировать с ним (см. статью "История на страницах "Континента" — "Современник", 1977, № 35-36, стр. 194-210), и, кажется, с того времени А.Янов эволюционировал не в лучшую, а в худшую сторону. Некоторые из его публикаций хорошо раскритиковал недавно Б.Парамонов ("Парадоксы и комплексы Александра Янова" — "Континент", 1979, № 20, стр. 231-273). Мы возьмем в качестве объекта нашего рассмотрения большую (в 60 печатных страниц) статью Янова на англий-

ском языке, озаглавленную "Драма Смутного Времени. 1725-30". (См.: "Canadian-American Slavic Studies, 12, No. 1, 1978, pp. 1-59)...

Есть такие массивные скульптуры, глядя на которые хочется сказать: увы, *величина* не заменит *величие*. Статья Янова "Драма Смутного Времени" — именно такого рода скульптурное сооружение; ее огромность по объему никоим образом не дает оснований считать, будто она значительна по мысли. Читая её, приходишь к выводу, что Александр Янов — это средней руки философ, который promышляет плохо интерпретированный историей. Как говорили в старину, — *объяснимся*.

Начнем с небольшой цитаты. В упомянутой нами статье "Парадоксы и комплексы Александра Янова" Борис Парамонов пишет:

"Я не хочу сказать, что Янов — марксист... Но Янов *вырос* в марксизме, прошел... его школу, а другой школы *не знает*. Отсюда все его суждения, всё это непомерное уплощение, обездушивание и обездуховление рисуемой им картины, преобладание (единоприсутствие) узких политических, и только политических, критериев, штампы "левости" и "правости", "прогрессивности" и "реакционности". Марксистская спертость — воздух, которым он дышит. Воздуха же, как известно, не замечают." ("Континент", № 20, стр. 245).

Пожалуй, здесь дана наиболее верная оценка причин научной несостоятельности Янова. Уж лучше бы он оставался откровенным марксистом, чем обрекал себя на промежуточное состояние человека, отбившегося от одного берега и не приставшего к другому, когда приходится любой ценой гнаться за оригинальностью суждений, а для этого громоздить такие артефакты вымученных, претенциозных, беспочвенных концепций, которые не допускает марксизм, хотя бы в силу самодисциплины своей системы. В довершение ко всему, Янов избрал основным объектом ученых изысканий историю. Однако его историческая подготовка очень слаба, так что он неизбежно оказывается в положении дилетанта, весьма уязвимого для профессиональной критики. В сфере философии Янов также себя не зарекомендовал ничем особенно выдающимся, и его стремлению "историсофствовать" постоянно нехватает как философской глубины, так и исторической основательности. В сущности, жанр, в котором мог бы хорошо работать Янов, — это жанр *политического памфлета*, да и фактически все его сочинения являются производными от этого жанра, который он *механическим образом*, перегружая цитатами, справочным аппаратом и надуманными схемами, хочет перевести в ранг "большой науки".

Это видно на примере замысла его книги "История политической оппозиции в России", которую мы пока не видели, но о которой Янов извещал нас неоднократно. В предисловии к анализируемой статье "Драма Смутного Времени, 1725-30" Янов так формулирует цель своей монографии (его статья — лишь извлечение из оной):

"Фактически идея моей книги "История политической оппозиции в России" очень проста. Ее основной вопрос сводится к следующему: "Не полезно ли попытаться проанализировать и суммировать *все ошибки*, которые политическая оппозиция в России сделала в течение столетий, и *все причины*, по которым она неизбежно терпела поражение? Суммировать это следует, чтобы не повторять этого. Тем самым современная оппозиция сможет получить своего рода справочник, показывающий все фатальные деяния ее предшественников в истории, что принесло России ряд повторяющихся политических катастроф." (Янов. Ук. соч., стр. 1).\*

В этом высказывании нетрудно обнаружить ту самую "памфлетность" замысла, которая побуждает нас говорить о жанровой привязанности Александра Янова. Сама прагматичность его исходной установки (дать "своего рода справочник") ставит под сомнение чисто научную значимость его работы. Конечно, "историю оппозиции в России" можно написать, помня, что в разные исторические эпохи существовали ее разные формы, что, например, оппозиция в рамках Новгородского веча — это одно, оппозиция бояр Грозному — другое, а оппозиция в Государственной Думе начала XX века — совсем третье. Если даже и объединить рассмотрение всех этих явлений ("суммируя" их) под одной рубрикой, то настоящий историк должен помнить об условности такого суммирования и о приблизительной точности самого термина "оппозиция" в данном контексте.

Но это предполагает предельную объективность, на которую, к сожалению, не способен Янов. Он идет не от фактов к обобщениям, а от *произвольного допущения к специально подобранным фактам*. Впрочем, мы готовы ему простить даже такой метод, учитывая прагматичность его замысла, однако убедить себя в том, что памфлетная публицистика равняется истории как науке мы не в состоянии. Можем только завидовать удивительной нещепетливости Янова, которого, кажется, проблемы соотношения стиля и смысла, научности и публицистичности, содержания и формы, вообще не волнуют. Ведь то, что он проделывает с русской историей, — это вивисекция, приправленная гуманистической риторикой. И в результате философия в яновской статье настолько же пуста, насколько ничтожна в ней историческая содержательность.

Вкратце ход мысли Янова можно передать следующим образом: в современной идеологической борьбе диссидентов против советского режима и КГБ власть использует забвение исторических традиций, чтобы создать впечатление отсутствия альтернативы существующему режиму; необходимо поэтому пробудить историческую память народа, напомнив

---

\* Настоящая цитата (как и все цитаты в дальнейшем) дается в обратном переводе с английского.



ему, что в русской истории всегда имело место противостояние тиранической власти. Более того, поскольку власть хочет внушить, что все либеральные идеи суть результат чужеземного влияния, следует доказать, что это не так, и что они испокон веков присущи русской традиции, являясь "целостным, *органическим* компонентом русской политической системы" (Ук. соч., стр. 3). Лучшее доказательство этому дает наличие в русской истории того консерватизма, который был "реакционен" в Европе, но "либерален" и, следовательно, "прогрессивен" в России. Образцовым его выражением в московской Руси была боярская аристократия; кульминационным выражением в период после Петра — деятельность Верховного Тайного Совета в 1730 году. Вообще, "русская традиция" в основе, — пишет Янов, — онтологически *гетерогенна*. Она двойственна по натуре и вот почему она является традицией политического деспотизма, но и одновременно традицией доблестного сопротивления этому деспотизму" (стр. 4).

Вся русская история (по крайней мере с XVI-го по XX века) распадается, по Янову, на ряд циклов. Каждый из них состоит из трех фаз (первая фаза — псевдодеспотизм, вторая — "смутное время" и третья — псевдоабсолютизм). Приведем яновскую схему этих циклов, обозначив, как и он, "фазу псевдодеспотизма" буквой "А", вторую фазу соответственно — буквой "В" и "фазу псевдоабсолютизма" — буквой "С":

"Цикл 1 (1564-1689) — А. 1564-84, В. 1584-1613, С. 1613-89.

Цикл 2 (1689-1796) — А. 1689-1725, В. 1725-30, С. 1730-96.

Цикл 3 (1796-1825) — А. 1796-1801, В. 1801-11, С. 1811-25.

Цикл 4 (1825-81) — А. 1825-55, В. 1855-63, С. 1863-81.

Цикл 5 (1881-1917) — А. 1881-94, В. 1894-1908, С. 1908-17.

Цикл 6 (1917-29) — А. 1917-21, В. 1921-27, С. 1927-29.

Цикл 7 (1929-?) — А. 1929-53, В. 1953-64, С. 1964-?" (Стр. 5).

Да простит нас читатель за воспроизведение всей этой цифири! В некоторых своих сочетаниях она значит немногим больше, чем соединение наугад выбранных номеров телефонной книги. Прежде всего поражает, что Янову (который только что перед этим рассуждал о "гетерогенности" русской традиции, находя в ней между прочим и "деспотизм") удалось обойтись в схеме циклов русской истории без этого понятия вообще! Получается, что в ней деспотизма не было, а фигурировал лишь изобретенный Яновым "*псевдодеспотизм*". По его раскладке и советский режим оказывается "псевдодеспотическим" (в том числе в такой его "прелестной" фазе, как "военный коммунизм", к примеру). Да что там "военный коммунизм"! По Янову, царствование Ивана Грозного в его самой ужасной стадии (1564-84 гг.) — это "псевдодеспотизм". Да и Сталин у него — всего лишь "псевдодеспот". Дальше идти некуда... Как говаривал в таких случаях Суворов, "помилуй Бог!".. Если даже Сталин — не настоящий

деспот, то назовите мне хоть одного деспота в истории! Клянусь именами "светлых личностей" вроде Пол Пота, Иди Амина и даже Адольфа Гитлера, после семантических откровений Янова, вся мировая история покажется райским садом с поющими ангелами. Стоит только зло наименовать "псевдозлом"...

Разумеется, каждому ясно, что семантический кунштюк — это не разрешение проблемы. Яновская схема русской истории — не что иное, как *псевдоистория*, невообразимая "Конduit и Швамбрия", только не по Кассию, а по *классикам марксизма*, сформировавшим в основе своей схематичную конструкцию яновских обобщений. И при этом опорные пункты исторической аргументации Янова по степени своей весомости покоятся на уровне советских школьных учебников, не выше этого!

Возьмем для примера определение им периода 1894-1908 годов как "смутного времени", покоящегося между "псевдодеспотизмом" царствования Александра Третьего и периодом 1908-17 годов (т.н. "псевдоабсолютизм"). Внутренний ход мысли Янова направляется здесь соображениями, не выдерживающими серьезной критики. 1894 год взят за исходный рубеж на том чисто формальном основании, что он открывает собой царствование Николая Второго, а 1908 год в качестве конца "смутного времени" должен, вероятно, означать рубеж, отделяющий роспуск Государственной Думы в 1907 году от начала управления Столыпина, что, конечно, мыслится Янову как "реакция" (в полном соответствии с советскими учебниками истории). Внутри указанного периода "смутного времени" помещается революция 1905 года со всеми ее производными.

Янов играет на внешнем сопоставлении Александра Третьего ("псевдодеспота", по его терминологии) и Николая Второго как слабого государя. Но из того факта, что Николай был слабым царем, еще не вытекает, что он *не хотел быть* сильным самодержцем. Вступив на престол, Николай был озабочен именно тем, чтобы править в духе своего отца (вспомним его совет земцам "оставить бессмысленные мечтания" о либерализации). Революция 1905 года — отнюдь не результат каких-то "реформ", начатых Николаем Вторым вразрез с духом предшествующего царствования, а, напротив, результат отсутствия необходимых реформ. Зато *после 1905 года* конституционно-правовое развитие России получило достаточно мощный стимул, и Столыпин вовсе не оборвал этот процесс (как наивно думает Янов). Наоборот, Столыпин был — хоть и несколько парадоксальным — но всё же гарантом конституционного развития в будущем.

В результате, выделение Яновым периода 1894-1908 годов в качестве "смутного времени" и фальшиво по сути, и основано на крайне поверхностной, советско-школьного уровня, эрудиции. Это тот самый "заикающийся" марксизм, который особенно непереносим в серьезной дискуссии.

А.Янов насчитывает несколько периодов смутного времени в русской истории ХУІ-ХХ веков. В них он видит доказательство спонтанного развития в России либерально-оппозиционных идей, причем развитие это, как он уверяет (чтобы избавить диссидентов от обвинений в "западном влиянии" на них), шло без всякого заимствования со стороны. "Естественно, — пишет он, — в поисках конструктивных альтернатив оппозиция могла использовать западные концепции в различных ситуациях. Но даже если так было, оппозиция не создавалась этими идеями; скорее, она их технически применяла." (Стр. 3).

В общем, по логике Янова, не Радищев, к примеру, вдохновлялся Вашингтоном, а просто сам Радищев был, так сказать, *несостоявшийся Вашингтон*.

Используя самые дикие натяжки, Янов хочет придумать для России "корневую", так сказать, традицию свободы. Он, по-видимому, считает это очень патриотичным и благородным — сочинить для русской истории не свойственную ей линию развития, проходящую через столетия. В свое время Чаадаев писал: "Мне чужд... блаженный патриотизм... патриотизм лени, который приспособляется всё видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями..." (П.Я.Чаадаев. Философические письма и Апология сумасшедшего. Анн Арбор, "Ардис", 1978, стр. 90). И хотя мы не видим в Янове чрезмерного патриота, не усматриваем в нем даже особенно сильного "патриотического инстинкта", о коем опять-таки говорил Чаадаев, однако Янов, в характерной для него эклектической манере, готов "эксплуатнуть" и такого рода эмоции, лишней раз обнаруживая памфлетность своей статьи. Объективный исследователь, обратившись к русской истории и сравнив ее с историей западноевропейской, приходит к печальному, но трезвому выводу о том, что если в западноевропейской эволюции традиции политической свободы уходят своими корнями в глубокое прошлое, то в России они возникают гораздо позднее и в значительной степени под западным влиянием. Ничего зазорного для русских в признании такого факта нет и быть не может. Вот если бы нация оказалась навсегда глухой к зову свободы, об этом стоило бы, действительно, вздохнуть. Однако восприимчивость и *переимчивость* русского национального характера общеизвестны, и если указанные качества сыграли свою роль в том, что, несмотря на преобладание традиции деспотизма, в истории России всё же возникли сначала элементы, а затем и течения свободной мысли, так этому можно только радоваться. Янов же пытается любой ценой доказать, что *во все времена* свободолюбие являлось как бы одним из столпов русской общественной жизни. Для этого он сочиняет сложную гипотезу об отличии "русской автократии" от "восточного деспотизма", ставит знак равенства между тем, что было в Западной Европе фактором политической действительности, а в России лишь нереализованными про-

ектами отдельных людей, и в конце концов требует считать русский консерватизм эквивалентом европейского либерализма. Словом, "всё смешалось в доме Облонских", и демократическое чувство, которое хочет стимулировать Янов, вряд ли найдет удовлетворение в его "псевдоистории" России.

С надменной самоуверенностью заявляет Янов, что хотя он "полностью готов дискутировать относительно исторических персонажей и дат" (русской истории — А.Д.), однако в этом он "не заинтересован", стремясь "определить *тип* политической организации, которая доминировала в России в течение последних четырех столетий, определить в самом общем виде и в качестве абстрактной модели, указав ее место в контексте идеально понятых систем политической организации, которые преобладали на Западе и Востоке в средние века." (Стр. 6). Одновременно Янов хочет убедить читателя и в своей *конкретно-исторической* эрудиции, сообщая, что "*только о первых двух циклах*" (см. его схему русской истории) он мог бы (но не хочет!) написать "тысячу страниц" в обоснование своей позиции. Благословим же нежелание Александра Янова писать эти страницы, поскольку нам потребовалась бы "тысяча и одна ночь", чтобы одолеть его "сказки". А в качестве *Шехерезады* он с успехом проявил себя и на шестидесяти страницах статьи в канадско-американском журнале.

В ходе конкретного анализа избранного Яновым сюжета из истории XVII века он демонстрирует те же слабости, что и в своих рассуждениях обобщающего свойства. Для него события, связанные с деятельностью верховников (Голицын, Долгорукие и другие), неудача их попытки связать "кондициями" самодержицу Анну Иоанновну — это "величайшая политическая драма России восемнадцатого столетия" (стр. 41), поскольку, "как всегда в русской истории, слуги реакции проявили больше гибкости и смекалки, чем служители прогресса" (стр. 51). Верховники предлагали, — считает Янов, — перспективу либерально-прогрессивного развития России, их усилия не могут квалифицироваться как простая борьба за власть, как один из многих дворцовых переворотов восемнадцатого века; верховники должны были спасти страну от последствий "катастрофического" правления Петра Первого, которого Янов считает тираном, худшим, чем Иван Грозный (но который, как и Грозный, является лишь "псевдодеспотом"); в случае удачи верховников в 1730 году, Россия должна была получить то, что завоевала Англия, благодаря революции XVII-го века, или Швеция, благодаря своим конституционным реформам.

Главная методологическая ошибка Янова состоит в том, что, анализируя конкретную историю, он постоянно смешивает то, что происходило в действительности, с тем, что *могло* (или *не могло*) произойти. Историк должен говорить прежде всего о том, что *было*; что касается того, чего

не было, тут, конечно, возможны всякие предположения, но сие уже не история в собственном смысле этого слова. Даже если Янов считает себя в первую очередь философом, то статью-то он написал все-таки *историческую*, и должен был придерживаться навыков, выработанных профессиональной историографией. Однако Янов настолько явный *дилетант* в истории, что он считает возможным спасать положение элементарной риторикой там, где его побивают элементарные факты. Он доходит до использования наивных приемов гуманистов периода Ренессанса, которым ничего не стоило вложить в уста исторического персонажа *вымышленную* речь, убрать из описания событий детали, не согласуемые, скажем, с античными образцами, коими они вдохновлялись; одним словом, Янов пишет порой в манере каких-нибудь Леонардо Бруни, Поджо Браччолини или Паоло Джовио.

Так, рисуя на стр. 53 картину краха верховников, он предлагает читателю решить, что *было бы*, если б их руководитель Голицын произнес пламенную речь в защиту своих принципов (следует, сочиненный Яновым, вариант этой речи) и что *могло бы* произойти, найдись в тот момент у "русской оппозиции" свой Мирабо? Абзацем ниже Янов меланхолично признает: "Русская оппозиция не нашла своего Мирабо". Казалось бы, всё ясно, тем более, что еще раньше (на стр. 38) Янов признал, что ничего не осуществилось в реальности и из других замыслов верховников. Как же можно после этого, рассматривая историю России, гипертрофировать значение смутных планов, не вполне осознанных надежд, не воплощенных ни в чем проектов, и зачеркивать (или преуменьшать) реальный исторический опыт государства, а также таких его выдающихся деятелей, как ненавидимый Яновым Петр Великий?

Фактически Янов паразитирует на одной бесспорно правильной мысли о том, что успех верховников в ограничении самодержавия *мог бы* проложить для России дорогу к подлинной "модернизации и вестернизации", поскольку, несмотря на петровские реформы, "Россия не обрела подлинную европеизацию" (стр. 45). Но ведь это именно *могло бы только быть*, да и к тому же надо учитывать возможность побочных отрицательных эффектов, связанных с победой узкой аристократической коалиции, представленной верховниками в 1730 году. Пушкин в своей заметке о русской истории ХУІІІ века считал, что поражение верховников "спасло нас от чудовищного феодализма" (А.С.Пушкин. Собрание сочинений. Т. 7. М., 1962, стр. 192), и Пушкин здесь "чувствует историю" безусловно лучше, чем Янов (а в ХХ-ом веке могло бы быть наоборот).

Риторическая одержимость Янова приводит его к беспредельному злоупотреблению аналогиями. У него постоянно мелькают "плутархообразные" пары исторических персонажей, свободно перемещаемые в историческом пространстве: "Ляпунов — средневековый прототип Татищева"

(стр. 49), Петр I -- ухудшенный вариант Ивана Грозного, Дмитрий Голицын -- реинкарнация Михаила Шуйского (стр. 25), и вообще в 1725-30 годах действовали "свой Годунов, свой Шуйский, свой Салтыков и свой Ляпунов". (Стр. 8). Созданная Петром Первым армия риторически именуется Яновым "опричниной", а дальше используется прием настойчивого повторения этого ярлыка -- прием, излюбленный советской пропагандой. Употребив вначале слово "опричнина" применительно к петровской эпохе как *образное выражение* (что не бесспорно по сути, но допустимо по стилю), Янов затем использует этот термин для обработки читательского сознания, повторив его, по нашим подсчетам, девятнадцать раз и повторив уже как *термин*, якобы бесспорно относящийся к петровским и послепетровским временам. Это, по-видимому, должно сублимировать ненависть Янова к Петру Первому, который для него хуже Ивана Грозного. А ведь можно напомнить Янову (скользя -- в его манере -- по весьма поверхностной стороне событий), что у Петра Первого был все-таки свой "правдолюбец" -- князь Яков Долгорукий, тогда как Иван Грозный не вынес даже Курбского. Вот и судите, кто "хуже"...

Антиисторичность мышления Янова дает о себе знать в его аналогиях событий и социально-экономических процессов разных времен. Ему ничего не стоит определить идеи верховников XVIII века как "столыпинщину" (кидая взгляд на столетие вперед) или как повторение идей Адашева (это уже почти на два столетия назад!). Янов даже упрекает историка-марксиста Покровского за то, что тот "не видит" в политике верховников продолжения адашевской абсолютистской "столыпинщины" (стр. 21), как будто вымученные Яновым терминология и схемы должны присутствовать в сознании других историков! Неудивительно, что в сфере реконструкции исторической психологии людей XVIII века Янов совершенно беспомощен: ведь приписывая верховникам не свойственные им категории мышления, он не задумывается над тем обстоятельством, что Дмитрий Голицын и его сподвижники вспоминали, составляя свои проекты, не об Адашеве, Ляпунове, Шуйском, Болотникове (это за них делает Янов!), а говорили о примерах государственного управления в Англии, Польше и Швеции (что, кстати, опровергает яновские утверждения об отсутствии западного влияния на планы "русской оппозиции").

Впрочем, противореча самому себе, Янов вынужден порою отмечать факты воздействия западных идей. Однако и в этих случаях его подводит слабое знание конкретной истории. Янов, например, обнаруживает "странное сходство" между борьбой шведской аристократии и дворянства в период до 1720 года (год принятия одной из шведских конституций) и устремлениями верховников в России. Этому легко противопоставить авторитетное мнение академика Е.В.Тарле. "Не одинаковы с судьбами русского земледельческого класса... были... исторические судьбы шведской

аристократии", — писал Тарле в известной работе "Северная война и шведское нашествие на Россию" (Е.В.Тарле. Сочинения. Т. X. М., АН СССР, 1959, стр. 387). Янову кажется, что как только шведским аристократам удалось ограничить самодержавную власть королей, в Швеции наступил расцвет реформаторства (а это, в соответствии с его поверхностными аналогиями, доказывает, что и в России было бы то же самое в случае победы верховников в 1730 году). Однако Е.В.Тарле справедливо отмечал, что хотя "со смертью Карла XII... руль перешел в руки аристократии" (Там же, стр. 389), подлинно значительных реформ осуществлено не было. Так что, как видим, власть в руках аристократии — отнюдь не чудодейственная панацея, как представляется Янову.

Опровержение всех яновских ошибок (мы указали на них лишь частично) грозило бы непомерным разрастанием текста нашей статьи. Поэтому отметим в заключение только два момента. Первое — это характерная тяга Янова к использованию марксистской терминологии и его "дружбавражда" с М.Н.Покровским — историком вульгарно-марксистского толка (Янов с ним отчасти полемизирует, но и базируется на нем основательно). Второе, что следует упомянуть, — это удручающая слабость источниковедческой базы яновской статьи. Сделав сорок девять сносок в ее тексте, Янов 14 раз сослался на хрестоматийную "Историю России" Сергея Соловьева и 20 раз — на старую работу Д.А.Корсакова "Воцарение Анны Иоанновны" (1880 г.). Пять его сносок не имеют библиографического характера (или представляют библиографию из самого себя). В целом список использованных им источников и работ составил бы 8 названий. Не густо...

В статье Янова нарисована совершенно недостоверная картина русского исторического развития вообще и политической истории начала XVIII века в частности. В угоду произвольной схеме автор искажил множество фактов, очернил (или, напротив, непомерно идеализировал) многих деятелей рассмотренной им эпохи. Утилитарная ограниченность его цели, вопиющая необъективность и марксистская, по существу, методология предопределили философскую пустопорожность яновской работы, равно как и ее конкретно-исторические слабости. Несмотря на все претензии "концептуального" свойства, она оказалась мелочной и примитивной; несмотря на идеалистическую риторику, в ней трудно отыскать истинную красоту и одушевленность. Вспоминая уже цитированного нами Крейна Бринтона, приходится констатировать, что марксизм, определяющий метод и технику мышления Александра Янова, "не может не оставаться чем-то последовательно позитивистским и материалистическим". (Крейн Бринтон. Истоки современного мира, стр. 336). В качестве же такового, он не может не мстить бездуховностью тем, кто не порвал с ним до конца.

Однако и борясь с марксизмом, следует помнить, что само по себе ему противостояние, без культуры мысли и беззаветной любви к истине, еще не дает гарантию правоты в идейном споре. Белинский некогда хорошо развил ту мысль, что в столкновении между правдой и ложью сила правды такова, что не нуждается ни в каких дополнительных подпорках: она в состоянии побеждать *сама по себе*. Об этом, к несчастью, забывают те, кто полемизирует с марксистами, стремясь, так сказать, "перехитрить" их, применяя против трюкачества марксизма встречное трюкачество и не понимая в результате, что нечестность в споре рано или поздно наказывается. Ложь марксизма не может быть преодолена ложью наоборот; только в свете правды рассеются демоны марксистской софистологии, только под лучом беспристрастного анализа (который не исключает, разумеется, *страстности* в идейной борьбе) обнажатся все закоулки и потемки, "подпольного" по своему характеру, марксистского мышления.

При этом самые лучшие побуждения не извиняют нечестности и отсутствия культуры. В свое время Пастернак заметил: "Благими намерениями вымощен ад. Установился взгляд, Что если вымостить ими стихи, Простятся все грехи". Но подобно тому, как в стихах недостаток профессионального уровня может вывести их за пределы литературы вообще, так же и в *статьях* по философско-социологической проблематике уровень мысли и ее "техника" могут оказаться решающими факторами, независимо от субъективных намерений того или иного автора.

Возьмем пример не самого худшего свойства, иллюстрирующий это. Представительница "третьей волны" в эмиграции Дора Штурман приобрела известность как довольно авторитетный критик марксизма. Ее критическая "лениниана", весьма интересная точка зрения на Бухарина, высказанная в журнале "Время и Мы", свидетельствуют о больших возможностях этого автора. Но выступая, скажем, на страницах "Голоса Зарубежья", где часто публикуются авторы, способные не столько к анализу, сколько к *ругани*, Дора Штурман предпочитает, по-видимому, "плыть по течению" и опускается до приемов нечестного цитирования и слабо мотивированной аргументации (см. ее статью "Уничтожение класса и диктатура пролетариата" — "Голос Зарубежья", 1978, № 10, стр. 3-9). Когда, например, она цитирует Ленина ("Тезисы ко Второму Конгрессу Коминтерна"), выделяет его слова (которые впоследствии обыгрывает) и не оговаривает, что *выделение этих слов сделано ею, а не Лениным*, — это, разумеется, мелкий факт полемической нечистоплотности, но всё же печальный факт. Мы понимаем, что наше замечание может показаться микроскопической придиркой, и если бы речь шла об Александре Янове, которому с его "высот" вообще наплевать на такие "мелочи", как приемы



честной полемики научного образца, то мы и не упомянули бы ни о чем подобном. Однако Дора Штурман в целом производит впечатление серьезного ученого, так что в отношении ее наша реплика уместна. Да и вообще следует подчеркнуть, что в критике марксизма русская интеллектуальная мысль дала своего рода классические образцы как в смысле мощи противопоставленных концепций, так и в плане отточенной, ювелирно-виртуозной и *честной* полемической манеры. Этими образцами стоит вдохновляться, им надо следовать. Принимая на себя упрек в "старомодности" наших пристрастий, мы позволим назвать здесь как ключевые имена авторов сборника "Вехи" или сборника "Из глубины", а также блестящую работу Б.П.Вышеславцева "Философская нищета марксизма".

Именно в этой книге Б.П.Вышеславцев писал: "...марксист есть тот, у кого отнимается высшая ценность (и не "прибавочная", а основная), ценность свободной и творческой мысли, ценность истинной диалектики, могущей сказать "да", но могущей сказать и великое "нет"!

Марксизм есть инквизиционная догма, преследующая "еретиков" огнем и мечом; она будет уничтожена творческой и революционной диалектикой." (Б.П.Вышеславцев. Ук. соч., Франкфурт на Майне, "Посев", 1971, стр. 183).

Обратим внимание на последние слова. Б.П.Вышеславцев не боится использовать против марксизма терминологию, почти монополизированную марксизмом. И он прав: с марксизмом следует воевать, не обязательно осуждая ханжески всякую "революционность", или страшаясь всякой "диалектики". Не обязательно при этом и подменять критику *марксизма по существу* нападками на личности Маркса, Энгельса и Ленина, выискивая у них грехи и противоречия (которые у них, разумеется, есть, но которые не так уж много доказывают). Мы не хотим сказать, что не следует вообще критиковать Маркса, Энгельса и Ленина в личностном плане — наоборот, персоналии такого рода нужны и важны. Однако следует понимать разницу между глубинно-философским началом в критике и ее, если можно так выразиться, агитационно-поверхностным срезом. Смешение двух этих аспектов приводит часто к тому, что понижается уровень критики и она усваивает те приемы "техники лжи", которые чреватые возмездием в отношении тех, кто их использует.

Всё сказанное применимо к двум небольшим книжечкам, являющими собой наиболее распространенный в современной русской эмиграции метод критики марксизма. Первая из них — "Замолчанный Маркс" принадлежит перу Н.Ульянова; вторая — на сходную тему — называется "К.Маркс о России" (автор ее скрылся за инициалами Н.Н.). У нас нет никаких сомнений в благородстве замысла обеих этих книг: вскрыть неприязнь Маркса к России и русским, показать, что создатель учения "пролетарского интернационализма" был заражен самыми банальными националистичес-

кими предрассудками, что его, якобы, *последовательная* система мышления полна противоречий и т.д. Однако приемы доказательств всего этого стоят не на уровне авторских побуждений. Многие аргументы, как минимум, бьют мимо цели, а порою даже заставляют думать о правоте критикуемого Маркса. "Техника лжи" одним своим наличием в полемике отравляет ее микроклимат.

Книга Н.Н. ("К.Маркс о России". Анализ неизвестных статей. Канада, "Заря", 1972) ставит своей задачей просветить читателей насчет того, что, будто бы, скрыто от них в издании сочинений Маркса и Энгельса в СССР. Речь идет о двух сериях статей 50-х годов XIX века, посвященных т.н. "восточному вопросу" и дипломатической истории ХУIII века. Обратим внимание на такую деталь. Книга Н.Н. написана в 1972 году. Как известно, с середины 50-х годов в СССР издавалось *второе издание* собрания сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса, куда включены были материалы, по различным причинам не попавшие в первое издание (довоенного времени). Включены туда и те статьи, которые Н.Н. объявил "неизвестными". В 1972 году он не мог об этом не знать. И что же проделывает Н.Н.? В предисловии он ссылается на ряд западных авторов, которые указывали на факт отсутствия ряда статей Маркса в *первом* издании его сочинений. Н.Н. объясняет это отсутствие тем, что советские власти, мол, боятся опубликовать статьи Маркса, содержащие критические суждения о России, русской истории, о славянах вообще. Будь это так, ценность книги Н.Н. приобрела бы сенсационный оттенок, но — увы — *это не так*. И Н.Н. делает характерную оговорку: "Следует, — пишет он, — ...принять во внимание, что даже в том случае, если упомянутые статьи оказались бы — в настоящее время или в будущем — (сие написано в 1972 году — А.Д.) всё же включенными в советское издание полного собрания трудов Карла Маркса, круг лиц, которые фактически ознакомились бы с содержанием этих статей, остался бы несомненно крайне ограниченным, даже ничтожным по своей численности. Кто стал бы доискиваться в столь многотомном издании каких-то статей по восточному вопросу или по истории тайной дипломатии ХУIII века, написанных уже более чем сто лет назад?" (Н.Н. Ук. соч., стр. 11).

Настоящий исследователь стал бы, — твердо ответим мы. А что до "широкого читателя", о котором так печется Н.Н., то он не станет, конечно, изучать статьи Маркса, но и брошюру Н.Н. об этих статьях он вряд ли прочтет. Во всяком случае, и независимо от этого, дезинформация — дело скверное, а дезинформация, использованная как повод для написания книги, автоматически ставит под сомнение всё, в ней написанное. Мы не будем детально спорить по поводу многих весьма спорных положений Н.Н. Приведем лишь один пример его, так сказать, "библиографической

недобросовестности". На стр. 56 он, обвиняя Маркса в желании обесславить русскую военную традицию, разбирает ход мысли Маркса следующим образом:

"Он (Маркс — А.Д.) начинает свои рассуждения, цитируя слова Державина (по-видимому из одного из его стихотворений), смысл которых заключается в том, что русским никаких союзников не нужно, что русским лишь следует шагать вперед и тогда всё (или весь свет) окажется в их власти. (Подлинный русский текст нам не удалось восстановить. Стихотворение Державина, содержащее цитированные Марксом стихи, по-видимому не вошло в использованное нами при поисках подлинника собрание стихотворений Державина, изданное в 1958 году в Москве Государственным Издательством Художественной Литературы)".

Очень любопытно! Н.Н., подобно "широкому читателю", позволяет себе не докапываться до источников. А ведь, *перепроверяя Маркса*, следовало сообразить, что не мог Маркс в XIX веке использовать *советскую* публикацию стихов Державина 1958 года! Н.Н. должен был бы найти до-революционные издания Державина, ибо источником для Маркса могли быть именно они.

Всё это мелочь, вы скажете? Конечно, мелочь. Но и Н.Н. свою полемику строит на мелочах. То же самое мы наблюдаем в брошюре Н.Ульянова "Замолчанный Маркс" (Франкфурт на Майне, "Посев", 1969). В ней, критикуя В.Чернова за его характеристику отдельных воззрений Маркса в качестве "революционного шовинизма", Н.Ульянов утверждает, что, мол, "шовинизм категория национальная и в другой план непереносима" (стр. 13), а на странице 27 из его же рассуждений вытекает именно такая, совпадающая с черновской, оценка взглядов Маркса (и Энгельса впридачу). Для чего же было делать выпад против Чернова? Для пущей "оригинальности"? Уж лучше оставить потуги на нее в монопольное достояние авторов типа Александра Янова...

"Никто не обнимет необъятное", — сказал Козьма Прутков. Подходя к тому рубежу нашей статьи, когда может возникнуть впечатление, что мы хотим оспорить глубину прутковской сентенции, мы оставляем в стороне многие другие примеры использования запрещенных и нечестных приемов на разных уровнях философической полемики, разными авторами. Достаточно сказанного выше, чтобы понять недееспособность лжи как подлинно боевого критического оружия. И в какие бы корни она ни уходила, в какую бы софистику ни пряталась, ее конечное бессилие в поединке с пафосом научной истины предопределено.

## ОДИНОКИЙ ВЕЛИКАН

(О сборнике статей прот.А.Шмемана "О Солженицыне"  
1975 г. Монреаль.)

*"Испытывайте духов, от Бога ли они".*

1 Ио. 4. 1

Эта небольшая, но поистине бездонная содержанием и смыслом книжца щедро развертывает перед нами феноменологию могучего духа современности, солженицынского духа — в его человеческой, экзистенциальной ипостаси, рассмотренной сквозь призму личного творчества, и одновременно помещенной в национальный историко-литературный ряд. "Приговор" звучит однозначно: этот Дух — от Бога!

Книга составлена из пяти статей. Владыка Сильвестр в кратком вступительном слове говорит: "Мы решили издать отдельной брошюрой статьи о. Александра Шмемана о трудах А.И. Солженицына... Считаем анализ о. Александра произведений А.И. Солженицына одним из лучших и более глубоким из всего до сих пор написанного на эту тему". По простоте пяти лет оценка эта, кажется, не претерпела изменений. По крайней мере, с точки зрения христианской.

1. Часто приходится наблюдать, в особенности у глубоко религиозных людей, странный на первый взгляд парадокс: благоговение перед Солженицыным как национальным героем и большим — в традиционном смысле народного трибуна — писателем земли русской, и в то же время некая неохота, небрежение в чтении. Как-то воздерживаются, читают вроде бы из-под палки, больше по сенсации и ли необходимости "познавательного ознакомления", чем по внутреннему императиву духовного приобщения. К другому, запрещенному в Совдепии, приобщаются с интересом, читают с удовольствием, иногда с искренним восторгом. А вот Солженицына — нет. Почему? Хотят, по-видимому, сохранить в глубине души цельный образ, "неомутненный, непродрогнувший, неискаженный", боятся чем-либо запачкать, уронить, расплескать. А вдруг окажется — вот хотя бы в литературном мастерстве, в т е к с т а х своих — не так уж "идеален" Солженицын, чист и велик, как в стоянии "не по лжи", как в борьбе "на возврате дыхания и сознания"... Ведь текст все же, как ни говори, — это та самая "мысль изреченная", которая уже "есть ложь" согласно определению поэта. И не суть, что, коль скоро оно изречено, то и побито самим фактом своего изречения. В иррациональной своей глубине оно остается конгениальным русской ду-

ше. Соответственно и чтение "изреченного" (текстов) считается сомнительным, ибо есть процесс дискурсивный, рассекающий, "объективирующий". Солженицына же воспринимают целиком, доверяют сердцем — и "объективизировать" не хотят. Очень чувствительный слой нашей национальной души затронул Солженицын.

И вот перед нами, образно говоря, "изречение об изреченном", некое как бы "снятие", выявление в нем н е и з р е ч е н н о г о. Значит, истинного. Духовная, так сказать, его проверка. Такова книга о. Александра о Солженицыне, продукт "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет" — произведение искреннее, горячее, убедительное. Думается, она способна во многом сгладить вышеозначенный парадокс, примирить в нашем отношении к Солженицыну сердце с разумом. Ибо читая, всем своим существом соглашаешься, верифицируешь собственные интенции, уничтожаешь вместе с автором последние сомнения и приходишь к выводу: нет, в с е г д а и в е з д е, и в текстах своих более всего, огромен Солженицын, хранит зароненное ему "изображение вечности", и в творчестве своем остается, как и в жизни и в борьбе, сердцем "яко голубь прост", умом "яко змий мудр".

Одна из основных мыслей сборника сводится к тому, что Солженицын — это первый н а ц и о н а л ь н ы й писатель советского периода русской литературы. В нем оканчивается ее "советский" период (так же, как оканчивался период "серебряного века", скажем, в Пастернаке). Своей правдой он обличил ее неправду, своей коренной к ней принадлежностью он изнутри претворил "советское" в русское. "Дав национального писателя, советская литература кончается как "советская", но, тем самым, в самой себе обретает и принцип своего собственного возрождения как "русская" (стр. 11). Те "пять, нет, шесть имен" из современной подсоветской (русской) "деревенской литературы", что мысленно (вслух нельзя) перечислил Солженицын в недавнем интервью И.И. Сапием, ВВС ("Вестник РХД", № 127) — не являются ли живым литературным свидетельством этого, самим Солженицыным начатого возрождения?

Солженицын — "новый праздник русской литературы, новое торжество России" (стр. 22). Но это не должно заслонить от нас другой, во многом противоречивый, но для России, кажется, ставший давно уже обыденным факт: личная творческая (да и человеческая) судьба творца — трагична. Как говорит о. Александр (стр. 27): "...суждено ему (Солженицыну), по-видимому, занять трагическое по своему одиночеству место в русской литературе (еще более, думается, в русской жизни — П.Б.): место *экзорциста* русского сознания, освободителя его от всех идолов, пленявших и пленивших его, от свойственного нам, увы, идолопоклонства", — перед всевозможными новейшими, но и, к несчастью, перед традиционно националистическими, "истинно-православными" кумирами.

Что же все-таки значит этот экзорцизм в плане конкретном, — религиозном и историко-литературном?

2. Первей всего он значит к а т а р с и с, возврат к вере как удостоверение вещей невидимых, но подлинно живых; к вере как духовному феномену, обличающему все лжеверы, все эпифеномены-мифы, в том числе и самый главный, самый пагубный из них — м и ф о Р о с с и и. Миф этот укоренился в нашем сознании давно, пустил метастазы, детерминировал в итоге строй народной души, привел к страшному и бессмысленному, прежде всего духовному, поражению. Это было сокрушительное и унижительное поражение в войне и революции, поражение трагически-очевидно несчастное, неминуемо этим душевным строем предопределенное. Первый "узел", первую "завязь" этой "раковой опухоли" русского духа описывает в "Августе четырнадцатого" Солженицын. Эта книга — "плач по России", как назвал ее о. Александр. Но сквозь слезы пробивается здесь солженицынская не слепая, но мудрая и зрелая, з р я ч а я л ю б о в ь.

Любовь к правде, духовное видение, омытое любовью, раскрывает перед его обладателем неведомые глубины. Это тот самый внутренний голос, знаменитый "даймон" Сократа, в котором напряженно вибрирует и звучит струна "рока", слышится мотив судьбы. Зрячей любовью обусловлен ясно-видящий "фатализм" Солженицына, в нем светятся тайны русской истории, падают мифы не во имя иных мифов, но во имя Божье, не все вспоминаемое, но которое запрещено было даже произносить древнему Израилю, неизреченное и неизъяснимое, но оно — *есть*. "Ибо, конечно, у Солженицына над всем и над всеми — Бог" (стр. 30).

Итак, гибель России была предопределена мифом о России, укорененном в национальном сознании, — мифом об ее исключительности. "Мы русские, и с нами Бог"; а сейчас вот трагикомично и дешево разменялось на "самое передовое учение". Эх, помнить бы нам другое: "страшен черт, да милостив Бог". Не была бы судьба русских, уверовавших в миф о России, вместо веры в Бога, столь страшной и трагичной. Но она — поучительный урок миру.

Солженицын мужественно и пронизательно вскрывает в "Августе Четырнадцатого" как вечная эта ставка на пресловутую "русскую статью", эта в плоть и кровь ввевшаяся "прелесть" заменила нам стратегию и тактику (и даже амуницию) во время войны. А в мирное время всё это заменяет закон и право, собственность и свободу, человеческое достоинство и честь. А в православной церкви, к нашему общему прискорбию, подменяет подлинное и праведное ее о х р а н е н и е коварным соблазном с а м о с о х р а н е н и я. То есть, подменяет церковное служение к а ж д о м у — верующему и неверующему (первое второму) — преследованием одних лишь так называемых "интересов верующих".

Все это происходит, по слову о. Александра, "когда церковное общество начинает, почти бессознательно, служить себе, а не назначению Церкви в мире... Когда по видимости все остается таким же — благолепным, молитвенным, духовным, утешительным, а на глубине уже искривлено тон-

ким — самым тонким из всех! — духовным эгоизмом — эгоцентризмом. (стр. 52).

И вот именно этот эгоизм совершенно чужд Солженицыну. Его забота и боль — не столько о верующих (они, худо-бедно, и так уже в Церкви), но как раз о неверующих. "В каждом человеке, — говорит). Александр, — спасается или гибнет весь мир, и потому к каждому человеку направлена и обращена Церковь и ради одного, бесценного и купленного "дорогой ценой", призвана все время оставлять девяносто девять" (там же). Но с ужасом убеждаемся, что покидает Церковь не "девяносто девять", а этого "одного". О нем-то и печалится, с ним и не хочет расставаться Солженицын. И покидает Церковь "одного" не только на произвол судьбы, но и на растерзание тех самых "девяносто девяти". И поэтому представляются обоснованными, да и подтвердились уже, опасения о. Александра (см. стр. 26), что в гонениях на Солженицына к советчине присоединится теперь и эта, без малого "церковная сотня": будут гнать, — как в Совдепии, так и здесь, за рубежом.

И не только гонения грозят Солженицыну, но и кое-что пострашней — идеологическое оприходование: "... как дважды два четыре докажут... что он монархист или же антимонархист, консерватор или же прогрессист, "истинно-православный" или же "модернист", — одним словом, "нашенский". Тогда как от всякой "идеологии" и свободен как раз Солженицын и нас может освободить. Тогда как пишет он не еще один трактат о лекарстве, а сам есть то лекарство, по которому стосковался наш организм" (стр. 28). И "лекарство", прежде всего, литературное.

3. Этого важного обстоятельства ни на минуту не упускает из виду автор сборника, особо акцентируя наше внимание на плане историко-литературном. И "чудо" Солженицына здесь раскрывается в том, что в лице этого "первого национального писателя советского периода русской литературы" мы имеем одновременно "писателя христианского" (стр. 15). И, очевидно, христианского не в смысле традиционно-исторического, православно-русского христианства, для которого "на все воля Божья" и "не может быть Бог ни с кем, как с нами, русскими" (стр. 25), о котором сам Солженицын говорит: "молитвой квашни не замесишь". Или бросает совсем уж жутко: "не нами неправда стала, не нами и кончится..." (стр. 30). И не в смысле пресловутого "богоискательства", "романа с Богом" русской литературы, в которых "не всё было христианского корня" (стр. 49), много было "душевности", "открытости к мифам", всего того, что требует проверки и оценки со стороны духовности, но где мало было трезвости как раз в этой самой "духовности". А является Солженицын христианским писателем в смысле пушкинской "Капитанской дочки" (стр. 15), которую Г.П.Федотов назвал "самым христианским произведением русской литературы", ибо питалось оно, как и солженицынское творчество, тем, что названо у о. Александра — на профессиональном богослов-

ском языке — уникальной, присущей только христианству триединой интуицией сотворенности, падшести и возрожденности (стр. 16). И это есть какое-то, еще неведомое на Руси, п е р в о р о д н о е христианство. Утвержденное ныне творчеством Солженицына, оно должно стать краеугольным камнем возрождения "советской" литературы как литературы "русской".

Солженицын — не побоимся сказать — великий религиозный и литературный реформатор, поворотный пункт в русской судьбе. Поставить рядом с ним — по силе обличения зла — в новой истории христианства почти что некого. Кроме Лютера. И недаром нашу переломную эпоху все отчетливей и сознательней начинают звать "эпохой Солженицына".

И в заключение еще раз о нападках, на этот раз "слева", из лагеря безрелигиозников. Выступили пока: профессор Е. Эткинд под лозунгом "долгой всякую религию", в том числе и христианскую, ибо "в наше время подлинная связь человечества — культура — это и есть религия" ("НПС", 13 декабря 1979 г.). Второй из той же когорты — известный правозащитник В. Чалидзе. Этот решил бить Солженицына "ниже пояса", испытанным оружием "злобы дня": взял да и поставил христианина Солженицына на одну доску с самой сейчас одиозной фигурой всему миру известного иранского аятоллы. Прямо скажем, запрещенный прием, — как по существу, так и формально. Не придавал г-н Чалидзе значения такой для него, по-видимому, "мелочи", что Библия — это все же не Коран. При всех непреходящих достоинствах последнего.

Е. Эткинду же хочется порекомендовать прочесть (или перечесть) хотя бы книгу Н.А. Бердяева "О свободе и рабстве человека", особенно главу "О прельщении культурных ценностей"; или рецензируемый сборник, где о. Александр хорошо и тонко проводит дефиницию того, что суть "т о л ь к о культура, сеется в тлении и еще только призвано восстать в нетлении" (стр. 6).

Или вот еще, не нападки, а хуже — профонация. Журнал "Континент" (№ 18), "созвездие" имен, "круглый стол" и спецприложение, посвященные 60-летию Солженицына. Такое можно только приветствовать. И что же? За некоторым исключением, мы натываемся на явно случайный, формальный подбор участников, — как говорится, лишь "для кворума". Унылая натянутасть оценок, каскады общих фраз. Всему довлеет не понимание "предмета", а тщеславное стремление "примазаться" к престижной дате; либо, в лучшем случае, тяжкая необходимость высказаться "по поводу" юбилея знаменитой, но мало понятной (а для некоторых и мало приятной) личности. Невольно хочется посоветовать, как и Эткинду (он, кстати, тоже присутствовал): перечитайте сборник статей о "юбиларе" сотрудника вашей же редколлегии, господина, да повнимательней!

Сбываются все же предвидения о духовном одиночестве гиганта. Как говорит о. Александр: "Талант может всё, гений не может не...". Сол-



женицын не может не быть собой, не заплатить за "все свое", от Бога данное, "полной мерой гонения и ненависти, и — что еще хуже, еще страшней — непониманием слепых и глухих, маленьких, суетливых, цепко держащихся за своих нищих идолов" (стр. 39). Это его судьба, его жребий, — трагический, но и прекрасный. И вслед за православным священником, глубже других понявшим и прочувствовавшим эту чудесную судьбу, перефразируя и распространяя сказанное им об "Августе Четырнадцатого" (стр. 32) на всю творческую жизнь Александра Солженицына, мы можем почти теми же словами и в том же избытке радости повторить: какая это прекрасная, освобождающая, освежающая жизнь, какой это праздник! Каким полным, заслуженным счастьем должен быть счастлив живущий ею человек!

Мир ему и творческих откровений!

**П о с т с к р и п т у м:** Статья была уже написана, когда в "НРС" от 3-го января сего года появилось "Письмо в редакцию" М.Бернштама, опровергающие полемические приемы, использованные В.Чалидзе против Солженицына. Выступление это следует признать ценным и своевременным. По существу, М.Бернштам иллюстрирует тезис нашей статьи о натяжках, "запрещенных приемах" и прочих методах идеологической борьбы, к которым вынужден был прибегнуть оппонент Солженицына, не имея других аргументов и слабо ориентируясь за пределами области (печатания документов о нарушении прав в СССР), внутри которой, однако, его заслуги неоспоримы. Остается пожелать М.Бернштаму, чтобы и в оценках западных авторов он сумел сохранять подобную же сдержанность и объективность (отсылаем читателя по этому поводу к соответствующему месту моей статьи "Диктатура массы и судьба русской культуры" в "Современнике", № 43-44).

## ПАНСЛАВИЗМ ИЛИ ПАНРУСИЗМ \*

*И своды древние Софии  
В возобновленной Византии  
Вновь осенят Христов алтарь!  
Пади пред ним, о Царь России,  
И встань, как Всеславянский Царь!*

*Ф. Тютчев*

Панславизм как течение впервые появился среди западных славян, находившихся в то время под глубоким влиянием западного, особенно немецкого, романтизма. Потерявшие свою независимость чехи и словаки, а затем поляки, украинцы и южные славяне, благодаря знакомству с произведениями Иоганна Готфрида фон Гердера, впервые открыли, что они связаны между собой лингвистическим родством и славянским *Volksgeist*. Центральным пунктом гердеровского учения являлась роль языка в развитии национального сознания. Гердер учил, что для еще неполностью сформировавшихся наций язык, как средство воссоздания и свидетельства прошлого, есть единственный источник, устанавливающий их национальное лицо. С проникновением этих идей в славянский мир базис для культурного панславизма и национального возрождения был найден. Однако впоследствии многообразные панславистские течения доказали, что они взаимоисключают друг друга.

Панславизм был не только сознательно направленным поиском общих истоков этнического родства, но также продуктом иных, психологических и политических требований. Культурное и политическое состояние славян далеко уступало таковому у их западных соседей. Они поэтому испытывали настоятельную нужду почувствовать себя большой и сильной семьей. Это компенсировало бы их отставание, дало бы свежий источник силы.

Основной целью ранних панславистов, особенно чехов, словаков и украинцев, была политическая свобода, которую они надеялись достичь в федерации с тремя другими, находящимися в аналогичном положении, сла-

---

\* Translated by Peter Boldyrev from: 'Russian Imperialism: from Ivan the Great to the Revolution'. Edited by Taras Hunczak with an Introduction by Hans Kohn. Copyright © 1974 by Rutgers University, The State University of New Jersey. Reprinted by permission of Rutgers University Press.

*Статья профессора Т.Гунчака печатается с сокращениями.*

вянскими нациями. Все эти славяне, не имея государственной независимости, менее всего претендовали на роль лидера. Все они с лихвой были бы удовлетворены и статусом равенства.

Панславизм этих политически более слабых наций заметно отличался от польского и особенно от русского понимания славянской солидарности. Поляки, также потерявшие свою независимость после раздела 1795 года, были, однако, уверены, что именно теперь на их плечи легла особая миссия в отношении Восточной Европы. Это настроение ярко выразил Адам Мицкевич. В работе "Книга Польского Народа" (1832) он открыто возвысил свою страну, так что Польша оказалась под его пером воплощением свободы. Космическая идея польской миссии явилась продолжением христианской концепции спасения и искупления ценой страдания и смерти. В рамках этих поэтических грез воскресение Польши возвестило бы освобождение и спасение человечества, оно открыло бы эру всеобщего и вечного мира. Близкие Мицкевичу мессианские взгляды были провозглашены также Зигмундом Красинским и Юлиушем Словацким.

Гегемонистская позиция среди славян, на которую претендовали поляки, надеясь использовать ее против России, представляла для русских серьезную конкуренцию. Этот конфликт, дополненный растущим национализмом, создал атмосферу, в которой искренние сверхнациональные (универсалистские) чаяния оказались невозможными. Нельзя, конечно, окончательно сбрасывать со счетов серьезные намерения некоторых мыслителей XIX века, искренне исповедывавших универсализм. Однако следует иметь в виду, что мессианистические движения сплошь и рядом использовались как фасад для политических целей. Русский панславизм как раз и представлял из себя подобный подход.

Русский панславизм был как бы распространением славянофильской идеологии на политическую сферу, однако уже в другой фазе русского национального сознания. Он был смесью романтизма и умственных веяний наполеоновской эры с ее надеждами на пробуждение масс. Эта смесь была опосредована особенностями русского исторического развития. Русские, погруженные в покорность и пассивность, как бы пробуждались к новой жизни, искали животворных истоков прошлого в надежде явить и идентифицировать свое национальное лицо.

Славянофильство с панславизмом как раз и отразили — в двух различных аспектах — это брожение, этот поиск русскими своей национальной мысли. Александр Герцен, возможно, наиболее глубокий русский мыслитель XIX века, писал: "Славянизм, или русизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство... как противодействие исключительно иностранному влиянию, существовал со времени обрития первой бороды Петром I".

Славянофильство и было реакцией этой раненой гордости, переживанием неполноценности, которое заставило русских предпринять ревизию исторического наследия в надежде сыскать нечто, что восстановило бы

их самоуважение и достоинство в чужих глазах. Существовала настоящая нужда в обращении к прошлому, что русские и предприняли с энергией и решительностью. Результаты этой национальной интроспекции незамысловато разделили русскую интеллигенцию на две ясно и четко очерченные группы западников и славянофилов.

Первые, глубоко испытывавшие влияние Запада, увидели спасение России в принятии западных культурных ценностей и либеральных идеалов. Петр Чаадаев, сыгравший в это время, как известно, роль катализатора в принципиальном споре о сущности русской истории, не нашел ничего стоящего или вдохновляющего в обозримом прошлом русского народа.

Чаадаевский красноречивый, хотя и преувеличенный, обвинительный приговор русскому историческому прошлому, "выстрел, раздавшийся в темную ночь" (выражение Герцена в "Былом и Думах"), воспламенил раненую национальную гордость, породив в то же время резко отрицательную реакцию в официальных и правительственных кругах. Полемика, вовлекшая наиболее выдающиеся умы, приняла, однако, неожиданный поворот. Вдохновленные позицией националистического ежемесячника "Москвитин", который устами своего основателя Михаила Погодина провозгласил огульное неприятие всего иностранного, защитники "русского наследия" обратили свои атаки против Запада и его, якобы, развращающего влияния на русскую культуру. Так один из важных элементов славянофильства, а впоследствии и панславизма, получил право на существование. Как показал Фридрих Герц, этот элемент (борьба с иностранным влиянием) сыграл значительную роль в становлении национализма среди славян вообще. Когда антизападная ориентация славянофильской идеологии окончательно откристаллизовалась, к ней добавились новые элементы. Теперь философы-славянофилы утверждали, что основополагающее различие западного и восточного миров принципиально неустранимо. А их наследники — панслависты, сделали следующий шаг и открыто заявили, что конфронтация эта может быть разрешена лишь вооруженным столкновением. В нем упадочный Запад должен погибнуть, а победоносная Россия останется вершиной мировой судьбы.

Кроме этого негативного элемента, славянофилы развили целую систему ценностей, которые полностью соответствовали их концепции о сущности русской нации и ее провиденциальной миссии. Следуя за методологией западного романтизма, они откопали в русском прошлом множество учреждений и характерных обычаев, которые были истолкованы так, чтобы укрепить чувство национального самоуважения.

Как и любые националистические движения, славянофильство нуждалось в более широкой базе для своей идеологии. Таковой явилась апологетика "простых русских людей", н а р о д а, который в своей простоте и отсталости являл, будто бы, все личные и социальные добродетели, трактуемые как специфически русские. Они, якобы, и помогли сохранить смирение и коллективизм русского духа, — черты, которые славянофилы про-

возгласили совершенно несовместимыми с эгоизмом и индивидуализмом западного мира. Это был тот самый акцент на примате коллективного и общинного над индивидуальным, тот принцип "гармонии и братства", который, согласно славянофилам, нес России и миру духовное возрождение.

Центральным пунктом славянофильской идеологии была Русская Православная Церковь с ее проповедью универсальной истины, любви и внутренней свободы. Церковь для славянофилов была главным принципом внутренней национальной жизни, она была существенно связана с личными и семейными отношениями, с социальными институтами и этническими атрибутами.

Распространение православия на социо-этническую сферу нашло свое выражение в славянофильском образе крестьянской общины. А эту последнюю славянофилы увязывали со своей доктриной "органического развития", где постулировались стадии роста от индивида к семье, к общине, к нации, — в направлении к социальной и моральной целостности.

Константин Аксаков дал, может быть, наилучшее описание общины: "Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее их согласие: это действо любви, высокое действо христианское, более или менее неясно выражающееся в разных (д р у г и х) своих проявлениях. Община представляет таким образом нравственный хор, и как в хоре не теряется голос, но, подчиняясь общему строю, слышится в согласии всех голосов: так и в общине не теряется личность, но, отказываясь от своей исключительности для согласия общего, она находит себя в высшем очищенном виде, в согласии равномерно самоотверженных личностей; как в созвучии голосов каждый голос дает свой звук, так в нравственном созвучии личностей, каждая личность слышна, но не одиноко, а согласно — и предстает высокое явление дружного совокупного бытия разумных существ (сознаний); предстает братство, община — торжество духа человеческого."

Романтическое осмысление русской с о б о р н о с т и или целостности как продукта органического принципа, пронизывающего русскую жизнь на всех уровнях, вело к русской мессианской идее. Она подкреплялась гегелевским понятием единства и преемственности исторического процесса, в различные периоды которого преимущественно одна какая-либо нация имела задание обнаружить в истории абсолютный дух. Славянофилам казалось, что сейчас таковой является русская нация и, следовательно, русским предназначением было спасти мир. Этот универсализм, как основа мессианских чаяний, все же умерялся у славянофилов желанием идентифицировать Россию с православной Церковью, с ее нормами и идеалами, которые и должны были в конечном счете переродить человечество.

Различные аспекты славянофильской идеологии вошли в состав русского национализма, чьим апофеозом был именно мессианизм. Однако слишком рьяное стремление славянофилов к национальному самооправда-

нию (в основном путем интроспекции собственных ценностей и идеалов на русское историческое прошлое оказалось в конце концов антитезой русским мессианистским претензиям на универсализм. Такое развитие национализма вело Россию в направлении к шовинизму.

Вл. Соловьев следующим образом выразил взаимоисключающие этапы этого развития: "Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют наш народ от образованного человечества, т.е. поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды — вот три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами. Первые в своем учении были чистыми фантазерами; второй был реалист с фантазией; последние, наконец, — реалисты без всякой фантазии, но также и без всякого стыда." (Вл. Соловьев. Национальный вопрос в России. Изд. 3, вып. 2. СПб., 1891, стр. 97).

Славянофилы, выгодно отличавшиеся от остальных русских националистов-ретроградов отрицательным отношением к государству, крепостному праву и народной необразованности, тем не менее, разделяли в глубине души привязанность ко всем этим элементам русского прошлого, которые, по их убеждению, дали России силу и национальное лицо. Так и случилось, что, при всей их претензии на универсализм, они были слишком захвачены националистической волной, чтобы проявлять интерес к другим славянам. И даже в тех редких случаях, когда он проявлялся, они неизбежно увязывали вопрос с размером и мощью России, с ее естественным, по их мнению, правом на гегемонию среди других членов славянской семьи.

Впервые интерес русских националистов к другим славянам (которые, как казалось в то время, могли быть присоединены к русской империи с помощью русской армии) был проявлен в 1821 году — в лице ревностного националиста Мих. Погодина. 10 лет спустя величайший поэт России (и националист прозападной ориентации) Александр Пушкин сочинил стихотворение "Клеветникам России". Это был ответ тем, кто поддерживал польских повстанцев в их борьбе с Россией. Пушкин закончил свое стихотворение, которое можно считать русской версией кипплинговского "Бремени белого человека", заявлением, что славянские реки должны влиться в русское море. В этих строках было выражено то, что стало затем кредо русского панславизма. Любая попытка отделения, например, сделанная поляками в 1831 году, или украинскими панславистами в более поздний период, встречалась в штыки русскими фалангистами.

Это стремление русских к централизации под своей эгидой, проявившееся особенно у славянофилов, было соответствующим образом отмечено другими славянами. Возможно, наиболее красноречивым критиком

этой тенденции был Карел Гавличек — талантливый чешский журналист, преданный одно время панславизму. Чтобы лучше узнать своих славянских братьев, он предпринял поездку сперва в Варшаву, затем в Москву. Результатом этого путешествия было уныние. Оказалось, что этот пылкий панславист посетил своих соседей лишь затем, чтобы воочию убедиться в их узком эгоизме. Иллюзии Гавличека относительно возможности братских отношений быстро развеялись. Он "вернулся в Прагу чехом, просто чехом, даже с некоторым скрытым раздражением от одного лишь имени славянина, которое сделалось для меня подозрительным после того, как я лучше узнал Россию и Польшу." В статье 1846 года он честно признался: "Леденящая атмосфера России и другие аспекты русской жизни притушили последнюю искру моей панславистской любви."

Гавличек был особенно обеспокоен тем, что он правильно определил как наиболее опасный аспект русского панславизма: всепоглощающее желание господства. "Русские панслависты верят, — говорил он, — что мы и иллирийцы действительно желаем быть под их властью! Они твердо уверены, что в один прекрасный день все славянские земли окажутся под их властью!!! Они с наслаждением предвкушают свои будущие виноградники в Далмации. Эти джентльмены везде стали говорить и писать "русский" вместо "славянин"...Я могу... удостовериться, что русские относятся к другим славянам не по-братски, но скорее нечестно и эгоистично..." В свете реально возраставших претензий русских на исключительное главенство среди славян, эти выводы выглядели обоснованно.

Процесс национального пробуждения, результатом которого была кристаллизация русской национальной идеи, выраженная в культурном национализме, получила новый поворот с начала Крымской войны. Угроза престижу и даже целостности Российской империи мобилизовала славянофилов, заставила их отказаться от утопического подхода к политическим проблемам. Решающую роль сыграло то, что их прежние отвлеченные спекуляции на идее "чуждого и враждебного" Запада неожиданно нашли практическое подтверждение в протурецкой и антироссийской коалиции западных держав. Стремясь оказать помощь своему отечеству, очутившемуся в изоляции на мировой арене, славянофилы в поисках выхода обратились к социальной, культурной, религиозной и лингвистической близости с другими славянами. Отталкиваясь от враждебного Запада, Погодин открыл силу России и ее миссию в установлении славянской солидарности.

В этих новых условиях слабые до сих пор панславянские тенденции интенсифицировались растущим русским национализмом. Если ранее славянофилы и родственные им течения стояли на позициях русской исключительности, то отныне, под давлением международных событий, они принялись переносить на других славян те качества, которые они объявляли "специфически славянскими", но которые оставались по сути теми же русскими. Этот поворот далеко не означал перехода на новые рубежи. Напротив, он представил изменение акцентов внутри той же традиционной

славянофильской идеологии, к которой были лишь добавлены новые элементы. Эта "обновленная" ориентация была силовь и рядом представлена старыми идеологами и быстро разоблaчила себя как панславизм в форме панрусизма. К тривиальной славянофильской концепции истории (взаимоисключенность романо-германского и славянского миров, русский мессианиззм, православие как единственно истинная религия славян и т.д.) панрусизм добавил элемент активного политического интереса.

Эта политическая переориентация славянофилов, которые ранее воспринимала государство и политику лишь как неизбежное зло, сблизила их с теми, кто поддерживал официальную народность и защищал русскую государственную идею. Со времени Крымской войны идея эта была модифицирована и в таком виде срослась с панславистским кредо. Именно на этой базе была утверждена концепция славянской политической унификации. Теперь политический фактор представлялся стоящим над народной культурой и простой этнографией, т.е. над сферами, игравшими прежде главную роль. Идея, что культурному сближению должна предшествовать политическая унификация, привела к вере в возможность решения славянского вопроса политическим путем.

Эта вера сводилась к тому, что оригинальное культурное славянское единство может быть восстановлено только в условиях государственно-политического единства. Акцент на чисто политическом решении славянской проблемы вел к признанию таких методов, как использование силы, вмешательства и даже, где возможно, прямой интервенции.

*(Окончание следует)*





# Canada!



ОЛЕГ БУКОВ

## КАНАДСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В течение одного года в Канаде сменилось два правительства. Это не совсем по-канадски, скорее — "по-боливийски". К счастью, Канада — не Боливия, где государственные перевороты совершаются примерно раз в два года. В Канаде, если и был своеобразный "переворот", то всё произошло с чисто парламентским благонаправием...

В мае прошлого года на федеральных выборах победила Прогрессивно-Консервативная партия, и ее лидер Джо Кларк сформировал правительство. После длительного перерыва (последним консервативным Премьером был Джон Дифенбейкер, ушедший в отставку в 1963 году) тори вновь оказались у власти. Однако расстановка сил в парламенте была для них не слишком благоприятна (они имели 136 мест; либералы — 114; НДП — 26 и 6 мест досталось Партии Социального Кредита). Будучи правительством меньшинства, поскольку либералы и новые демократы находились в оппозиции, а условную поддержку Кларк получил только от социал-кредитистов, консерваторы, тем не менее, решили управлять страной, "как если бы они были в большинстве". Решение смелое, но чтобы так действовать, требовалась не только смелость, но и политическая мудрость. Увы, таковой консерваторы и их лидер не проявили.

Практически все их предвыборные обещания были нарушены, прежде чем минувшей осенью начал работу новый парламент. Маневрирование Кларка в сфере экономики и внутренней политики было неуклюжим и непопулярным. В области внешней политики одна только история с неосторожным обещанием перевести канадское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а затем отказ от этого плана (под давлением арабских государств) нанесли огромный ущерб престижу Канады. "Самое явное публичное фиаско", — так охарактеризовал казус американский журнал "Тайм" ("Time", March 3, 1980, p. 35).

В довершение всего, консерваторы предложили на рассмотрение парламента проект бюджета, предусматривавший рост налогов и цен. Бюджет должен был стать, по словам его автора – министра финансов /Джона Кросби, "краткосрочной болью для долгосрочного выздоровления". Вообще-то, решительные, хоть и непопулярные меры в этом духе следовало бы приветствовать: экономическое состояние страны очень неважно: растущие инфляция, безработица, бюджетный дефицит. И, разумеется, в упадке канадской экономики 11 лет Трюдо являются более роковыми, чем 9 месяцев правительства Джо Кларка. Но во многих отношениях они стоят друг друга. Редактор популярного канадского журнала "Маклинс" Питер Ньюман писал в декабре 1979 года, по горячим следам поражения консерваторов в парламенте (после вотума недоверия правительству Кларка):

"Пьер Трюдо потратил 11 лет, будучи в офисе Премьера, для доказательства, что он не может управлять; Джо Кларку для того же самого хватило шести месяцев..." Статью, в которой констатировался этот факт, П.Ньюман мрачно озаглавил: "Горе нации, ведомой бездумными политиками". ('Maclean's', December 24, 1979, p.2).

"Новая Демократическая Партия", руководимая Эдом Бродбэнтом, не представляет собой утешительной альтернативы ни либералам, ни консерваторам. В ее программе много демагогических призывов и утопизма; апеллируя к "трудящимся", она сползает слишком влево, чтобы те же "трудящиеся" ей поверили до конца; отпугивая деловые круги и средний класс поверхностным радикализмом лозунгов, НДП лишает себя массовой базы. Хотя она является третьей по значению силой на политической арене Канады, ее влияние проистекает не столько из собственной мощи, сколько из возможности лавировать между либералами и тори, отрывая от них часть избирателей. Особенно дилетантской выглядит внешнеполитическая программа НДП, целью которой провозглашается выход Канады из НАТО. Под влиянием советской агрессии в Афганистане, Эд Бродбэнт в ходе последней выборной кампании (1980 года) заявил, что он полностью на стороне президента США Картера и других союзников Канады, осуждающих СССР, однако выглядело это типичным предвыборным маневром...

Зыбкое большинство, на которое опирался Кларк в парламенте, рухнуло в декабре 1979 года. Пять социал-кредитистов, отказавшись участвовать в голосовании по бюджету, сделали неотвратимым поражение консервативного правительства перед лицом блока либералов и НДП. Кларк назначил новые выборы на 18 февраля 1980 года. Они принесли внушительную победу либералам, получившим 146 мест в парламенте (консерваторы – 103, НДП – 32). По иронии судьбы Партия Социального Кредита, сыгравшая роль "взрывателя" кабинета Кларка, не получила ни одного места, фактически утратив статус партии федерального значения. Само собой, не получили (да и не могли рассчитывать на получение) парламентских мест промосковская компартия Канады, а также их "левые" оппоненты – "марксисты-ленинцы".

Таким образом, после перерыва в 272 дня, лидер либералов Пьер Эллиот Трюдо вернулся к власти. После прошлогоднего майского поражения Трюдо сделал несколько искусных политических ходов: он объявил, что уходит с поста партийного лидера, внушив Кларку уверенность, что в "переходной" ситуации либералы не осмелятся торпедировать его правительство; он блестяще использовал все просчеты Кларка во внутренней и внешней политике, не ускоряя событий излишней запальчивостью, а точно рассчитав, что они сами собой дадут ему выигрыш. После декабрьского поражения консерваторов Трюдо вынудил своих коллег по руководству либеральной партией "уговаривать" его вернуться на пост лидера. Разыгралась сцена, похожая на избрание Бориса Годунова на московский трон, и *в конце концов* Трюдо "согласился". Под его руководством либералы победили на выборах, и Трюдо лишний раз подтвердил свою репутацию самого ловкого, но и самого циничного из канадских политиков нашего времени. С другой стороны, Джо Кларк проявил себя неловким дилетантом, и Прогрессивно-Консервативной партии придется, вероятно, подыскивать себе более солидного лидера.

Парламентские выборы прошли, но проблемы 80-х годов только начинаются. По-прежнему бушует инфляция. Серьезным испытанием для единства Канады будет намеченный на лето референдум в Квебеке, где местные сепаратисты стремятся к провозглашению этой провинции независимым государством. Активизировались сепаратистские настроения в западных провинциях страны (Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван) — в них очень слабы либералы и потому создается впечатление, что нынешнее правительство в Оттаве не выражает их интересов. Немало проблем "подкинет", вероятно, Канаде и внешнеполитическая ситуация в условиях краха "детанта", нарастания советской угрозы, сложных отношений Запада с "третьим миром".

Словом, вступая в очередное десятилетие XX века, Канада принимает многие вызовы нашей динамичной эпохи. Некоторые из них представляют прямую угрозу демократической структуре канадского общества. Однако — вспомним слова Черчилля! — "демократия — это риск, который стоит того, чтобы на него пойти". А кто не рискует, тот не выигрывает!




20 января 1980 года Рабочий Комитет Свободного Афганистана устроил в помещении отеля "Холидэй Ин" (Торонто) митинг, на котором присутствовало несколько сотен человек — главным образом, канадцев пакистанского происхождения. Были также канадские официальные представители.

Выступающие резко осудили советскую интервенцию в Афганистане, говоря о необходимости помощи афганскому народу в его борьбе против оккупантов, об огромной советской угрозе мусульманскому миру, о необходимости "священной мусульманской войны с русскими".


На митинге выступил член Редколлегии "Современника" Кастусь Акула. Солидаризируясь с осуждением советской агрессии и московского колониализма, К.Акула предостерег, однако, от смешения понятий "русский" и "советский". — Русский народ, — подчеркнул К.Акула, — жертва того же самого мирового коммунистического заговора, от которого пострадали белорусский, украинский, польский, балтийские народы, а ныне страдает народ Афганистана. Главный враг — не русские как таковые, а московский колониальный режим. Пакистанцам, афганцам, всему мусульманскому миру, требуется союз со всеми угнетенными коммунизмом народами (в том числе и с русскими) в общей борьбе против коммунистической экспансии и диктатуры.



9 февраля 1980 года в Торонто, на площади перед Сити-Холлом, состоялась массовая демонстрация протеста против советской агрессии в Афганистане, а также против репрессий советских властей в отношении академика Сахарова. На снимке: в числе демонстрантов — Кастусь Акула и Ольгерд Акула.



На страницах "Современника" печатались в свое время главы из книги М.Могилянского "Очерк истории Канады". Эта книга в 1976 году вышла отдельным изданием в издательстве "Современник". Продолжая знакомство русскоязычного читателя с канадской тематикой, мы публикуем в этом номере Введение и первую главу из книги Александра Гидони "История философии в Канаде". Над завершением рукописи этой книги автор работает в настоящее время.



АЛЕКСАНДР ГИДОНИ

## ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ В КАНАДЕ

### В в е д е н и е

Философия как научная дисциплина и философская мысль вообще имеют за собой в Канаде более чем столетнюю традицию. Уже одно это обстоятельство предполагает правомочность в выборе темы истории философии в Канаде как заслуживающего внимания научно-исследовательского сюжета. Обобщающих монографий на английском или французском языках по данному вопросу пока нет. Тем не менее (а, может быть, именно поэтому) русскоязычный читатель имеет основание заинтересоваться книгой о философии в Канаде, написанной на русском языке.

Следует сразу подчеркнуть (в полном соответствии с тем, что утверждают канадские и американские ученые) одно немаловажное обстоятельство. Речь должна идти о *философии в Канаде*, а не о *канадской философии* в том смысле, как говорят, к примеру, о философии немецкой, французской, английской или американской. В докладе, прочитанном на философском симпозиуме, организованном в Торонто в 1950 году (в связи со столетием со дня начала преподавания философии в Канаде), профессор Чарльз Хендель справедливо подчеркнул: "Выражение "философия в Канаде" специально выбрано, чтобы не говорить "канадская философия". Ибо если сказать *канадская философия*, то это может... внушить ошибочную мысль о существовании в Канаде *национальной философии*, а это противоречило бы фактам." (1).

В самом деле, есть большое отличие между эволюцией, скажем, канадской литературы и развитием философской мысли в Канаде. Маргарет Этвуд в блестящей книге "Выживание" имела полное право говорить о существовании того, что делает канадскую литературу именно *канадской*, а не просто литературой, "которой суждено было быть написанной в Канаде". (2). С философией дело обстоит иначе. И не потому только, что канадские философы не имели в своей среде мыслителей ранга Гегеля или Беркли, Рассела или Дьюи — в конце концов, масштабность того или иного индивидуума определяется слишком сложным комплексом общих и частных условий, чтобы автоматически порождаться "средой". Может случиться, что существует мощная философская традиция, но она не порождает больших философов, и, наоборот, большой философ может один создать традицию, до него не существовавшую. В Канаде долгое время имело место не слишком благоприятное сочетание факторов: случаю не угодно было взрастить философского гения под канадскими небесами; своей собственной философской традиции Канада не имела, а импортированная философия прививалась достаточно медленно. И, наконец, — последнее по счету, но не по значению обстоятельство. Разница между французской и английской Канадой сказывалась на выработке общего национального характера и общенациональной культуры. Два потока не сливались вместе, и *канадская нация* до настоящего времени есть понятие с большим элементом условности. Существует канадская государственность, существуют специфически канадские национальные интересы в сфере внутренней и внешней политики, но вот существует ли реально (а не в качестве, так сказать, формируемого идеала) канадский национальный характер — это вопрос. В сфере литературы хотя бы проблема "выживания", столь талантливо определенная пером Маргарет Этвуд, плюс "локальный колорит", неизбежно присутствующий в произведениях канадских авторов, могут очертить контуры национального характера. В сфере же философии "локальный колорит" — вещь, не слишком значительная вообще, а проблемы "выживания" просто не было там, где развитие совершалось под знаком почти сплошного *заимствования* иностранных образцов.

Отсюда не следует, что мы должны клеймить философию в Канаде за ее "подражательность". Она неизбежно должна была быть таковой, чтобы развиваться вообще, и процесс ее развития, естественно, имел *экстенсивный* характер, прежде чем интенсифицироваться. Проводя аналогию с русской историей, можно вспомнить о реформах Петра Великого. Эти реформы неизбежно должны были быть "подражательными", либо их не стоило начинать. И при всех своих перегибах, смешных преувеличениях и накладках, импортированная цивилизованность Петра Великого открывала перспективу более заманчивую, чем "самобытность" московской старины.

То же самое (в иных, разумеется, масштабах и проявлениях) было

с философией в Канаде. Когда она стала насаждаться во второй половине XIX века, ей, правда, нехватало своего "Петра Великого", но она заменила то, что являлось прежде абсолютным *tabula rasa*. Ибо ранняя история Канады, связанная с процессом колонизации страны, с англо-французской борьбой за гегемонию и складыванием того, что послужило основой для Канадской федерации, не давала много возможностей для развития философии как науки. Практически такое развитие совпало со становлением университетских центров в Торонто, Квинсе, Монреале, Квебек-Сити и Галифаксе в XIX столетии. С того времени философия в Канаде приблизилась во многом к европейским стандартам развития, а также прошла через несколько стадий эволюции. Посему ныне можно говорить о ней как о чем-то данном, прогрессирующем и открывающем новые перспективы, а в этом уже — гарантия значимости ее изучения, даже не взирая на *относительную незначительность* ее вклада в общую панораму мировой философии.

## Г л а в а 1.

Кажется самоочевидным, что без знания истории страны нельзя понять историю ее культуры, частью которой является философская традиция. Правда, само по себе знание истории (а тем более, ее *понимание*) предполагает определенную привычку к философствованию. В случае с канадской историей это необходимо особенно, ибо — не слишком богатая внешними событиями — она требует глубокого анализа некоторых внутренних комплексов, определивших канадскую судьбу. Тут нельзя ограничиться лишь перечнем фактов и скрыться за их живописностью, эффектностью — за всем, что в таком богатстве предлагает европейская история или даже история США. "Как наша печать, история любит кричащие заголовки", — хорошо сказал Крейн Бринтон. (3). Для глав канадской истории "кричащие заголовки" подбирать трудновато. Но это не снижает ее внутреннего драматизма, связанного с проходящими сквозь нее глубинными линиями развития страны от конгломерата индейских и эскимосских племен до франко-английской колонии, через нее — до британского доминиона, и, наконец, — до Канадской Федерации в современном смысле этого слова. Ведущими комплексами раннего периода канадской истории, подчиняющими себе внешнюю последовательность социальных, военно-политических и культурных событий, оказываются проблемы выживания, колонизации и гегемонии.

Каждая из этих проблем является ключевой. Поскольку Канада предложила европейским переселенцам в Новый Свет довольно суровые природные условия, а также военное сопротивление со стороны индейцев, вопрос "выживания" незначительных островков европейских поселений был одним из первых, формирующих стиль жизни и характеры людей, условий. Конечно, культурное развитие само по себе оказывалось фактором микроскопического значения и, следовательно, XVI-ый и XVII-ый века —

это лишь увертюра к полнокровной канадской истории, ее, так сказать, экспериментальная фаза.

Она органично перешла в стадию колонизации страны. Французы и англичане, борясь с индейцами (и между собой) постепенно расширили в первой половине XVIII-го столетия зону европейского "жизненного пространства" до весьма значительной территории. Вместе с внедрением материального прогресса и европейских стандартов повседневной жизни, формировались умонастроения людей под влиянием (в первую очередь) их религиозных убеждений и становления в Канаде христианской Церкви. Католики и гугеноты среди французов, протестанты среди англичан, принесли соответствующие верования, страсти, предрассудки. Хотя местная культурная жизнь только начинала формироваться, однако пересаженные из Европы навыки цивилизации не могли не накладывать свой отпечаток на жителей Акадии и Квебека, Луисбурга и Галифакса. Словом, совершалось то, что именуют обычно прогрессом.

Увы, он не был бескровным. Помимо подавления и вытеснения индейцев, шла жестокая борьба между французами и англичанами за гегемонию в Канаде. Военное счастье переменчиво, и судьба словно колебалась долгое время в присуждении победы той или другой стороне. Наконец, после поражения французов в 1759 году и заключения Парижского мира 1763 года, английская гегемония в Канаде была установлена.

Вместе с ней была, казалось, установлена гегемония протестантизма, учитывая резкую антикатолическую политику, которую олицетворяла Англиканская церковь и которую в государственном плане проводили английские протестантские монархи. Однако именно Канада была тем своеобразным исключением, которое задолго до уничтожения антикатолических законов в самой Британии, продемонстрировало возможность мирного сосуществования в рамках общей государственной структуры католической и протестантской общин. Квебек, как главный бастион традиции ушедшей в прошлое "Новой Франции", был в основном католическим и французским; в количественном отношении французское население преобладало над английским; территории Верхней Канады, где в основном селились англоязычные поселенцы, были интенсивно освоены лишь в XIX веке. Неудивительно, что английские губернаторы Канады проводили политику примирения протестантов с католиками, и эта политика, как справедливо отмечает канадский историк Керр, являлась особенно мудрой в эпоху, когда "антикатолические чувства были чрезвычайно сильны в Англии и католикам отказывали в праве занимать официальные должности где-либо в пределах Британской Империи." ( 4). В 1774 году был издан Квебекский Акт, расширивший действие французского кодекса законов и подтвердивший право католиков занимать официальные должности. Было бы преувеличением выводить из такого рода политических событий ту мысль, что пересаженная впоследствии в Канаду философия "здорового смысла" нашла здесь благодатную почву именно поэтому, однако бесспорно, что здравый



смысл в английской политике в Канаде зело присутствовал. Первые английские губернаторы типа Мэррея или Карлтона не были, конечно, мудрецами-философами, но политическую философию британского либерализма они воплотили неплохо.

Поэтому, вместо убийственной межрелигиозной грызни (или даже войны), в канадском обществе, по мере его формирования, закладывались традиции духовной толерантности. Это смягчало в нравственном плане суровые условия подчинения людям нового континента, акклиматизации в непривычной среде; это, короче говоря, создавало из франко-канадцев и англо-канадцев тип человека, который должен был постепенно преобразоваться в *канадца*, а для складывания навыков и внешних признаков национального характера такого рода развитие имело большое значение.

В результате, как протестантизм, так и католицизм, сделались устойчивыми доминантами духовного развития канадского общества. Впоследствии, в связи с развитием философии в Канаде, соответствующий религиозный окоем оказался весьма важной питательной средой для тех или иных философских течений и школ. Вместе с деловитостью протестантизма и живописной глубиной католического вероучения, параллельно британским и французским национальным традициям, складывались нюансы культурного и (более узко говоря) историко-философского облика людей, живущих духовной жизнью. Поскольку же, несмотря на многие проявления *амальгамности* в развитии канадского общества, оно все-таки осталось биполярным (англоязычная и франкоязычная Канада), мы должны — в процессе изучения истории философии в Канаде — разделять этот процесс надвое, рассматривая по отдельности философию в англоязычной Канаде и — отдельно — в Квебеке, как центре франкоязычной культуры.

Такое подразделение органично вытекает из анализа собственно культурного развития Канады, начиная с эпохи конца семнадцатого века, когда об элементах этого развития можно говорить уже всерьез. Автор первой на русском языке "Истории Канады" М.И.Могилянский отмечает: "...Католическая церковь проделала в Канаде огромную работу в области народного образования как среди французских колонистов, так и среди индейцев." (5). Действительно, были открыты семинарии и школы, осуществлялись миссионерская и благотворительная деятельность; вообще, "некоторые усматривают в ранней истории Канады элементы того государства всеобщего благоденствия, которое в наше время стало создаваться в ряде стран Запада." (6).

Развитию культурной жизни содействовало (наряду с публикацией книг о путешествиях по Канаде и разного рода официальных документов) появление периодической печати. Первая канадская газета появилась в Галифаксе в 1752 году. После английского завоевания Квебека, начала издаваться в Квебек-Сити (с 1764 года) вторая по счету газета (на английском и французском языках параллельно). В 1787 году основывается газета в Шарлоттауне; с 1793 года начинает выходить правительственная

газета в Верхней Канаде. Среди образованных людей распространяются наиболее характерные идеи восемнадцатого столетия — век Просвещения дает свои плоды не только в Европе. Воздействие американской и французской революций также не могло не сказаться (хотя бы в небольшой степени) в канадском обществе.

Весьма важным событием социальной жизни было появление в Канаде так называемых "лоялистов": свыше сорока тысяч жителей территорий, на которых возникли Соединенные Штаты Америки, переселилось в Канаду. Лоялисты считали себя верными подданными британской короны; они были противниками американской революции и, став членами канадского общества, содействовали распространению в нем консервативных (по отношению к революционным идеям) нормативов политического мышления, а также укреплению духа британских традиций.

Конституционное разделение Квебека в 1791 году на Верхнюю и Нижнюю Канаду подчеркнуло усиление англоязычной группы канадского общества. Хотя франко-канадцы еще доминировали в количественном отношении, однако развитие англоязычной Верхней Канады стало фактором динамичного прогресса в социальной и культурной сферах. В XIX веке эта тенденция усилилась в еще большей степени, и к середине столетия англоязычное население превысило число франко-канадцев.

Двадцатые и тридцатые годы XIX-го века были ознаменованы борьбой различных идейных принципов, должных определить эволюцию системы образования как в Верхней Канаде, так и в Квебеке (в других провинциях, как, например, в Новой Шотландии, эти процессы протекали не в столь ярко выраженной форме). В Квебеке, учитывая его преимущественно французскую и католическую ориентацию, развитие системы образования определялось в основном этой доминантой. "В 1852 году старая Семинария в Квебеке получила королевскую хартию на создание Лавальского университета по образцу французских университетов, с несколькими специальными факультетами и факультетом искусств. Преподавание в последнем должно было осуществляться в отдельных классических колледжах, из которых девять были разбросаны по всей провинции, в дополнение к старым семинариям в Квебеке и Монреале." (7).

С другой стороны, в англоязычном Мак-Гиллском университете в Монреале чувствовалось сильное влияние Англиканской церкви, которое пошло на убыль после 60-х годов, когда возоблодали тенденции к секуляризации образования и вообще к смягчению догматической нетерпимости церковных кругов.

Что касается Верхней Канады, то здесь в первые десятилетия XIX века вокруг системы образования бушевали старости, подогретые борьбой принципов, вдохновленных идеями Американской демократии, — с противоположными устремлениями защитников традиционных британских ценностей. Выразителем первой тенденции был Эгертон Райерсон (1803-1882),

отстаивавший принцип равного образования для всех (не только для выходцев из привилегированных слоев общества). Он также требовал государственной поддержки системы образования. Написанный им в 1846 году специальный доклад (идеи которого он развил под влиянием изучения образовательной системы в Англии и в других европейских странах), лег в основу создания в провинции Онтарио структуры общественных школ. Пламенный защитник либеральных принципов, Райерсон, однако, был далек от политического радикализма и порвал, к примеру, свое сотрудничество с Уильямом Маккензи — одним из вождей антибританского восстания 1837 года, которое Райерсон осудил. С деятельностью Райерсона и его сторонников связано возникновение первого, не находившегося под контролем Англиканской церкви, учебного колледжа в Верхней Канаде, а также преобразование Кингс-колледжа (Торонто) в независимый от церкви Торонтский университет.

Консервативным оппонентом Райерсона был Джон Стракан (1778-1867), епископ и первый президент Кингс-колледжа. После преобразования колледжа в 1850 году в "безбожный" университет, Страхан основал Тринити Колледж, продолжая отстаивать верховное право Англиканской церкви "курировать" образовательную систему. Время показало, что в идеологическом поединке "Райерсон-Стракан" правота и сила прогресса были на стороне Райерсона, однако нельзя перечеркивать и то положительное, что внесли Стракан, вместе с другими консерваторами, в развитие системы образования *самой по себе*. Кроме того, проповедь религиозных взглядов, активная церковная деятельность, содействовали тому, что радикально-революционные настроения в Канаде, если и проявлялись порой (восстание Маккензи в Онтарио и Папино в Квебеке в 1837 году), то они всё же не производили того разрушительного эффекта, который имели в Европе. В общем и целом, в канадском обществе господствовал дух толерантности и либерализма, а британские колониальные власти, несмотря на ряд ошибок, сумели повести Канаду по стезе конституционно-правовой эволюции. Посему принцип "золотого компромисса" определил столь многое в характере канадцев и в специфике канадской государственности. Последняя устояла и против аннексионистских тенденций со стороны США, и против совершенно уж рабского (а, значит, и чреватого неизбежным кризисом) копирования британских образцов. Политический же экстремизм вообще был редким исключением в такой ситуации. Разумные реформы предотвратили накопление социальной напряженности; борьба либералов и консерваторов как ведущих политических группировок проходила в рамках общегосударственной лояльности; партийная нетерпимость, если и бывала неизбежным злом, то, во всяком случае, не перерастала в зло *государственное*. Всё это формировало социальную психологию и, если угодно, социально-политическую философию в широком (не специализированном) смысле этого слова.

Даже не самые оптимальные решения английских колониальных властей, как правило, приводили к неплохому побочному эффекту. Когда, например, было осуществлено (в 1841 году) слияние Онтарио и Квебека в единую провинцию, это было лишь искаженным воплощением идеи лорда Дарема – выдающегося английского либерала и генерал-губернатора Британской Северной Америки, который в своем докладе британскому правительству требовал прогрессивных реформ для Канады. Однако и в искаженном виде мероприятие английской администрации "привело к постепенному образованию сильного единого политического фронта, составленного из англо и франко-канадских реформистов. Реформисты настаивали на предоставлении всем колониям в Канаде таких же демократических прав, какими пользовались люди в Великобритании, на создании здесь самостоятельного, ответственного перед избирателями, правительства." (8). Эта линия социально-политического развития, воплотившись в жизни, привела к возникновению в 1867 году Канадской Конфедерации.

В условиях именно такой эволюции, сопровождавшейся повышением уровня культурного развития, произошло становление в Канаде академической философской традиции. "Преподавание современной философии началось в Канаде... с назначения в 1850 году Джеймса Бивэна (1801-1875) профессором метафизики и этики в заново реконструированный Университет Торонто." (9). Само по себе это событие имеет скорее формальное, чем принципиально-основополагающее значение: Джеймс Бивэн не был великим философом; он прибыл в Канаду из Англии в 1843 году для преподавания богословия в Кингс-колледже, был неплохим преподавателем, но, пожалуй, наибольшая его заслуга перед Канадой – в том, что он был отцом Роберта Бивэна – будущего премьера Британской Колумбии и активного борца за Конфедерацию. С точки же зрения философии как таковой Джеймс Бивэн – фигура достаточно ординарная. Тем не менее, начало его профессуры в Торонтском университете приобретает некоторый исторический символизм, если мы воспользуемся параллелью между событиями культурно-социальной истории в Канаде и в России, например. Именно в 1850 году, когда началась академическая история философии в Канаде, на другой стороне планеты – в России, она была прервана. "...В 1850 г. министр народного просвещения, кн. Ширинский-Шихматов, совсем запретил преподавание философии в университетах." (10). Грустная символика этого сопоставления состоит в том, что хотя в России середины XIX-го века философски мыслящих людей было гораздо больше, чем в Канаде, да и сами по себе философские идеи были представлены такими именами (Чаадаев, Хомяков, Белинский, Герцен хотя бы), в сравнении с коими Джеймс Бивэн – просто школьный учитель, однако преимущества британского либерализма, дарованные Канаде, позволили ей извлекать для постановки философского образования блага университетских условий, тогда как в России тупость самодержавного каприза могла (к счастью, временно)

болезненно оборвать процесс культурно-академической жизни. Вот почему, переходя к собственно анализу развития философии в Канаде, следует вновь подчеркнуть значение для нее той социальной психологии, которая была порождена либерально-демократическими принципами, и климат которой оказался одним из самых благоприятных условий если и не для философской мудрости в высшем значении этого слова, то, во всяком случае, для философского образования.

#### П р и м е ч а н и я:

1. Charles W. Hendel. The Character of Philosophy in Canada. — 'Philosophy in Canada'. A Symposium by John A. Irving (Editor), Charles W. Hendel, Allison H. Johnson, Rupert C. Lodge. With an Introduction by Fulton H. Anderson. University of Toronto Press, 1952, p. 27.
2. Margaret Atwood. Survival. A thematic guide to Canadian literature. Toronto, 1972, p. 13.
3. Крейн Бринтон. Истоки современного мира. История западной мысли. Перевел с английского Виктор Франк. Рим, 1971, стр. 67.
4. D.G.G. Kerr and R.I.K. Davidson. An Illustrated History of Canada. 'Nelson', 1966, p. 22.
5. М.И.Могилянский. Очерк истории Канады. Торонто, Изд-во "Современник", 1976, стр. 95.
6. Там же, стр. 96.
7. D.G.G. Kerr and R.I.K. Davidson. Op. cit., p. 43.
8. М.И.Могилянский. Указ. соч., стр. 151.
9. John A. Irving. One hundred years of Canadian Philosophy. — 'Philosophy in Canada'. A Symposium, p. 6.
10. Николай Бердяев. Русская Идея. (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века). Париж, 1946, стр. 33.

## ВИРАЖИ КАНАДСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Как известно, главной приметой канадского спорта является хоккей. Ни по массовости, ни по степени интереса, проявляемого зрителями, — ничто не может с ним сравниться. Однако за последние годы ситуация несколько изменилась: всё большее внимание уделяется некоторым, прежде традиционно "неканадским", видам спорта. Например, европейский футбол (или, как его здесь называют, "саккэр") привлекает весьма значительное число поклонников. То же самое можно сказать и о развитии канадской гимнастики.

Она находится сейчас на крутом вираже своего подъема, чему способствуют, в частности, благоприятные условия для ее развития: возросший интерес публики и наличие прекрасных, экипированных по последнему слову спортивного дизайна, гимнастических помещений. Мне приходилось видеть, от души восторгаясь, спортивный комплекс Университета Ватерлоо в провинции Онтарио. Его можно смело сравнить с лучшим в СССР дворцом спорта. То же самое следует сказать и о спортивных залах Йоркского Университета в Торонто. Даже помещения простых спортивных клубов, не столь уж и знаменитых, оборудованы великолепно. Гимнастические залы и плавательные бассейны часто имеют съемочные телевизионные камеры, которыми пользуются тренеры для видеозаписи и соответствующего анализа.

Всё большую популярность приобретает гимнастика среди студенческой молодежи и школьников. Их энтузиазмом часто заражаются родители, не жалеющие средств и времени для стимулирования юных гимнастов в нелегком — прямо скажем — процессе овладения секретами гимнастического мастерства. Жажда как можно более быстрых спортивных успехов приобретает иногда почти комическую окраску. Нетерпеливые родители требуют "рекордов" и "чудес". Недавно мне пришлось наблюдать любопытную сцену. В один из новых спортивных залов Торонто был приглашен известный канадский тренер Том Зивик. Он должен был провести тренировку с начинающими гимнастами и, разумеется, справился с этой задачей блестяще. Однако, когда тренировка кончилась, родители гимнастов, наблюдавшие за их упражнениями с галерки для публики, окружили Тома Зивика и начали упрекать его, что он, мол, учит детей слишком простым движениям. Родители, что называется, вошли во вкус и полагали, что в гимнастике можно начать сразу с фигур "высшего пилотажа": скажем, с двойных сальто с брусьев, или с больших оборотов с пируэтами на турнике...

Однако в принципе интерес родителей начинающих гимнастов симпто-

матичен. В прошлом у канадской гимнастики не было традиции массовости, а сейчас замечается не только качественный скачок в этом плане, но и создание собственной гимнастической школы, тесно связанной с американской. Недавно в Торонто проводился очередной чемпионат страны по спортивной гимнастике, после которого Федерации гимнастики Канады предстояло сформировать команду гимнастов для участия в Олимпиаде 1980 года в Москве.

Как известно, из-за советской агрессии в Афганистане, возникла напряженность, ставящая под вопрос участие канадских спортсменов в московской Олимпиаде. Независимо от того, как будет решен этот вопрос, следует подчеркнуть, что большинство спортсменов Канады разделяет общее негодование по поводу интервенции СССР, равно как и в связи с нарушениями прав человека в Советском Союзе.

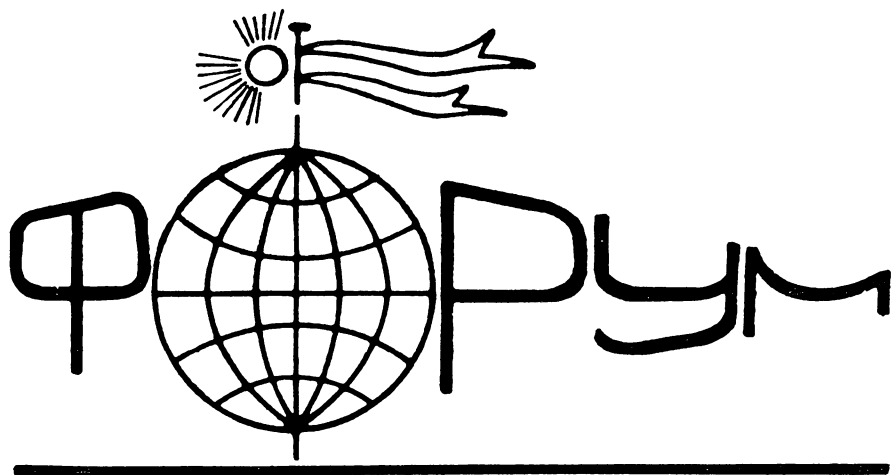
Среди канадских гимнастов выделяется чемпион страны Филипп Делесаль. Его отмечает виртуозная техника — даже на фоне возросшего мастерства других спортсменов. Вообще, когда смотришь на гимнастические соревнования, порой задаешься вопросом: кого ты наблюдаешь — цирковых акробатов или спортивных гимнастов? Еще совсем недавно двойные сальто исполняли только циркачи, а теперь ни одна комбинация гимнастов Национальной Лиги не обходится без этих элементов.

Гимнастика — дело трудоемкое, сравнимое в этом отношении с балетом. Требуется не менее 8-10 лет тренировок (4 раза в неделю по 3 часа), чтобы стать гимнастом высшего уровня. Само собой, при этом должны быть необходимые задатки для этого вида спорта, хорошие тренеры и другие условия.

Часто приходится мне встречаться в Торонто с бывшим заслуженным тренером Советского Союза по гимнастике, ныне заведующим кафедрой физкультуры в одном из колледжей — Евгением Гальпериным. Он успешно продолжает свою тренерскую практику и уже подготовил (за 5 лет!) чемпиона Канады среди юношей — Брэда Петерса. В свое время в числе воспитанников Гальперина был чемпион СССР (1971-72 гг.) Малеев. В связи с этим я спросил г-на Гальперина, на много ли отличаются комбинации чемпиона СССР от тех, что делает канадский чемпион *среди юношей*? Оказалось, что нынешний питомец Гальперина — Брэд Петерс, выполняет комбинации, во много раз более сложные, чем приходилось делать *взрослому* чемпиону СССР. Это наглядное свидетельство спортивного прогресса.

Канадская гимнастика берет всё новые высоты. Не все трудности развития преодолены, но можно быть уверенным: ныне любые выражи спортивной техники по плечу сегодняшним и завтрашним звездам гимнастического мира. И канадские гимнасты еще заставят не раз говорить о себе.

Торонто, 1980 г.



ДИМИТРИЙ ПАНИН

## ОЦЕНКА ОЦЕНКЕ РОЗНЬ

Будущим историкам придется заново написать беспристрастную историю России, очистив ее от лжи, разоблачив мифы, показав хорошее, не выпячивая дурное.

Два наиболее ярких направления общественной мысли в России XIX века имели своих сторонников и противников: западников и славянофилов. Госпожа Шаховская (и не она одна) переносит эти термины на новые явления, тем самым окутывая их паутиной прошлого. — 1). Это таит в себе опасность: красивое звучное слово нередко помогает скрыть грубые ошибки и неправильные оценки. Нельзя считать "западниками" ненавистников России, "историков", объясняющих существование коммунизма в СССР традицией, идущей от Ивана IУ, Петра I и Николая I. Нельзя причислить к ним и тех (Шаховская о них почему-то забыла), кто, как Зиновьев, считают, что в СССР "начальство народно, а народ начальственен" и "население добровольно не сменяет систему". Не считает ли Шаховская, что именно эти "западники" заслуживают беспощадной критики?

Шаховская причислила и меня к современным западникам, сравнивая себя, как она уверяет, непременно с Чаадаевым. Это заставило ее сообщить читателям следующее: "Увы, не всякому дано быть Пушкиным или Чаадаевым. К тому же разве только у Д.Панина найдешь при желании



(очень малое) общее с Чаадаевым, поскольку Панин считает, что все испытания России происходят от того, что ей привелось стать православной, а не католической страной."

Но из какого источника почерпнула Шаховская эти сведения? Она не сможет найти это утверждение ни в моих десяти книгах, ни в разных статьях, опубликованных на Западе. Источник нетрудно указать. Недавно Солженицын опубликовал новую редакцию романа "В круге первом", где вложил в уста Сологдина, прототипом которого я являюсь, фразы, позволившие Шаховской сделать вышеприведенное заявление. Разве надо объяснять писательнице Шаховской, что романист волен приписывать любые мысли своему герою, который нигде в романе не назван Паниным? Солженицынская фантазия не приняла также в расчет, что Панин сжег свое изобретение и был отправлен этапом на каторгу, а порешила оставить Сологдина на шарашке в ожидании освобождения за его подарок режиму. Таковы законы художественного творчества. Но с каких пор критик оценивает живого человека по персонажу романа? Не открытие ли это в области критики?

Я был бы благодарен, если впредь, ссылаясь на меня, рассматривали бы мысли из моих печатных трудов. Например, я убежден, что львиная доля несчастий обрушилась на мир из-за разделения христиан и обосновываю это в книге, над которой сейчас работаю. Естественно, по ее выходе я буду рад узнать мнение читателей и критиков...

Вернемся к западникам и славянофилам. На мой взгляд, эти названия архаичны, и более актуально в СССР и в эмиграции разделить людей на два лагеря: на тех, кто своими делами и мыслями принадлежит к *силам освобождения от режима*, и на тех, кто к ним не относится. В последнем лагере имеют место два полюса: ярые враги освобождения противостоят благородным идеалистам, по своей природе далеким от любой борьбы. В промежуточных слоях этого лагеря существуют люди, которые при приближении опасности могут перейти в стан освободителей.

Возможно провести и иное разделение. Образованные люди оказывают всё большее влияние, как положительное, так и отрицательное, на жизнь народов, и собирательное слово "интеллигенция" создает лишь путаницу. Отсюда диаметрально противоположные оценки интеллигенции старой России. Для одних, это — орден идеалистов, для других — проходимцы, насаждавшие на немецкие, американские, японские деньги террор в стране, способствовавший ее развалу. В свое время я предложил классификацию людей умственного труда, позволяющую отделить *разрушителей* от *создателей* культуры и цивилизации. (2).

Солженицын, описывая дебаты в Думе (3) дает пример справедливой оценки и обоснованной критики фанфаронов, карьеристов, глупцов, предателей, погубивших Россию. Его оценка деятельности политических партий и промахов царского правительства, приведших к крушению страну, выполнена на том же высоком уровне.

Идеи, планы, предложения должны подвергаться обсуждению, а не замалчиваться. Восемь лет назад я приехал на Запад с планом проведения революции в умах. В своих лекциях, статьях, книгах (4) я обосновывал этот план, отвечающий обстановке в СССР и не рассматривающий Свободный мир как сборище самоубийц. На Западе я понял, что силы освобождения получают радиостанцию, когда страны Свободного мира, загнанные в тупик непрерывной красной агрессией, вспомнят, что лучший способ самозащиты — нападение, в данном случае, идейное. Первой поймет это, видимо, страна, которой непосредственно угрожает Кремль. Результаты радиодавления на Кремль не замедлят сказаться, и план проведения революции в умах в СССР встретит поддержку ведущих стран.

Я ждал обсуждения моего плана в печати. Натолкнулся же на гробовое молчание умных, образованных, знающих людей, которых немало в эмиграции. Дать оценку, высказать свое мнение по этому животрепещущему вопросу, а не ограничиваться лишь несколькими поверхностными замечаниями, было долгом воинских и политических объединений эмигрантов, старых и новых. Я уверен, что в ходе серьезного обсуждения для многих стала бы очевидной неизбежность радионаступления. И если эти люди не способны были бы пробить бетонные стены, то уж, во всяком случае, смогли бы помочь довести предложенный план до сознания западных стратегов, сенаторов, министров.

Мы, русские, виноваты в установлении коммунистических режимов, нам и расхлебывать. Революция в умах становится реальностью; завтра Запад готов будет предоставить радиостанцию силам освобождения от режима. Готова ли русская эмиграция сыграть решающую роль в наступающий звездный час истории?

#### П р и м е ч а н и я:

- 1/ "О новых западниках", "РМ", № 3288; "Новые руссисы", № 3299.
- 2/ "Мир-маятник", 1977.
- 3/ Главы из "Узлов" — "Вестник РХД", № 126—129.
- 4/ "Мир-маятник", 1977; "Горе — не беда", 1979; статьи в русской прессе. "Le Mond oscillatoire", 1974; "Revolution in der UdSSR?" 1974; "Le Choix", 1977, # 2, 3-4.

## РЕКОРДЫ ЛИЦЕМЕРИЯ ГОСПОДИНА СЕДЫХ

Издатель и редактор "Нового Русского Слова" г-н Андрей Седых недавно начал кампанию "за бдительность". Грозные предостережения насчет "агентуры КГБ" и "provokаторов" легли из-под его пера на газетные страницы. "...Необходимо всегда быть настороже. Советские шпионы и агенты КГБ живут среди нас", — предупреждал он в статье "Вокруг нас шпионы" ("НРС", 12 февраля 1980 г.). "От всех нас требуется постоянная бдительность — в советской системе провокации ничто не изменилось за... 50 лет", — писал он несколько ранее ("НРС", 15 января 1980 г.). В принципе всё это верно, и редактор "НРС", пишущий об этом, может показаться принципиальным человеком, для которого общее дело борьбы с коммунистической опасностью выше журналистских полемик и преходящих соображений. Увы, ожидать т а к о г о подхода от г-на Седых — напрасный труд, и лицемерие его словесных тирад легко разоблачается. Хотя бы примером его "подрывной работы" против журнала "Современник", ибо в ней он хладнокровно использует людей, связи которых с КГБ являются фактом, практически доказанным.

Нам уже приходилось писать о завидном постоянстве, с каким г-н Седых рекламировал Томаса Шумана (он же — Юрий Безменов) — бывшего работника АПН и КГБ. Ныне, в разговорах своих, Шуман-Безменов намекает, что он не только *бывший* (см. в связи с этим "Письмо в Редакцию" Валентина Гиндина — "Современник", 1979, № 43-44, стр. 236-237). В статье "Уродливый альянс" ("Современник", 1979, № 42, стр. 140-145) я вскрывал подоплеку "общности" между господами Шуманом и Седых. Эта статья вызвала резонанс: и без того подмоченная репутация Шумана была подорвана анализом его журналистской некомпетентности в вопросах, о которых он писал в "Новом Русском Слове"; не слишком красиво выглядел и его нью-йоркский покровитель г-н Седых. И вдруг в ситуацию вмешался новый фактор: советская газета "Голос Родины" (специально предназначенная для заграницы) выступила со статьей... *против* Шумана, в которой также осуждался и г-н Седых за его союз с Шуманом ("Голос Родины", октябрь 1979 г.).

Редактор "НРС" мог облегченно вздохнуть. В самом деле, если "Голос Родины" критикует его *за то же самое*, что и "Современник", значит г-н Седых прав в своих симпатиях к Шуману. Акция кагэбистского листка была рассчитана именно на такой ход мысли, который требовалось внушить также доверчивым читателям "Нового Русского Слова", смущенным личностью и писаниями Шумана. Как будто бы всё логично, но... Следует иметь в виду, что статья в "Голосе Родины" появилась не *до*, а *после*

выхода в свет "Современника" со статьей об "уродливом альянсе" Шумана и Седых. Характерно при этом, что хотя "Голос Родины" не скупился на обличение "моральных качеств" Шумана-Безменова, в газетной статье не содержалось никаких *конкретных деталей*, которые могли бы серьезно повредить Шуману в его канадско-американском бытии. (Что до его аморальности, то сие — факт очевидный и менее всего Шумана заботящий). Таким образом, сама собой напрашивается гипотеза: возможно, Шуман-Безменов "сигнализировал кому следует", что атаки "Современника" мешают ему в его "деятельности" и что следует создать необходимое "прикрытие". Таковое и было создано... ему, а заодно и г-ну Седых — как покровителю "канадского корреспондента". Время появления статьи в "Голосе Родины" и характер ее весьма "сбалансированной критики" по адресу Шумана свидетельствуют в пользу нашей гипотезы.

Однако случай Шумана меркнет на фоне другого эпизода. На страницах "Нового Русского Слова" вдруг замелькало имя Геннадия Тарасевича, совсем недавно выехавшего из СССР. Судьбе было угодно некогда столкнуть меня с Г.Тарасевичем в обстоятельствах самых драматических, и я хорошо знаю этого, весьма нехорошего человека. Посему я написал г-ну Седых *личное* письмо, предостерегая его от рекламы Тарасевича (до тех пор, во всяком случае, пока тот публично не покается в грехах, которые тяготеют над ним). Дабы не казаться голословным, я предложил г-ну Седых задать Тарасевичу ряд "контрольных вопросов" о его прошлом, что во многом утолило бы страсть г-на Седых к "бдительности" насчет "советских провокаторов". Цитирую эти вопросы:

1. Что может сообщить Тарасевич относительно своих показаний 1957 года в КГБ против Гидони и против подпольной организации "Социал-прогрессивный союз", в которую входили и я, и он?

2. Что может сказать Тарасевич по поводу его показаний 1958 года в Саранском КГБ (Мордовия), целью которых было представить Гидони "американским шпионом", а себя "слепым исполнителем" поручений Гидони?

3. Что может сказать Тарасевич о своей роли в качестве "сокамерника" мистера Гревилла Винна (английского подданного и подельника О.Пеньковского), когда он находился в тюрьме г. Владимира? Что также он скажет, в связи с этим, о своих отношениях с тогдашним заместителем начальника Владимирского КГБ полковником В.И.Шевченко?

4. Что может сказать Тарасевич о своей попытке доноса на Гидони в 1974 году (в период моих допросов в костромском КГБ — формально как свидетеля, фактически же как обвиняемого в деле, возбужденном против моей жены за ее т.н. "измену Родине")? Может быть, Тарасевич припомнит о своем визите в костромское КГБ к капитану Б.П.Кабакову — следователю по особо важным делам, который в то время вел дело Гидони и его жены Г.А.Румянцевой?

Казалось бы, предложенные мною вопросы — достаточный повод для

того, чтобы г-н Седых мог отточить свою "бдительность". Однако редактор "НПС" уклонился от этого и ответил мне коротким письмом демагогического свойства. Другим его ответом явились настойчивые публикации "произведений" Тарасевича, представляющих собой смесь стилизаторских потуг "под Зощенко" и третьесортного "одесского юмора"...

И ведь на какой психологической грани балансирует этот предатель со стажем! Открываю, например, номер "НПС" от 29 декабря 1979 года и вижу за подписью Тарасевича жанровую зарисовку под названием "КГБ". Ну, — думаю, — возможно, Тарасевич решил рассказать что-либо из ведомых ему секретов "почтенного ведомства"? — Ничего подобного! — Плоский юмор насчет некоей "Куликовой Галины Борисовны", инициалы которой можно прочесть в виде аббревиатуры "КГБ". В номере "НПС" от 1 февраля 1980 года еще чище: Геннадий Тарасевич — "Как я был стукачом". Наконец-то, — думаю, — рассказывает о себе, кается...! Опять-таки ничего подобного! — Зарисовка о вымышленных персонажах — мало любопытная, прямо скажем. А ведь о собственном доносителе в прошлом куда интереснее мог бы написать Тарасевич.

Однако он предпочитает фиглярничать на "скользких темах", поощряемый г-ном Седых, который готов копаться в истории с операцией "Трест" или с похищением генерала Кутепова, но проявляет редкостную "терпимость" к тем, кого он хочет использовать в целях своей "борьбы" с негодными ему людьми или печатными органами. Впрочем, и о самом себе г-н Седых недавно рассказал такой эпизод, что тут только руками развести можно. В "НПС" от 15 января 1980 года, излагая историю похищения во Франции советскими агентами генерала Миллера, с помощью завербованной ими Н.В.Плевицкой, г-н Седых сообщает, что он *лично узнал* от некоего "инженера Райгородского" детали, уличавшую Пlevицкую в работе на чекистов, однако, — пишет г-н Седых, играя в "рыцарство", — поскольку он дал Райгородскому слово молчать, то он это слово "держал 50 лет и рассказал всю историю встречи Пlevицкой с чекистами... зная, что Райгородского уже нет в живых и что я больше не связан данным обещанием".

Г-н Седых полагает, что мы станем умиляться его "сдержанности" в столь важном деле, как разоблачение нитей советского шпионажа! Он думает, что его оправдывает девиз: "слово — серебро, а молчание — золото". По сути же, *такого рода* "молчание" граничит с уровнем полученных "серебряников", или, во всяком случае, — преступного небрежения. Ведь — кто знает? — может быть, деталь, о которой знал и *молчал* г-н Седых, могла в свое время пригодиться в конкретных акциях против советского шпионажа? Но г-н Седых предпочел "хранить тайну". Остается только гадать, какие еще тайны подобного сорта остались у г-на Седых не рассказанными? Хорош "борец против советской агентуры", который молчит о ее делах в течение пятидесяти лет!.. И он еще читает проповеди насчет "бдительности"!..

Говоря о лицемерии г-на Седых, я не хочу вносить свой вклад в "шпиономанию" и обвинять его в "сотрудничестве с КГБ". Дело обстоит не так страшно. Просто-напросто беспринципность редактора "НРС" такова, что он готов использовать даже КГБ и трюки этой организации для целей своей полемики. Ради этого он закрывает глаза на очевидные опасности и раздувает мнимые. По этой причине, скажем, он готов печатно муссировать слухи о "стукачестве" живущего в СССР художника Ильи Глазунова и привычать находящегося в США "заслуженного стукача" Геннадия Тарасевича. И если для обличения лицемерных маневров г-на Седых я нарушил секрет моей с ним *личной* переписки, то это вызвано тем, что я не желаю (подобно ему) *молчать 50 лет* о вещах, которые заслуживают внимания русской общественности *сегодня!*

### Р Е П Л И К А

В газете "Русская Мысль" от 14 февраля 1980 года выступил с заявлением Сергей Рафальский. В нем он негодует по адресу "Современника" и весьма сумбурно жалуется на публикацию в нашем журнале письма из Парижа, подписанного "...Ский (с прописной, а не строчной буквы)". Далее С.Рафальский продолжает:

*"Провокация (?!) автора и редакции касается лица, с которым с давних пор существуют добрые отношения у меня, уже более десятка лет помещающегося в парижской "Русской Мысли" (и исключительно только в ней) статьи и заметки под псевдонимом ...Ский (с прописной, а не строчной буквы). Таким образом редакция "Современника" использовала чужой псевдоним для грязных своих расчетов. Поскольку вполне возможно повторение, ранее неслыханной, подобной подделки — вынужден заявить, что больше этим (рассчитанным на порядочных людей и мало индивидуализированным) псевдонимом пользоваться не буду, и все подписанное им — буде оно появится в печати — наглая провокация."*

Прежде всего расшифруем для читателя "лицо", с коим г-н Рафальский поддерживает "добрые отношения" и которое он почему-то не рискует назвать по имени. "Лицо" это — г-н Седых, редактор нью-йоркского "Нового Русского Слова". В письме из Парижа, помещенном в "Современнике" (№ 43-44, стр. 234-236) критикуется "официальная" версия г-на Седых о пожарах в помещении редакции его газеты. Каким образом всё это задевает г-на Рафальского и в чем он усматривает аж "провокацию" — понять трудно. Вроде бы, г-н Рафальский ни в каких "пожарах" не замешан и письмо, подписанное "...Ский", судя по его негодованию, принадлежит не ему. На что же он сердится? Что письмо помечено Парижем? Но у "Современника" немало корреспондентов, там живущих, и каждый из

них волен подписаться как угодно — тайна же псевдонимов оберегается всеми редакциями. Теоретически можно представить себе случай, когда мы получаем *из Парижа* письмо, подписанное, скажем, — С.Фальский, однако отсюда не вытекает, что оно принадлежит *Сергею Рафальскому*, живущему в Париже и очень близко принимающему к сердцу интересы г-на Седых, живущего в Нью-Йорке.

Что касается "...Ский" (с любой буквы), то это, во-первых, не псевдоним, а уж скорее *криптоним* (и странно, что столь опытный журналист, как Рафальский, не знает разницы этих терминов), а, во-вторых, никто не давал г-ну Рафальскому монопольного права на ту или иную разновидность как криптонимов, так — если угодно — и *псевдонимов*. Например, в том же номере "Современника", где напечатано письмо из Парижа, подписанное "...Ский", помещена статья о книге мемуаров украинского писателя Уласа Самчука, и автор этой статьи подписался "Иван С-кий". Что ж, и здесь нам прикажете усматривать намек на Рафальского? Думаю, что имей г-н Рафальский необходимую эрудицию библиографического свойства, он просто заглянул бы в соответствующие словари псевдонимов и криптонимов, убедившись, что он — не единственный, не первый (и, видимо, не последний), кто пользуется криптонимом "...Ский". Посему никакой попытки "использовать чужой псевдоним" (тем паче, для "грязных расчетов") редакция "Современника" не совершала, и мы отвергаем *грязные обвинения* г-на Рафальского на этот счет как совершенно необоснованные. Что же касается его решения пользоваться или *не* пользоваться криптонимом "...Ский", то это его частное дело и смешно об этом "заявлять" через газету в столь драматизированной форме, как он это сделал. Иначе возникает коварный вопрос: из-за чего весь сыр-бор загорелся? И уж не написал ли *в самом деле* г-н Рафальский письмо для "Современника", подписавшись "...Ский" (*с прописной, а не строчной буквы*)?

А. Г.

( *Не псевдоним*, к сведению г-на Рафальского )

## СПОРИТЬ ПО-ДОБРОМУ

Предо мной книги Владимира Буковского и Владимира Рыбакова: "...И возвращается ветер" и "Тяжесть". Раз уж много спето им хвалебных од, позвольте мне спеть и свою.

Книга Буковского написана просто, не вульгарно, читается легко. И за это ему спасибо. Испытываешь все страдания с автором; иногда он невольно заставляет улыбаться, чаще — задумываться, да так, что хоть возвращайся в Советский Союз и начинай помогать диссидентам. Всё бы хорошо, но... Владимир, как же ты сделал из КГБ театр комедии на Лубянке? Всему миру известно, что кегебисты — людоеды, но зачем их показывать глупцами? Западный человек прочтет книгу и скажет: "Это ж не органы, а недотепы, поеду-ка я помочь диссидентам". А в Союзе его, как куренка, ошипает КГБ и бросит в ши, называемые открытым судом, на котором он раскается и выдаст организации за границы, которые помогают подсоветскому человеку. За примерами ходить далеко не приходится. Недавно шведы (двое из них — пятидесятники) отправились в СССР. Послушали бы вы, какую чепуху нес по возвращении г-н Ниедре! Я чуть в драку не полез. По его рассказам, его возили по многим лагерям, похожим на санатории, где он беседовал с советскими заключенными. Лишь транспорт подкачал, остальное всё хорошо. В мордовских лагерях он барак не видел. В каменных зданиях в комнатах было по 15 человек на железных кроватях, покрытых белыми простынями. Два раза в неделю арестанты принимали душ. Всему миру известны эти "помощники" режима, но знает ли мир об остальных бесчисленных зека?

Органы у Буковского не только глупы, они еще враждуют меж собою (Буковский имеет в виду КГБ и МВД). Откуда тебе это известно, Владимир? Ты что, служил в органах, что ли? Не хочешь ли ты стать экспертом по органам, как в свое время Рыбаков был экспертом по сельскому хозяйству СССР? Органы никогда не вмешиваются открыто в дела МВД. Если нужно, они действуют по телефону и начальник милиции немедленно выполняет их приказ. Когда КГБ вмешивается открыто, МВД выполняет его приказы безоговорочно. Кто прав в своей оценке КГБ: Джон Баррон или Владимир Буковский?

На стр. 78 Буковский уверяет, что граница с Китаем не охраняется, на ней пьяные офицеры и т.д. Но это ложь! Я служил с 1954 по 1957 годы на границе с Китаем. Она представляет из себя такой же железный занавес, как и граница с Норвегией или Японией. Не надо дезинформировать Запад. От этого польза только режиму.



И еще хочется спросить: Владимир, ты разве атеист? Почему ты так не взлюбил Игоря Огурцова? Ведь он страдает похлеще, чем страдал ты. Тебя хоть временами выпускали подышать "свободным" воздухом. А его? Режим боится подпольщиков, как черт ладана. Он давно понял западную легальность, и потому перенял ее. Он терпит диссидентов до поры до времени, и как только они переходят грань, прячет их в тюрьгу или в психушку.

Книга Рыбакова – не быль, а выдуманная ложь с первой страницы до последней (за исключением отпуска Мальцева). Я берусь доказать где угодно, что книга написана либо кем-то другим, либо Рыбаков служил не в артиллерии, а то ли в Хозброде (так называют хозяйственную часть), то ли истопником в доме офицеров. Ибо он слышал звон, да не знает, где он. Я был зенитчиком орудийного расчета в ПВО, 15 суток отсидел на губе, был выводным на гарнизонной гаупвахте, и заверяю: если бы Рыбаков знал караульный устав, то он не смог бы написать несусветную чушь. Разводящий никогда не стоит на посту и не имеет права отправлять часового в казарму, как бы тот ни нарушил устав. Этим занимается начальник караула, который сообщает о случившемся дежурному по части. Ложки за голенищами просуществовали до 1955 года, после чего были сданы в столовую, и на учения старшина их берет из каптерки. Стройбаты не могут питаться по 3-ей категории, поскольку с 1956 года расформированы. В дальневосточной армии не царит анархия – напротив, это самая дисциплинированная армия.

Для кого писал Рыбаков свою книгу? Зачем он всё время искажает мысли и действия солдат советской армии? И не только в книге, а и в "Русской Мысли". Господин Рыбаков, Вы же подрываете авторитет газеты! Или специально ложью Вы хотите оттолкнуть от нее читателей? Но ведь ложь – смерть для газеты.

После прочтения вышеупомянутых двух книг я вспомнил, как г-н Померанцев в "Русской Мысли" (№ 3268) писал о взаимопонимании. Я полностью с ним согласен и потому прошу дать возможность читателям "Русской Мысли" прочесть следующее:

Я – чернорабочий, отец четырех детей (старшей только пять лет). Отец был "врагом народа". В СССР испытал всё, кроме тюрьмы. Правда, за четыре часа, что просидел однажды в КПЗ, мою одежду "поменяли" на арестантскую. Примерно тогда же у меня стали вычитать 25 % зарплаты за побег с работы, куда я принудительно был отправлен после ФЗО. За тетину водку спас меня "герой" гражданской войны. Я ходил с торбой и просил милостыню, чтобы не умерли с голоду маленькис сестры, когда мать лежала больная. Четыре сезона я был пастухом, чистил с матерью уборные и т.д. Мерзость низов испытал на своей шкуре. Познакомился и с жизнью верхов: работал один сезон переводчиком с иностранными туристами. Увидев мерзость органов, решил начать всё сначала. И как ни трудно класть в рот неочищенную картошку, когда остался еще привкус

сливок, я опять стал чернорабочим и отказался закончить институт, чтобы получить образование.

В 1969 году мне удалось покинуть "коммунистический рай". На Западе опять пришлось начинать сначала, т.к. на границе отобрали все документы, подтверждающие разные мои специальности, оставив только серпастый молоткастый советский паспорт.

Я — подписчик "Русской Мысли" с 1974 года и храню все номера. Раньше было много дебатов на разные темы, газета была интересной. А теперь? Не любите Вы критики в Ваш адрес, особенно критики диссидентов. Стоит кому-то их затронуть, как ему навешивают ярлык кегебешника. Я написал статью о диссидентах в Вашу газету, и поскольку "РМ" не напечатала, отдал статью другим. И вот Сергеев немедленно пришел Альфе "агента КГБ" в одном из своих обзоров. Как это возможно?

Я много читаю, встречаюсь с людьми почти со всего земного шара. Нигде нет таких склок и разногласий, ненависти друг к другу, как среди русских. Жестокость русских атеистов и коммунистов в годы Советской власти известна. Я испытал ее на собственной шкуре и видел, как русские тешились над поволжскими немцами, пригнанными к нам в Сибирь. А теперь здесь, на Западе. В Союзе люди клеветали друг на друга по указке сверху и по своему безбожью. Здесь не вас душат, а вы сами друг друга душите по злобе и зависти вместо того, чтобы помочь друг другу и объединиться.

В этом году я принял православие и потому хочу дать совет: простите друг друга за полученные и нанесенные обиды и увидите, какая радость будет Богу и какая польза нашей общей родине.

В эмиграции задушили русского философа и ученого Дмитрия Михайловича Панина. Вы сделали то, чего не смогли сделать в Союзе. Я читал все его работы. Он — человек дела. На мой взгляд, с ним можно поспорить о его суждениях о душе и вере, но методом дискуссии и возражений. В свое время такой держиморда, как Ленин, и то вел дискуссии со своими противниками. А ведь Панин печется не о своем Я, а о России и о ее народах. Вы читали его работы? Считаете их ложными — возрадите, не молчите! Негласность для философа, ученого и писателя — смерть, и вы это знаете не хуже меня. Если вы читали его работы и не можете возразить, то вы — холостые патроны в бою против коммунистического режима. Вас ведь целая армия во главе с Солженицыным. Никто не отнимает у Солженицына того, что он заслужил, и большое ему спасибо за все его прежние труды. Но позвольте возразить ему на то, что он несет в последнее время. Данное им 3 февраля 1979 года интервью по радио Би-Би-Си толкает народы подсоветского режима на самоубийство: говорить режиму правду, честно работать, отказаться от помощи эмигрантов (я имею в виду религиозную литературу, которая объединяет людей, независимо от национальностей). И вы считаете его пророком! В Союзе Солженицын был Саней. А на Западе Вы, Александр Исаевич, замуровали

себя за стеной. Не культ ли это личности? Мы забыли одну из заповедей Христовых: благодарите сначала Бога, а уж потом людей!

Не спасется русский народ от коммунистического режима, пока не покается в своем великом грехе: в 1917 году народ стал служить сначала Ленину-дьяволу, а уж потом Богу. Результат известен.

Если Вы не можете возразить Панину, то возразите мне, простому работяге.

До 1975 года "Русская Мысль" была ядом для коммунистических режимов и леваков всех толков. Как-то в больнице я предложил номер "РМ" зубному врачу из Союза (эта женщина вышла замуж за шведа). Она ша-рахнулась от меня, увидев название, как будто в руке у меня была не газета, а кобра. А теперь? "Русскую Мысль" читают и смеются: посмотрим, что они там навывдумывали. Я спрашиваю вас: где наша прежняя независимая, свободная, почитаемая людьми газета?

Мой совет: возьмите пример с "Современника" (Канада). Читаешь его статьи и то поднимаешься на небеса, то опускаешься в крошечный ад. Сколько людей, столько и мнений. А сделать из массы разношерстных людей всех одного мнения, не удавалось еще никому, да и не удастся человечеству!

Мне хочется закончить письмо словами великого полководца Александра Васильевича Суворова: "Спешите делать добро!"

Рабочий из Швеции Альфред Иванович Вedom.

Стокгольм, январь 1980 г.

## В ДУХЕ ЗЛОБЫ

*Прибегаю к редакции "Современника" с просьбой опубликовать ниже следующий ответ Н.Нефедову по поводу его статьи "Ольга Берггольц... Е.Евтушенко... К.Паустовский" в № 15 "Голоса Зарубежья", содержащей крайне резкие и несправедливые обвинения по адресу названных им трех писателей.*

Нетерпимость — плохой советник, а у Н.Нефедова она крайне развита. Уместно ли требовать от советских писателей, чтобы они: 1/ имели стопроцентно антибольшевистские взгляды; 2/ их громко и ясно выражали? Ни один советский (точнее, подсоветский) писатель не свободен говорить правду. Еще там теперь... при Сталине же вмиг полетел бы на Колыму, а книги его — в Лету. Более того: кто писал правдиво, тому в редакциях что надо вставляли и что надо — вычеркивали. Легко сказать: не надо было писать. Лучше ли бы вышло, не будь за советский период никакой литературы? Ну, да — она есть. Значит, нужно в ней различать более честное и более подлое. Впрочем, не будем себя обманывать: не всё в ней — сознательная ложь; чудовищность большевизма лишь постепенно стала явной для всех. Сам Солженицын верил сперва в марксизм. А уж вера в Ленина, и даже в Сталина, внедрявшаяся в школе, — у скольких она затемняла мозги в детстве, и только позже изгонялась из сознания!

Попади власть в России в руки Нефедова, он, очевидно, писателей велит казнить, а книги — сжечь. Но, авось, так не произойдет. Вспомним, в виде крайнего случая, *монархические* реставрации в Англии и во Франции: они начинались с широкой амнистии (как факт, всем, кроме царевубийц), а позже многие из прежних противников занимали даже и видные государственные посты. Если продолжать жуткую нефедовскую логику еще, какрять придется поголовно *всех*. Ученые должны были приспособливаться к требованиям властей свои труды, преподаватели — свои лекции. Всем приходилось лгать; самое меньшее — молчать. Иначе предстояла страшная и *вполне бесполезная* гибель. Так что, можно заранее адресовать Нефедову реплику Дидоны из трагедии Княжнина:

*Влады над мертвыми в земле опустошенной!*

Не будем смешивать озлобленность с непримиримостью и бесчеловечность с принципиальностью!

На вопрос Нефедова, сохраняются ли в России какие-либо стихи Демьяна Бедного, не берусь ответить. Контролировать литературу свыше труд-

но (и должно ли?). Национал-социалисты исключали из немецкой неарийца Гейне, а его стихи жили в народе в форме песен. Вон Сурков пользуется скверной репутацией, а его "Землянку" я впервые — с восхищением — услышал из уст капитана РОА, притом старого эмигранта из Франции. А стихи Симонова "Жди меня" и "Ты помнишь, Алеша..." столь же популярны в эмиграции, как и в России. Поди-ка их запрети! Они дороги всем, кто пережил войну. Я совсем не люблю Маяковского, но некоторые строфы его сделались поговорками.

Не знаю, чем объясняется особая ненависть Нефедова к Ольге Берггольц, поэту бесспорного и большого дарования. Зря он полагает, что я ее не читал: я избегаю судить про то, что мне мало знакомо. У меня есть и ее двухтомник "Избранные произведения" (Ленинград, 1967) и прекрасно составленный сборник "Узел" (Ленинград, 1965).

В ее поэзии замечательно переданы кошмары ежовщины:

И оборотнем вдруг  
предстанет пред тобой  
и оклеветает друг  
и оттолкнет другой.

Еще страшнее отголосок того же самого в "Аленушке":

Иванушка, возлюбленный,  
светлей и краше дня, —  
потопленный, погубленный,  
ты слышишь ли меня?

Оболганный, обманутый,  
ни в чем не виноват, —  
Иванушка, Иванушка,  
воротисься ль наз-ад?

Нефедов считает ее страдания за ничто, и даже вроде сожалеет, что она в концлагере провела *только* полтора года; потерю мужа и маленькой дочки он не ставит ни во что. Берггольц про это рассказывает так:

Друг мой, ты спросишь — как же я выжила?  
Как не лишилась души, ума?  
Голос твой милый все время слышала,  
Его не могла заглушить тюрьма.

И еще:

Не наяву, но во сне, во сне  
я увидала тебя: ты жив.  
Ты вынес всё и пришел ко мне,  
пересек последние рубежи.

Для Нефедова — пустые фразы; но для жен, матерей и сестер, чьи близкие сгинули в сталинской мясорубке, это — крик сердца; и, пожалуй,

они не согласятся вымарать подобные строки из памяти России. И уж если это — не критика советского строя, то... какая же бывает критика?

Не совсем удобно вычеркнуть и такое:

Достигшей немого отчаянья,  
Давно не молящейся Богу,  
Иконку "Благое Молчание"  
Мне мать подарила в дорогу.

Труднее же всего, в деле конечного истребления Берггольц, придется Нефедову с ее стихотворением "Церковь "Дивная" в Угличе", с триумфом обошедшим эмигрантскую прессу:

А церковь всеми гранями своими  
такой прекрасной вышла, что народ  
ей дал свое — незыблемое — имя, —  
ее донине "Дивною" зовет.

О советском аде она нам рассказала и в прозе, несмотря на то, что рот ей был зажат, как она сама намекает: "Да, мы многих сторон и событий нашей жизни... коснулись лишь поверхностно и чаще всего фальшиво. Но мы их помним все..." Возьмем, к примеру, ее описание в "Дневных звездах" посещения зоосада, где гиена ей живо напоминает подавшую на нее донос выдвиженку Климанчук, а унылая группа птиц вокруг бассейна вызывает у нее мысль: "Заседание нашей редакции!" Нет, решительно, Берггольц нам драгоценна как свидетельница о своем кровью ледящем времени: ведь Нефедов — увы! — про него с подобной силой расказать не сумеет.

Идеализация Ленина являлась, наверное, для Берггольц противоядием культу Сталина; возможно, и воспоминанием об иллюзиях ранних лет; что до патриотического угара, он имел глубокие корни — даже и Ахматова ему поддалась! Найти у Берггольц строки, за которые стыдно, — очень просто, но их не больше, чем у всех советских авторов. Да разве одних советских?.. При железной бескомпромиссности Нефедова, надо выкинуть из литературы и Блока, и скольких еще других!

Что до звания политрука, которым нас старательно пугает Нефедов, оно давалось, в войну, всем журналистам и работникам радио. Офицерский же паек Берггольц в дни блокады составлял 250 граммов хлеба; в главе "Поход за Невскую заставу" изображен голод, которым страдали она и ее отец, упомянута смерть всех остальных членов их семьи... Нефедову мало этих страданий, но больших — люди уже не в состоянии пережить.

Про Евтушенко Нефедов невнимательно меня прочел. Я сказал, что *иные* его стихи, патриотические, не будут де забыты. Нефедов отвечает ссылками на употребление им блатных слов; да ведь не в тех же стихах, Господи! Да и, надо прибавить, по сравнению с лексикой третьей волны, — куда уж до них Евтушенко... И ведь, наверно уж, не блатные его стихи читали на эмигрантских собраниях?

Верно, что Паустовский лишь относительно либерален. Но, коли уж его упразднить, придется и Чуковского, и Пастернака, и Мандельштама, и Л. Чуковскую, и даже Домбровского; где же мы остановимся? Всех под корень? О Замятине что толковать; он рано уехал из СССР. Грин проявил исключительные доблесть и стойкость; однако его быстро принудили к молчанию.

Странно мне все же: ведь вот В. Некрасов, партиец с 30-летним стажем, почти ничем не поступившийся в своих коммунистических воззрениях, выехал за рубеж, — и путь ему устилают розами, и никто против него не пикнет! А Нефедов громит покойных подсоветских писателей, живущих в цепях, подвергнувшихся репрессиям...

Зная пристрастие эмиграции к личным применениям, присовокуплю, что я в СССР ни строчки не опубликовал (да и был там школьником и студентом), приспособленчеством не грешил, — даже ни в пионерах, ни в комсомольцах не состоял; большевизм ненавидел с детства; а что до борьбы с ним, — не знаю, больше ли меня сделал г-н Нефедов. Не протестую против наказания действительно виновных, но плохо, если месть создателям режима будет распространяться на его жертв!

Мне чужды и неприятны свойственные Нефедову черты изуверства; нам нужен не большевизм с обратным знаком, а нечто противоположное большевизму, на иных началах основанное.

# ДЖУНГЛИ СВОБОДЫ

В пылу уничтожающей критики редактора "Время и Мы" Перельмана Наташа Рубинштейн (№ 10, журнал "22") явно переборщила, пытаясь доказать несостоятельность его представлений о свободе.

— Оттуда, из московского юридического заповедника только и можно было вынести понятие о свободе, как о джунглях, — пишет она.

Так ли это? В доказательство она приводит Горького, О.Генри и политэкономии. Бедный Ю.Генри! Он ужаснулся бы, наверное, узнав, в какую компанию попал. Туда же можно притащить и других свидетелей, всех обличителей западных и джунглей свободы от Стейнбека до Сартра. Тащи их в московский заповедник — хотят они того или нет! Весьма странный способ доказательства — приволакивать за уши свидетелей.

Я же хочу привести как свидетельство письмо приятеля:

"Мое открытие на Западе: те самые жирные свиньи, что в СССР — с высоты писательских трибун, призывали меня строить коммунизм. Здесь опять призывают меня же строить антикоммунизм — с высоты разных Голосов и Свобод. Назову и их имена: Максимов, Некрасов, Глезер, Перельман и Компания. То, что я в СССР всерьез боролся с большевиками и в этой борьбе потерял всё — и здоровье, и возможность иметь диплом, здесь закрывает мне возможность человеческого устройства.

Если бы я в СССР притворялся и лгал (подстраивался под систему), или, вдобавок, истерически призывал бы строить коммунизм (Некрасов-Максимов и Компания), то я и в СССР жил бы неплохо, и здесь, на Западе, меня бы встретили как великого героя. Я бы окончил институт, занимался бы любимой наукой и считался бы человеком — и в СССР, и на Западе.

Но в СССР даже без диплома и с хвостом политэка можно быть принятым в человеческое общество (и, хотя бедное и неофициальное, но лучшее, чем патентованные профессора Запада). В России ценят (не все, но многие) самого человека (что он есть, что знает, во что верует), а на Западе — как ты одет, какие манеры и какую должность имеешь (и, главное, сколько долларов имеешь). Поэтому, если в России я был уважаемым — по крайней мере, в определенных кругах (неофициальных) — человеком, на Западе я оказался дерьмом, т.к. на Западе нет места ничему "неофициальному": всё является частью "истабlishмента", правящего класса.

Мне говорят: плюйте на всё, устраивайтесь. Но если бы я привык "устраиваться", то устроился бы в СССР. В СССР я был политиком, публицистом (в Самиздате, т.к. отверг соучастие с коммунистами), но те, кто были соучастниками моих тюремщиков, здесь получают кафедры в университетах и должности в издательствах и на радио, и, конечно, "золотой дождь"...

Я думаю, что это письмо — достаточно красноречивое свидетельство в защиту О.Генри и других.



## Песнь Ненависти.

Наташа приводит "песнь джунглей" Перельмана. Я хочу пропеть дру-  
гую песнь — песнь ненависти.

Она наваливается на меня, как лавина. Сжимает спазмой горло. О,  
эти горячие ночи в карцерах, на тюремных койках! И только стиснутые  
зубы и шепчущие губы: "о, как я их ненавижу!" И вспоминаются слова  
Даниэля: "Я ненавижу их до колик в животе, до клекота в горле!"

Я отомщу им за всех, за себя и за тех, кто мучается вместе со мной,  
и за тех, миллионов замученных, каждого из которых эти звери не стоят  
и подошвы! Моя ненависть отольется в бомбы, которые мы будем в них  
бросать, в горячие пули автоматных очередей, которые вспорят их живо-  
ты! О, как я их ненавижу!.. И я не был одинок в своей ненависти. Сколько  
их, швырнувших им в лицо этой обжигающей ненавистью, поплатившихся  
карцером, тюрьмой, жизнью.

Я ненавижу советский фашизм. Но я ненавижу и волчий оскал джун-  
лей. И сколько их, выдержавших железные тиски фашистов КГБ и сломав-  
шихся в западных джунглях! Петр Горячев — в римском дурдоме! Юрий  
Титов — в парижском! Елена Строева повесилась в Париже! За что?!

Помню, я приехал на зону, и первое, что услышал, было о ленинградце  
Горячеве, требовавшем от кагебистов вернуть ему украденные ("поте-  
рянные") вещи. "Не хочу освобождаться в эковской одежде!" Его насиль-  
но увезли этапом в Ленинград и там выпустили на свободу. Выдержал  
ведь 4 года лагерей и в конце еще — гордое: "Не хочу такой свободы!"  
Всё выдержал. А на Западе спился, под мостом бродягой ночевал. Поче-  
му?! Неприспособлен? Не та хватка? Может быть.

Действительно, даже его выходка с одеждой выглядит весьма непрак-  
тично. Я знаю: я бы этого не сделал, я б не стал размениваться по мело-  
чам, вышел бы и в эковской одежде. Знаю, что я бы и на Западе не про-  
пал. Так что, — этих "слабых" списать за ненадобностью? Они свой кусок  
не могут вырвать у другого из горла, так им уж и места нет?!

Я ненавижу самодовольных и наглых повелителей джунглей!

— "У вас в Израиле еще не так это чувствуется. Здесь же самые нас-  
тоящие джунгли". (Из письма из Рима).

Я тоже думаю, что в Израиле атмосфера отличается от западной. Нам-  
ного ли?

— "Что-то среди олим появилась такая привычка — о б л а к а ч и-  
в а т ь с я, нагло и с милой улыбкой и с п о л ь з о в а т ь". (Из пись-  
ма друга).

Так ли уж мы далеки от джунглей?

Так что Перельман гораздо более прав, видя в свободе — джунгли.  
Но его "объективная правота" не заслоняет передо мной "субъективной"  
правоты — Наташиной. Недаром Перельман с таким успехом учит эмиг-  
рантов волчьей хватке — преуспевающий журналист в СССР, еще более  
преуспевающий в Израиле. Он — как кошка: всегда упадет на четыре ла-  
пы в любой ситуации.

Кибуц Негба, Израиль.

Художник Игорь Синявин перепробовал себя в разных ролях. Не снискав успеха на ниве живописи по причине отсутствия творческой индивидуальности и художественного вкуса, он решил нырнуть в политику, полагая, что успех в ней приведет отраженным светом к столь желанной "славе". Поелику твердо сложившихся убеждений он не имел, а его мелкобуржуазно-богемная натура жаждала *немедленных* дивидендов известности, то примыкал он ко всем по очереди и даже ко всем сразу: с монархистами прикидывался верноподданным поклонником "святой Руси", с демократами говорил о "правах народа". Вместе с единомышленниками он поругивал "расчлениателей России", а знакомясь с националистами Украины и других угнетенных народностей, требовал "развала советской империи". Советскую власть он осуждал, но умеренно, не переходя, так сказать, последней черты и напоминая, что как-никак, а власть эта в России пребывает, а значит, выступление против нее есть вместе с тем и борьба против "русского народа". Насчет же своей, генетически, мол, обусловленной "русскости", Синявин заботился больше всего. Неудивительно, что на этом скользком пути он ныне докатился до прямого пособничества советчикам.

Доказательством является его "Открытое письмо" А.Д.Сахарову, которое он теперь рассылает различным лицам и учреждениям (в том числе и советским). В нем он "клеимит" академика Сахарова как, якобы, лидера "пятой колонны" в СССР, повторившего "близких по духу... господ Милюкова и Родзянки, воткнувших России нож в спину", и молящегося "на Запад, на Картера".

Синявина возмущает, говоря его словами, "шумиха, поднятая американскими газетами по поводу вторжения в Афганистан" (чем не стиль газеты "Правда"?). "Где, — патетически вопрошает он академика Сахарова, — был Ваш голос, когда Китай напал на Вьетнам? Куда делась совесть лауреата премии мира, когда обнаружились преступления Шаха и вмешательство американцев во внутренние дела этой страны?" По логике "*товарища Синявина*" так называемое "вмешательство американцев" в Иране было, вероятно, куда более ярким примером агрессии, чем советская интервенция в Афганистане, и — полагает он — академик Сахаров должен рассуждать точно так же — по-синявински. Но поскольку академик Сахаров мыслит иначе (да еще — о ужас! — поддерживает идею бойкота московской Олимпиады), то он "ослабляет страну", т.е. СССР, "утратил национальное чувство и любовь к Родине", встал "в ряды гробокопателей России".

На фоне такого "падения Сахарова" Синявин воображает себя, разумеется, "спасителем русского народа", который, по словам его, и при советской власти "сохранил душу". Что же до академика Сахарова, то в нем следует "видеть не просто тенденциозного человека, а хуже..."

Впрочем, достаточно цитат из "товарища Синявина". Человеку, пишущему такое, не место в рядах русской эмиграции! Очень жаль, что журнал "Современник" в свое время предоставил страницы для его, явно "маскировочных" статей по национальному вопросу и грубо тенденциозных воспоминаний (последние публиковал также "Новый Журнал"). В настоящее время Синявина вышибли ото всюду — и поделом! Возможно, раздававшиеся по его адресу обвинения в сотрудничестве с КГБ (в частности, в связи с его гнусным поведением в деле Юлии Вознесенской) мотивированы глубже, чем это казалось. Человек, который взял на себя роль "обличителя" академика Сахарова именно в тот момент, когда все люди доброй воли поддерживают его, подвергнувшегося новым репрессиям, — такой человек вполне может быть не мнимым, а реальным агентом КГБ. Но даже если это и не так, то, учитывая постоянные разговоры Синявина о желании его вернуться в СССР, можно посоветовать этому "товарищу": докатились вы до многого — катитесь дальше...

О.Б.

Ванкувер, Канада.

## КОГДА ПРЕТЕНЗИИ ВЫШЕ ЗНАНИЯ...

Давно я подозревал, что в статьях Владимира Рудинского больше напыщенного блеска, чем сути. Подтверждение этому принес пятнадцатый номер журнала "Голос Зарубежья", где г-н Рудинский, в связи с моим очерком о Янке Купале ("Современник", № 42) замечает: "До Купалы имелся М.Богданович, непревзойденный мастер стиха и слога". И далее: "Купала с ним соотносится, как Кольцов с Пушкиным".

Согласно В.Рудинскому выходит, что у Богдановича — своего предшественника, "непревзойденного мастера", Купала учился и языку и творчеству. А ведь Богданович был младше Купалы на девять лет и печататься начал позднее его (по крайней мере, на белорусском языке). Оказывается, В.Рудинский не только знаменитый критик, но еще и первооткрыватель. Браво!..

Уж если по творческим результатам и таланту сравнивать Купалу и Богдановича с русскими поэтами, так, пожалуй, — не без оговорок! — Купалу следует поставить возле Пушкина, а Богдановича около Лермонтова. Это, повторяю, не без оговорок.

Откуда ж В.Рудинский почерпнул свои премудрости о Янке Купале? Он сам говорит: "его произведения публиковались большим тиражом, в оригинале и по-русски". Но в том-то и дело, что самые лучшие произведения Купалы, где доминировал национально-исторический элемент, за который его преследовали, были и до сего времени остаются запрещенными. Они не вошли и в последнее, академическое издание Купалы в семи томах. Власть предержавшие в СССР боятся настоящего Купалы — народного пророка и творческого гиганта, а подсоветские белорусы так его и не познали.

И стоит ли Рудинскому, взирая на тот или иной слабый стишок (а такие, как известно, бывают и у гениев), рассуждать о полноводном океане, коим было творчество Купалы для белорусского народа?

Не удалось В.Рудинскому и его сравнение Купалы с... Есениным, когда он процитировал строки из большого стихотворения Купалы "Зыходзіш, вёска зь яснай явы", написанного, якобы, во славу коллективизации. На самом деле, это — стихотворение-протест. Самим строем и рифмическим рисунком стиха Купала подчеркивает это. Такую же точно строфическую и рифмовую схему находим мы только в одном купаловом стихотворении ("В ночном царстве", написанном во время столыпинской реакции после революции 1905 года).

Сравните:

У ночным царстве,  
Скрыпцъ трухляцінай асіны,  
Над курганамі зьвяр'ё вые...  
Гасьцінцам, церневай пуцінай  
У ёрмах, скованы скацінай,  
Ідуць нябожчыкі жывыя.

"Зыходзіш, вёска..." (цитированное Рудинским):

Гарбы тваіх нямых курганаў,  
Дзе сыпцъ нявольнікі і князі,  
Парэжа сталь, як нож баранаў,  
І спражыць полымя буянаў,  
Каб цвёт зацьвіў на гразкай гразі.

Самим ладом своим стих наводит угрюмое настроение, противоположное тому энтузиастическому подъему, который поэт должен был бы выразить, если б он действительно приветствовал колхозную деревню. Купала же аллегорический протест против столыпинской реакции отождествил с протестом против уничтожения деревни Сталиным...

Совершенной нелепостью (причем подчеркнутой г-ном Рудинским) является его утверждение, что, мол, "Богданович творил в условиях свободы, в царской России, не принуждаемый врать, как бедный Купала..."

Богданович сначала жил в Нижнем Новгороде, а потом в Ярославле. Купала до 1908 года не выезжал из белорусской деревни, затем, в 1908-1909 годах, он жил в Вильно. С 1909-го по 1913 годы он учился и работал в Петербурге (благодаря помощи проф. Эпимаха-Шипилы и других, помогавших белорусским студентам). Там же, по общему мнению, он достиг зенита своего творчества, издавая сборник "Шляхам Жыцця". С 1913-го по 1915 годы Купала, вернувшись в Вильно, бывший тогда центром белорусского возрождения, редактировал "Нашу Ниву".

Понятно, что оба поэта жили под крылом одного и того же "самодержца всея Руси и прочая". Разве в Ярославле была ббольшая свобода творчества, чем в Петербурге, где сам "самодержец" извоили проживать? Оба поэта преимущественно печатались в "Нашей Ниве", которая подвергалась цензуре. Богданович также печатался в русских газетах, и разве в них цензуры не было? И почему Купала должен был врать?.. Попытка Рудинского подчеркнуть, что в царской России была свобода творчества, бумерангом попадает в него самого. Он хочет казаться глубоким критиком белорусской поэзии, но знает ее, по-видимому, слабо.

Скорее же всего, В.Рудинский просто захотел *поохотиться*. Однако хороший охотник, прежде чем выбратсья на дичь, должен знать ее нравы, а также знать свою двустовлку. Стреляя в "сепаратиста" Акулу, Рудинский попал... в самого себя. Ведь человек, который открыл, что "до Купалы был Богданович", написал далее, в связи с номером сорок вторым

"Современника": "Рычание сепаратистов нас не пугает. Пусть их привезут в Россию в иностранных обоях, — их фиаско там неминуемо".

Ей Богу, здорово! А зачем сепаратистам в Россию? Разве они хотят ее расчленять? Тот же самый Купала некогда воскликнул:

Вы — выродки с Невы кровавой,  
Когда ж прозренья к вам придёт?..  
За что стоптали мою славу?  
За что взвели на эшафот?

Вот и пусть убираются "выродки" с Белоруссии, Украины, Прибалтики, Кавказа, из азиатско-мусульманских стран! Никому из нас ваша Россия не нужна. Скажите, господа монархисты, шовинисты, империалисты, зачем вы ломитесь в открытую дверь? Я — по вашему определению, сепаратист, заявлял и заявляю, что мы — белорусы, никакой вашей России расчленять не собираемся.

Воды холодной стаканчик, господа! Не волнуйтесь...

Однако разъяренный Дон Кихот-Рудинский продолжает воевать с "расчленителями" и с прочими мельничными крыльями: "не будем отвечать врагам России из орды всяческих самостийников, их дело — брань и клевета; и у нас с ними нет и быть не может ни общего языка... ни общих интересов".

Вот оно: шило из мешка — *не было, нет и не будет!* Помним. Этот приговор нам когда-то на коже выжгли...

Мне кажется, если русский народ избавится от таких "друзей", как Дон Кихот-Рудинский то с нами — "врагами", он общий язык найдет, ибо мы ему желаем самого лучшего.

## СОВЕТСКО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА?

### 4. Советская Армия. \*

В Китае принята была следующая оценка советской военной системы: "Их путь сторительства армии — буржуазный путь, который принимает во внимание лишь материально-технический фактор, но игнорирует человека". С этим определением можно согласиться. Советская армия, как, впрочем, и многие армии прошлого и настоящего, не готова к разрешению стоящих перед ней проблем. Как и в 1941 году, она не подготовлена к встрече с серьезным противником:

1/ Психологически — войска приучены ожидать успеха после нескольких жестов оружием, как на маневрах, или в Чехословакии.

2/ Тактически — войска ожидают рухнувшей, после нескольких залпов, обороны, и — стремительное продвижение на бронетранспортерах и танках.

3/ Технически — войска оснащены для быстрого маневрирования на открытых пространствах, но не для упорных боев в Восточной Азии.

Что-то неладное в советской армии было заметно еще в эпоху пограничных столкновений с Японией. В июле 1938 года советские войска атаковали спорную территорию у озера Хасан. Небольшой участок — три-четыре километра по фронту и столько же в глубину — был спешно занят окопавшейся на высотах японской пехотой. По советским уставам этот участок должен был пасть в несколько часов. Однако наступление затянулось на много дней. Пришлось посылать в бой одну дивизию, другую, третью. Участок бомбили сотни самолетов. И лишь в августе, при поддержке нескольких сот орудий, танки и пехота смогли овладеть спорной территорией.

Весной 1939 года начались бои за пологие высоты у реки Халхин-Гол (Восточная Монголия). Советское наступление не имело успеха, более того, часть советских сил была окружена и попала в плен. В начале июня в Монголию прибыл Жуков, получивший в Москве задачу — взять высоты. На подготовку нового наступления потребовалось два месяца. Армейская группа Жукова, пересчитывая бригады в дивизии, была эквивалентна десяти дивизиям.

Японскую позицию редкой цепью занимали 20 батальонов пехоты (эквивалент двух дивизий), фланги прикрывала кавалерия. Жуков начал насту-

---

\* Продолжение. Начало — в номерах 42 и 43-44.

пление 20 августа. Японцы держались 10 дней, были охвачены с флангов, попали в полукольцо, и, наконец, оставили позиции. Потери с обеих сторон были значительны.

Каждый раз на преодоление пехотной позиции советская моторизованная тратила непропорционально много времени и технических средств. Подобным образом нельзя вести стремительных операций на большую глубину. Разница между идеалом советской системы и практическим исполнением оказалась чудовищной.

### *А в г у с т 1945.*

Легендарная война Советского Союза против Японии в августе 1945 года преподносится в советских академиях как панацея, лекарство ото всех бед, универсальный рецепт на все случаи жизни, в особенности китайские. Однако и здесь официальная версия не соответствует действительности. Я изучал эту войну в подробном описании советского штаба; печальные факты, приводимые на каждой странице, противоречили хвалебным комментариям. Воспоминания участников также имели двойной смысл. В книге Хаттори "Япония в войне 1941–1945 годов" (Москва, 1974) приводился подробный состав японских сил.

9 августа 1945 года около ста советских моторизованных дивизий (5.500 танков) перешли границу Маньчжурии, наступая со стороны Владивостока и Монголии. В Маньчжурии находилось 20 японских дивизий – 1/8 часть сухопутных сил Японской империи. 40 дивизий находилось на островах собственно Японии, в готовности к отражению американского десанта. 40 дивизий было занято в Центральном и Южном Китае против армий адмирала Маунтбеттена в Бирме и против американско-австралийских войск генерала МакАртура на Филиппинских островах, в Индонезии, на островах Южных морей. Еще до вступления Советского Союза в войну, правительство Японии, в принципе, уже было готово на капитуляцию, и только поджидало подходящего случая. Капитуляция признавалась неизбежной по причине разрушительного влияния воздушных бомбардировок и морской блокады.

В Маньчжурии японские армии сосредоточились на юге, вокруг Мукдена. Учитывая особые условия местности и тактическую неподготовленность советских армий к войне в особых условиях Востока, японский штаб полагал, что в своем стремительном наступлении советские армии оторвутся от железнодорожных баз и складов снабжения и вскоре начнут испытывать недостаток буквально во всем. Тогда и настанет время для решительного контрудара японской армии. Японцы жертвовали территорией, чтобы обеспечить победу. А пока – на границе остались лишь небольшие отряды прикрытия.

"На обширных пространствах Востока неприятель погибал не столько от неприятельского меча, сколько от собственных усилий" (фон Клаузевиц). Примеры подобных неудач бывали и раньше. Гибель персидской ар-



мии царя Дария в Скифии (500 лет до Р.Х.); гибель римской армии Красса в Парфии (450 лет спустя); окружение и гибель римских легионов Вара в лесах Германии (первые годы нашей эры); неудача наполеоновского нашествия в Россию. Поражение германских моторизованных войск в России в 1941-42 годах также во многом объяснялось громадными расстояниями и природными трудностями.

Война развивалась в духе предположений японского штаба. На второй-третий день большинство советских дивизий осталось без горючего. Расход его внятеро превысил нормы, выработанные советским штабом по опыту войны против Германии. С отрывом от железнодорожных баз, снабжение дивизий, несмотря на большое число американских грузовиков, совсем расстроилось, в тылу царил неопиcуемый хаос, и лишь транспортная авиация доставляла кое-что из Монголии. Поскольку основная позиция японских армий — Мукден — оставалась еще в 500—1.000 км. от передовых частей советской армии, советские генералы распорядились заливать всё наличное (и поставляемое авиацией) горючее в бронемашини разведывательных отрядов, и обозначали фиктивное продвижение своих дивизий, — "выполняя" и "перевыполняя" план, составленный в Москве, простым передвижением разведывательных дозоров. На самом деле, медленное движение боевого ядра дивизий отставало от обозначенного на карте легкими авангардами на сто-двести километров, а то и более.

14 августа император Японии объявил о капитуляции. Война окончилась. К этому времени главные силы советских армий еще не вошли в боевое соприкосновение с главными силами японских войск в Маньчжурии — они находились на расстоянии нескольких сот километров друг от друга. Через несколько дней, по условиям капитуляции, советские войска погрузили танки на предоставленные японцами железнодорожные платформы и перешли на довольствие японского интендантства; советская тыловая организация оказалась не в состоянии обеспечить продовольствием наступающие войска.

Чтобы замаскировать факт крупной неудачи, советская пропаганда умалчивает о капитуляции Японии 14 августа и предпочитает говорить лишь об официальной церемонии подписания капитуляции 2 сентября. К этому времени американская морская пехота уже хозяйничала в Токио, а четко работающие японские железные дороги Маньчжурии развезли советские войска и танки по назначенным гарнизонным стоянкам. Эти мирные передвижения в железнодорожных вагонах — так, например, советские войска въехали в неприступную крепость Порт-Артур, — изображены в официальной литературе как стремительные удары танковых армий, а прибытие правительственных самолетов для официальной церемонии капитуляции японских штабов именуется "воздушным десантом".

Свидетельства участников указывают, что советские танки, достигнувшие китайской равнины, увязали в рисовых полях, не могли маневрировать, и двигались лишь по железнодорожному полотну (чаще не своим

ходом, а на платформе). Но советская пропаганда очень удачно составила миф об этой начатой и неоконченной войне. Легенда затмила действительность. Восхваление августа 1945 года за несуществующие успехи привело к опасным заблуждениям в советских штабах. Никто не умаляет храбрости и усердия советских войск, но они не сделали того, что им приписывается.

Советский план этой кампании не указал никаких средств для преодоления природных трудностей, не объяснил способов снабжения в особых условиях Сибири и Маньчжурии и не давал удовлетворительного ответа на специальную тактику японской пехотной армии. Вопросы, которые опять возникнут в грядущей советско-китайской войне, остались без разрешения. Советский штаб, усвоивший шаблонные приемы войны против Германии, игнорировал существование подобных специальных вопросов. Еще менее критической мысли можно обнаружить сейчас, после тридцати лет мирного существования. Весьма популярна точка зрения, утверждающая, что нечему учиться у китайских дикарей, которые попросту разбегутся перед советскими танками.

*(Продолжение следует)*

## СЕКСУАЛЬНАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В США

*(Окончание. Начало в № 43-44)*

Повсеместно и постоянно появляющиеся изображения красивых женских тел (печать, телевидение, кино, реклама) заставляют всех мужчин желать их с той или иной степенью интенсивности. Ситуацию дополняют непрерывающиеся разговоры о сексе. По телевизору домохозяйки и кинозвезды чистосердечно рассказывают, кто как себя чувствует во время менструаций. В разговоре с малознакомым мужчиной женщина может с трогательной наивностью поделиться особенностями ее половой жизни. Однако видя кинозвезд, большинство мужчин довольствуется мало привлекательными женщинами, а при попытке проверить на деле, так ли легко достигает женщина оргазма, как она только что утверждала в разговоре, мужчина получает надуманно-возмущенный или цинично-вежливый отказ.

Искусство старательно и радостно плодит мечты, идеалы красивой плоти, которые легко усваиваются как стереотип и которые никогда не достигаются. Этого обществу и нужно: идеалы потому-то и считаются нравственными, что они недостижимы, ибо всё, чего человек достигает, в том он разочаровывается, а разочарование по сути своей — безнравственно. Однако иметь идеал — значит негативно относиться к реальности, т.е. быть псуодовлетворенным реальностью. Искусство и выступает в роли создателя заведомой неудовлетворенности. В таком состоянии люди легче управляемы, и поэтому неудовлетворенность следует постоянно поддерживать, материализуя ее в возбуждение. Но возбуждение не может длиться вечно — оно должно либо удовлетворяться, либо, перезрев, поникнуть. И в том-то и дело, что весь акцент т.н. "сексуальной революции" ставится лишь на возбуждение, а вовсе не на удовлетворение желаний. Суть этого явления сугубо антиличностная, как и все общественные явления. "Сексуальная революция" направлена на дискредитацию сексуальных знаков, на разрыв связи между возбуждением и реакцией, борясь таким способом с возбуждением. Не допуская реакции, общество плодит насильников — но их меньшинство — чье возбуждение слишком сильно, и в то же время делает вялым возбуждение у всех остальных мужчин. Лет двести назад увиденная щиколотка женской ножки возбуждала мужчину больше, чем женщина в бикини возбуждает теперь. Сплошь и рядом видны примеры выхолащивания сексуальности, роста равнодушия между мужчинами и женщинами. Дошло до того, что мужчина и женщина могут снимать одну квартиру, пользоваться одной ванной, весьма симпатизировать друг другу и вместе с тем оставаться совершенно пассивными.

Или танцы, по всеобщему тупоумию именуемые сексуальными, — танцы, в которых лезет наружу безразличие партнеров друг к другу: прикосновений практически нет, разговаривать невозможно из-за громкости музыки. Уж куда им до древнего вальса. Несмотря на то, что формально движения современных танцев во многом имитируют половой акт, в действительности танцорам нет дела друг до друга: они могут танцевать поодиночке, они погружены в себя, и движения их — при более пристальном рассмотрении — напоминают не совокупление, а мастурбацию.

Одно то, что вокруг столько говорится о сексе, должно насторожить любого внимательного человека. Общество всегда больше всего говорит о том, чего либо вообще не существует, либо почти не существует. В СССР больше всего говорят о свободе и равенстве; в США — о сексе. Американская демократия позволила женщинам стать жесточайшими эксплуататорами мужской сексуальной активности, и если раньше мужчины отыгрывались своими привилегиями в социальных областях, то теперь они вяло сдают позиции, ударяясь в педерастию. Общая же ситуация распадается на извечные звенья. Женщина предлагает экономить мужчинам энергию и время, которые они тратят на процесс соблазнения и поддержания женской готовности к совокуплению. Проститутки осуществляют эту экономию за деньги. Прочие успешно обменивают свою готовность на мужскую свободу. Успешность этих происков обусловлена тем, что мужчины в большинстве своем и считают подходящее женское тело лучшей платой за свою свободу.

Поскольку общество построено на подавлении желаний личности, то не приходится ожидать искренности и правдивости в людях. Но когда кричат на всех углах о сексуальной свободе, уж слишком начинает мозолить глаза пропасть между реальностью и претензией на реальность. Сексуальная ситуация вокруг уподобляется коктейлю, где девять десятых льда, а самого-то коктейля — кот наплакал. Фарисейства и лицемерия вокруг столько, что отнимается язык, закладывает уши и слепит глаза. Вот ходят вокруг девицы в майках с надписями типа: "я твоя", "сдается в ренту" или еще почище. А попробуй схватить, прицениться или просто представиться — молчаливый страх, а чаще вежливые отвязывающиеся улыбочки — как можно знакомиться на улице? Женщины при помощи натаскивания психологов обучились мягкости и вежливости в разговоре, которыми они обнадеживают мужчину, пытающегося завязать с ними знакомство, боясь его обозлить резким отказом, и тем самым опять бесследно и безвозмездно выскальзывают из его рук. Вся сексуальная индустрия отражает характер большинства вокруг, с готовностью обещающего, но не выполняющего обещаний. Вежливость становится безопасной заменой искренности. Но и обещать-то, оказывается, тоже не всё можно — как бы не приняли обещания слишком близко к сердцу и потому... вводят цензуру на порнофильмы. Как хотел бы я посмотреть на цензора (а, может быть, это женщина-цензор, добившаяся равенства в предоставлении работы?) в тот момент, когда он

накладывает свое авторитетное вето.

А вот семнадцатилетние девица и парень, которые совокупляются с 14 лет и им не грозит судебное преследование. Вот и женщина, которой захотелось свежих чувств, и она спит с шестнадцатилетним отроком — простите, подростком. Ее никто не потащит за это в тюрьму. Но стоит мужчине попасть в объятия семнадцатилетней Мессалины, как его станут судить за соращение малолетней.

Мужчина, живущий на содержании женщины, будет всячески порицаться обществом, тогда как если женщина живет у него на содержании, это считается чуть ли не нормальным, и уж во всяком случае, является предметом мечтаний многих женщин.

В повседневной жизни мужчины и женщины заботливо охраняются обществом от случайных знакомств с помощью приличий, манер, этикета. Однако понимая необходимость разрядки, общество устраивает отхожие места, где мужчины демонстрируют свою сексуальную активность, а женщины — сексуальную пассивность. Это — бары и дансинги, где знакомство не представленных друг другу самца и самки считается приемлемым. Единственной формой поиска женщиной желанного партнера на дансинге является отказ на приглашение танцевать всем прочим (я не беру в расчет выразительные взгляды и прочие микрожесты). Так, девица может простоять у стенки весь вечер с гордо-неприступным видом, но ни за что не сделать первого шага к тому, кто ей по душе. Уж как не захотеть изнасиловать эдакую царицу?

Неизменяющееся фарисейство людского муравейника видно и через отношение к проституции. Общество благородно обременило себя борьбой с проституцией — борьбой, которая в различные эпохи то одевала личину трогательной заботы о проститутках (создание организаций, помогающих желающим покончить со своим ремеслом и в то же время судебное преследование тех, кто еще не пришел к такому мудрому решению), то борьбой, которая применяла огонь и меч. Теперь во времена разглагольствований о различных свободах, общество не осмеливается уничтожать проституток, а лишь подленько притесняет их, не разрешая им появляться на улицах и загоняя их в массажные кабинеты или заставляя их сидеть у телефона в ожидании вызова "эскортировать" очередного клиента. Общество не желает замечать, что многие женщины становятся проститутками по призванию.

Чтобы придать своим действиям облик возвышенный и справедливый, общество с помощью наукоподобных выкладок и подтасованной статистики утверждает, что разврат рождает преступление. В качестве неопровержимых доказательств приводится деятельность сутенеров, которые заставляют женщин заниматься проституцией, а непослушных — убивают. Пользуясь невежеством большинства, демагогия применяет известный ложный логический ход: раз после, значит вследствие. Но на любом значительном явлении возникают паразитирующие события, и чтобы бороться с ними, не

нужно уничтожить само явление. И если на сахар слетаются мухи, то для того, чтобы избавиться от них, было бы нелепым изымать сахар из употребления. Приравнение разврата к преступлению (в его худшем проявлении — убийстве) неверно прежде всего в своей основе, ибо они исходят из диаметрально противоположных тенденций. Разврат вырос из инстинкта размножения, продления жизни, тогда как преступление — из желания уничтожить ее. Убийство, которое часто следует за изнасилованием, происходит потому, что общество уравнило наказания за изнасилование и убийство и тем самым провоцирует насильника на убийство. Желая избежать наказания за изнасилование, насильник убивает свидетельницу преступления, что дает ему шанс на безнаказанность, а если преступление раскроется, то разница в наказании за изнасилование или изнасилование и убийство будет непринципиальна. Человек, решившийся на изнасилование, перешел закон, а, следовательно, находится в таком психологическом состоянии, когда сделать еще один шаг — убийство — не так трудно. Общество умышленно пренебрегает различными истоками этих шагов и, толкая человека в состояние аффекта, лишает его возможности правильно расценить свои шаги в побеге от кары, одинаково разящей за каждый из них. '

Следовательно, убийство и изнасилование должны оцениваться по-разному: к убийству должно применяться осуждение на наказание, а к изнасилованию — суждение о качестве его исполнения.

Уродливые формы, которое принимает худосочное желание прослужить сексреволюционером, четко обозначились в семейных нудистских клубах. Нет ничего нуднее этих нудистов-мудистов. Они мнят из себя героев, когда снимают штаны. Штаны-то снимают, но тут же оговариваются — никакого секса. Их девиз, мол, человеческая нагота не является постыдной, а, напротив, — естественной. Прекрасно! Но разве влечение к наготу телу не естественно? А совокупление, уж коли обнажен и влеком, не нормально? Борятся, пыжась, за естественность, и тут же ставят ей предел. Потому что эти нудисты чувствуют себя еще более закрепощенно, так как боятся не только обняться, а и прикоснуться-то друг к другу — как бы не подумали, что нарушается их кодекс. Женщины, пользуясь своим природным строением, штаны-то сняли, а все равно необозримы, ибо ног во что бы то ни стало стараются не раздвигать. А мужчины увлеченно играют в волейбол, подпрыгивают, и их гениталии бессильно и бесполезно болтаются во все стороны, кроме единственно нужной. Краем глаза голые родители следят за нравственностью резвящихся детей. Ах, как хороша свобода!

Лишая человека возможности быть искренним в своих желаниях, общество окружило каждого человека таким одиночеством, что он рвется уйти от него, поверив в любое обещание близости, которая его спасет от невыносимости оставаться наедине с самим собой. Единственной легальной альтернативой всем сексуальным проявлениям, была консервативная семья. Псевдоученые, пытающиеся найти причины образования семьи в глу-

бокой истории, которой они не знают и знать не могут, ибо никаких свидетельств, кроме наскальных рисунков, не имеется, приходят к угодным обществу выводам, что семья образовалась якобы для удобства выращивания детей. Однако мотивы для женитьбы совершенно иные, так как в большинстве своем у брачующейся пары детей еще нет и влечет их лишь удобство и легальность регулярного удовлетворения похоти с человеком, который кажется из-за этой перспективы еще и приемлемым вне постели. Все это происходит на фоне симпатии, общих интересов и прочих удобств, необходимых для совместного проживания. Дети — это побочный продукт женитьбы. То, что дети для супругов — это нечто вторичное, доказывает огромное количество разводов. Пресыщаясь друг другом, супруги расстаются, не думая о детях, так как главным мотивом для совместного проживания является влечение друг к другу, а вовсе не любовь к детям. Прекрасно понимая это, общество учредило алименты, сделало развод сложной процедурой, чтобы привлечь родительское внимание к детям. Но тщетно — семья теряет всякую стабильность. И то, что из последних сил скрепляет отталкивающуюся в пресыщении парочку — это страх одиночества и знание о трудных препятствиях на пути к чужим людям. Но безразличие, отвращение, усталость друг от друга вырастают настолько, что затмевают все остальные чувства. И вот — разрыв, разлука, одиночество (буквальное ли, в кругу ли безразличных тебе — неважно). Начинаются традиционные муки любви, которые тем больше, чем глубже одиночество. Эта закономерность подталкивают к очевидному решению: страдания любви прекращаются тотчас после того, как вместо исчезнувшего партнера появляется такой же или лучше. Ведь мы тоскуем не по исчезнувшему возлюбленному, а по чувствам, которые мы испытывали при их помощи. Чувства эти остались в нас, и мы так же или лучшеотреагируем на существо, сумеющее их вызвать вновь. Эта идеальная, теоретическая постановка вопроса осложняется практическим его преломлением. Прежде всего система взаимоотношений между людьми построена так, чтобы максимально ограничить и осложнить контакты между ними. Если обществу не удастся ограничить контакты по количеству, то оно берет реванш, ограничивая их по глубине. Люди, имеющие максимальные возможности для достойной замены — это молодые, красивые, здоровые, богатые люди с открытым характером, находящиеся в обществе себе подобных. Потому-то завистливая молва и пытается утверждать, что в таком обществе нет "глубоких чувств". Да, там должно быть меньше любовных страданий, но зато больше любовных восторгов. Неужто глубина восторгов менее притягательна, чем глубина страданий?

Многие разлученные умышленно обрекают себя на одиночество: они знают, что вероятность найти достойную замену мала и не находят в себе сил на борьбу с теорией вероятности. Не так уж сильно желание одиночества, как оскорбительны неизбежные и долгие подготовительные ходы для завязывания новых отношений. Если бы девушке, страдающей по потерянному возлюбленному, поставили бы перед носом ее любимого киноак-

тера, изъявляющего к ней пылкую любовь, о, как легко она бы избавилась от своих страданий! Так что истинный объект тоски не любовь, которую потерял, а любовь, которая не может придти на смену. Увы, любовные страдания обязаны своим существованием не благородству человеческой натуры, а несовершенству человеческого общества.

Однако попытки сделать всё общество сексуально свободным — обречены на провал, т.к. общество не позволит разрушать себя. Единственно, что можно попытаться, — это отгородить в обществе участки — Загоны Свободы — где бы человек мог бы быть максимально искренен. Чем непроницаемее будут границы у Загона Свободы, тем выше искренность будет в нем и тем устойчивее будет общество вне его. Тень такой попытки уже существует в США — это Невада, где разрешены проституция и азартные игры.

### Загон Свободы

В человеческих обществах существуют две крайние тенденции: аннулировать сексуальную свободу вообще (аскетизм) и попытка распространения сексуальной свободы на всё общество (разные "сексреволюции"). И та и другая тенденция лишают общество устойчивости, и поэтому жизнь топчется между ними, унаваживая почву для процветания борьбы добра и зла. Мнимым добром всегда представлялось ограничение сексуальных отношений, и мнимым злом — их либерализация. Мнимые же они потому, что длительное торжество "добра" обращает его во "зло", и — наоборот. Так, "добро" аскетизма с пренебрежением к плоти приводит ко злу неврозов и сумасшествий, а "зло" "сексуальной революции" — к контролю над рождаемостью. Несмотря на то, что слово "свобода" великодушно признавалось любым обществом как добро, смысл свободы всегда старались переиначить, т.к. истинное ее значение — свобода следования своим инстинктам — разрушает общество. Поэтому оно, на словах поощряя свободолюбивые чувства, всячески старалось ограничить их активное выражение. Свобода, именуемая добром, воспринималась как зло, стоило ей принять конкретные формы. Бессмысленно ставить ультиматум: свобода или рабство. Оптимальный выход — это их одновременное существование. И задача общества — сохранить и то и другое, следя, чтобы в этой борьбе была ничья. Но так как свобода по своей натуре более агрессивна, то и содержать ее нужно в более строгих пределах, но не для подавления ее, а во имя сохранения ничьи.

Попытки вносить ограничения свободы в пределах одного и того же общества всегда оборачивались ее притеснением. Потакание же свободе резко расшатывало нравственные устои общества и ослабляло узы, его скрепляющие.

Единственный способ сосуществования добра и зла, свободы и рабства во времени — это разнесение их в пространстве, создание законного места как для добра, так и для зла — Загона Свободы и Просторов Рабств-



ва. (Именно такие пропорции необходимы для стабильного существования человеческого общества).

Загон Свободы — это место, где не только разрешается, но и вменяется в обязанность быть свободным. Место с жестко соблюдаемыми территориальными границами, что не позволяет свободе распространиться. Цель создания Загона Свободы — локализовать свободу и за счет этого дать возможность максимального ее проявления.

Робкие и плохоосознанные попытки такого рода делались еще давно, делаются и теперь (создание т.н. "веселых кварталов"). В американской современной терминологии — это даунтауны, где общество решает быть более снисходительным к проявлениям свободы, т.е. следованию своим инстинктам. В этих кварталах разрешали или смотрели сквозь пальцы на проституцию и порнографию. Максимальная уступка, на которую здесь шло общество, — это позволение только меркантильной стороны секса, а огромная область сексуальных контактов, основанных на бескорыстном влечении, никогда не выделялась особо и ее границы старательно размывались с помощью консервативного поведения т.н. "приличных женщин". Таким образом, "веселые кварталы" оставались районами, обслуживающими мужские сексуальные нужды и женские материальные потребности.

Загон Свободы в принципе исключает меркантильный секс и настаивает на равенстве сексуального поведения мужчины и женщины. Если женщина не считает себя равной мужчине, то она вправе выбрать замужество, которое даст ей возможность консервативной жизни.

Если в Загоне Свободы разрешено и поощряется удовлетворение любых сексуальных потребностей, то в Обычном городе, заполняющем Просторы Рабства, любая внебрачная половая связь считается тягчайшим преступлением. Это продолжение современной логики туалетов, специальных мест, где испражнение считается нормальным, тогда как испражнение в общественном месте — это нетерпимое нарушение морали.

Мораль Обычного города построена на категорическом признании факта, что мужчина и женщина существа неравные и на полном ограничении ее провокационного поведения, а точнее провокационного существования. Каждая девочка должна воспитываться в сознании того, что она — лакомый кусок, и появление ее перед мужчиной — это обещание совокупления, данное пусть не ею самой, но природой. Поэтому нужно либо это обещание выполнять, либо его скрывать. Чем красивее женщина, тем более она опасна для Обычного города, ибо, показавшись мужчинам, она вызовет желаний больше, чем она будет в состоянии удовлетворить. Поэтому в Обычном городе женщинам запрещено появляться в общественных местах с открытым лицом и без сопровождения. Одежда должна полностью скрывать все выпуклости и вогнутости женщин. Единственная форма допустимого сексуального общения — это брак. Измена мужа или жены на территории Обычного города карается смертью.

Все неженатые здоровые мужчины с 20 до 60 лет и незамужние невесты до 60 лет и девственницы с 18 лет должны посещать Загон Свободы определенное количество раз в году. Исключение делается только для девственниц до 18 лет и для замужних женщин. Эта мера даст следующие эффективные действия, направленные на укрепление семьи. Родители девочек, в большинстве своем, не будут желать попадания своей дочери в Загон Свободы, и, следовательно, будут особенно тщательно следить за девственностью своей дочери, ограждая ее от контактов с мальчиками и подготавливая ее к браку, ибо только брак позволит ей, если она этого впоследствии захочет, поддерживать моногамный образ жизни. К 18 годам родители будут стремиться выдать ее замуж и таким образом сделают все от них зависящее для поддержания чистоты нравов, основанных на уважении девственности и замужества. Однако девушка может быть выдана замуж в любое время после начала у нее месячных. Это будет давать возможность девушкам выходить замуж по достижении половой зрелости, а не какого-то формального возраста. Родители, видя быстрое созревание дочери и томление ее по мужчине, будут следовать природе и предпочтут скорее выдать ее замуж, нежели рисковать ее девственностью, держа ее в девицах. Для того, чтобы гарантировать девушкам возможность к 18 годам выйти замуж, общество уже технически подготовлено. Должна существовать информационная система, где бы хранились данные о всех мужчинах и женщинах, желающих жениться. Терминалы устанавливаются в доме любого, пожелавшего жениться или пожелавшей выйти замуж. Каждый вводит в систему информацию о себе, включающую свое киноизображение. Вычислительная машина выдает данные обо всех, кто удовлетворяет твоим требованиям. Отобрав тех, кто понравился в действительности, ты вводишь их номера в машину и она демонстрирует этим людям твои данные. Если и ты пришелся по душе, то назначается свидание в доме родителей девушки. Такая система гарантирует полный охват потенциальных женихов и невест, а нравственность Обычного города гарантирует, что контакты такого рода будут происходить с серьезными намерениями.

Если девушка так и не вышла замуж до 18 лет, ей следует появиться в Загоне Свободы. Там ей как девственнице будет оказано особое внимание и предоставлена возможность самой выбрать мужчину из группы самых красивых и умелых. Да и для всех посещающих Загон Свободы впервые, создаются особые условия, чтобы с самого начала не вызвать испуг, отвращение или другую негативную реакцию. Девочка, умудрившаяся потерять девственность до замужества, явившись в Загон Свободы, или совершив преступление в Обычном городе, становится обязанной посещать Загон Свободы регулярно. В любой момент необходимость посещения Загона Свободы может быть прекращена с помощью замужества.

Еще одна задача Загона Свободы — направить истинную любовь в русло брака. Достигается это следующим образом. Все строится на предпо-

жении, что истинная любовь моногамна. Как мужчина, так и женщина, посещающая Загон Свободы, обязаны совокупиться минимум с двумя партнерами. Таким образом не допускается хитрость совокупления только с одним, заранее подготовленным в Обычном городе партнером. Поэтому, если какая-либо пара начинает испытывать глубокие чувства по отношению друг к другу, они всегда имеют возможность быть только друг с другом, поженившись. Если же такое чувство возникает только у одного из партнеров и не встречает взаимности — женитьба, следовательно, невозможна, — то необходимость иметь минимум двух партнеров при посещении Загона Свободы упрощает забвение своей неразделенной любви — с другими.

В случае развода или смерти одного из супругов, предоставляется определенный срок для поиска нового мужа или жены, по истечении которого вступает в силу обязанность посещения Загона Свободы. Наличие исчерпывающей информационной системы дает полную возможность найти супруга, если такое желание действительно существует.

Юношам с 14 лет разрешаются посещения Загона Свободы, частота которых ставится в зависимость от их общественных и учебных успехов. Таким образом достигается прямая стимуляция их общественной активности. Начиная с 22 лет их право посещения Загона Свободы становится неограниченным.

Все происходящее в Загоне Свободы является тайной и никому не выдается информация, кто с кем и когда там был. Тот, кто разглашает эти сведения в Обычном городе, строго наказывается. Наказания должны быть жестокими, ибо это единственная возможность соблюдения законов. Так в Скандинавии когда-то отрубали руку за воровство и таким образом искоренили воровство полностью. Жестокость законов Обычного города будет полностью компенсироваться существованием Загона Свободы.

Д о б р о   п о ж а л о в а т ь   в   З а г о н   С в о б о д ы !

*Михаил Армалинский, 1947 года рождения, — автор трех книг стихов, вышедших в Ленинградском Самиздате ("Вразумление страсти" — 1974 г., "Состояние" — 1975 г., "Маятник" — 1976 г.). Эмигрировал в США в 1976 году. Последние две книги переизданы на Западе. Готовится к переизданию первая книга стихов.*

## ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ

Вниманию украинской общественности!  
Правлению Секретариата Всемирного  
Конгресса Свободных Украинцев (ВКСУ),  
Торонто, Канада.

Многоуважаемые Господа!

Союз Освобождения Украины долгое время изучал деятельность и публичные выступления ряда новейших эмигрантов из СССР. В настоящее время нас беспокоит сепаратная деятельность генерала Григоренко, ведущаяся от имени Украинской Хельсинкской Группы, которая, по словам генерала, уполномочила его на это. Одновременно он выступает за рубежом от имени Московской Хельсинкской Группы.

Таким образом генерал Григоренко сидит на ДВУХ СТУЛЬЯХ!

Эта его позиция лишний раз подчеркивает его полную неосведомленность о колониальном положении Украины в СССР. Хотя давно доказано, что ТРИ голодовки на Украине (в 1921-1933-1946 годах) Москва организовала с целью сократить людской потенциал украинского народа, генерал Григоренко баламутит мир собственной "теорией" о том, что голодовки были результатом экономической, а не национальной политики Москвы против нерусских народов СССР. Генерал Григоренко сотрудничает с российскими единомуделимско-шовинистическими кругами; он распространяет провокационные измышления Снегирева против СВУ, утверждающего, что эта организация "была создана ГПУ (КГБ)" и чернящего заслуженных ученых и культурных деятелей Украины, уничтоженных Москвой.

Союз Освобождения Украины готовит специальные материалы, характеризующие "деятельность" генерала Григоренко в среде украинской самостийной эмиграции и требует, чтобы ВКСУ подчинил себе деятельность Украинской Хельсинкской Группы за рубежом. Новейшие эмигранты должны быть советниками и свидетелями, а не какой-то сепаратной группой под единомуделимским руководством генерала Григоренко!

ВКСУ — это высший представительный орган украинской самостийной эмиграции. В структуре его имеется "Комиссия Прав Человека" — не слишком удачно названная, поскольку на Украине главной проблемой является вопрос о правах украинской НАЦИИ! Украина находится в колониальном рабстве красной России!

Именно генерал Григоренко постоянно твердит о "человеческих правах". О том же все время говорят также А.Сахаров и возглавляемая им Московская Хельсинкская Группа!

Для русских это естественно, потому что в СССР российская нация — не поработенная, а ГОСПОДСТВУЮЩАЯ.

Обратите внимание, что в России (РСФСР) нет "Российской Хельсинкской Группы". Есть только м о с к о в с к а я, т.е. группа лишь одного города в России.

В газете "Свобода" от 29 декабря 1979 г. и от 4 января 1980 г. напечатано обращение украинских политзаключенных в СССР к Организации Объединенных Наций, в котором они просят, чтобы Украина была зарегистрирована в этой международной организации как "РОССИЙСКАЯ КОЛОНИЯ".

При этом подписавшиеся передают полномочия ВКСУ!

Вызывает тревогу то, что генерал Григоренко в письме в украинскую прессу "разъясняет" украинской самостийной эмиграции, какую "политику" он "будет вести" на страницах украинофобского журнала "Континент", в редакцию которого он вошел. Мы видим, что эта его "политика" направлена против украинской самостийной идеи, а все его утверждения суть сплошная фальсификация исторических фактов не только прошлого царской колониальной Империи, но — главное! — нынешней российской колониальной империи — СССР.

Он пытается "опровергнуть" тот факт, что русский народ является главным оружием Москвы в процессе руссификации народов в т.н. "суверенных республиках", куда ЦК КПСС массами переселяет русских (в частности, на украинские этнографические земли и на территорию т.н. УССР).

Всем известно, что нет в Советском Союзе термина "русские буржуазные националисты", а есть только "украинские буржуазные националисты", к которым КГБ причисляет даже тех украинцев, которые просто пользуются родным языком.

Обращение к ООН украинских политзаключенных ПОЛНОСТЬЮ идет вразрез с теми еднотелными взглядами, которые разделяет генерал Григоренко. Ему поэтому НЕЛЬЗЯ ДОВЕРИТЬ представительство Украинской Хельсинкской Группы за рубежом, даже в том случае, если б эта группа действовала по линии ВКСУ в качестве "Комиссии прав украинской нации" (как она должна бы называться).

Странно, что в "Свободе" от 9 января 1980 года появилось обращение, подписанное "Комиссией прав человека ВКСУ", из которого мы узнали, что эта комиссия не только сделала генерала Григоренко представителем Украинской Хельсинкской Группы на Украине, но и призвала украинскую самостийную эмиграцию жертвовать деньги на его деятельность. Разве это не лицемерие — требовать от украинцев финансирования представителя М о с к о в с к о й Хельсинкской Группы за рубежом?

Украинская Хельсинкская Группа за рубежом ДОЛЖНА быть в руках украинских самостийных сил!

Январь, 1980 г.

*Примечание от Редакции "Современника": Обращение Союза Освобождения Украины печатается в сокращенном переводе с украинского языка.*

## ... Х Р О Н И К А ...

\* \* \*

9 декабря 1979 г. в Нью-Йорке, в Большом зале Украинского Народного Дома состоялось выступление русских антиимпериалистов, поддерживающих борьбу порабожденных народов против советско-российского колониализма.

С докладами выступили:

1. Петр Болдырев — организатор и руководитель Оргкомитета организации "За Русское Национально-Демократическое Государство (РНДГ) на тему: "Создание и деятельность оргкомитета РНДГ".

2. Александр Гидони — главный редактор журнала "Современник" на тему: "Журнал "Современник" в борьбе с шовинизмом и империализмом".

3. Галина Румянцева — ответственный секретарь журнала "Современник" на тему: "Меры журнала "Современник" к установлению дружбы между русскими литераторами и литераторами порабожденных народов".

4. Ирина Рихтер — ответственный секретарь журнала "Факты и Мысли" на тему "Вклад журнала "Факты и Мысли" в дело борьбы с дезинформацией русских читателей и разоблачения фальшивок русских шовинистов".

После докладов было зачитано приветствие белорусского писателя Кастуся Акулы. С приветствием от имени "Союза Освобождения Украины" выступил Олекса Калиник.



*На снимке (слева направо): О.Калиник (выступает), П.Болдырев, А.Гидони, Г.Румянцева, И.Рихтер, Я.Савка (представитель Украинского Гетманского Союза). Фото Осипа Старостяка.*

\* \* \*

Решением рабочей группы Редакционной Коллегии профессор Миннеаполисского университета (Миннесота, США) Екатерина Леонидовна Кулешова кооптирована в состав Редакции журнала "Современник".

\* \* \*

От ОК РНДГ: Решением руководящего центра ОК РБК/РНДГ г-н Иосиф Гурвич выведен из состава комиссии Оргкомитета по выработке политической программы.

\* \* \*

В нью-йоркской газете "Белорус" (№ 271-272 за 1979 г.) напечатана статья Кастуся Акулы "Кому невыгоден "Современник", дающая обстоятельный анализ как позиции журнала, так и нападок на него со стороны шовинистов и агентов КГБ. В украинской газете "Свобода" от 13 февраля 1980 года помещен текст беседы, которую имели 30 января сего года в Нью-Йорке (интервью давалось специально для газеты "Свобода") Петр Болдырев и Александр Гидони.

\* \* \*

В минувшем году, на страницах номера 43-44, Редакция "Современника" выразила соболезнование по случаю трагической смерти Президента Корейской Республики Пак Чжон Хи. В ответ на это на имя Главного Редактора журнала пришло из Сеула письмо следующего содержания:

24 февраля 1980 г.

Уважаемый Мистер Гидони!

Президент поручил мне выразить от его имени благодарность Вам в связи с Вашим письмом и номером "Современника", который Вы послали ему.

С большой признательностью Президент получил Ваш уважаемый журнал и прочел текст Вашего соболезнования по случаю гибели покойного Президента Пак Чжон Хи. Ваши дружественные чувства и готовность разделить нашу скорбь глубоко тронули Президента. Поверьте мне, сэр, что такого рода дружественные жесты стимулируют мужество и силу корейского народа.

Пользуясь случаем выразить Вам мои лучшие пожелания успехов в наступающем году.

Всего Вам доброго, искренне Ваш

Кван Со Чой,  
Личный Секретарь Президента  
Корейской Республики.

---

## *К ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ*

Редакция "Современника" решила выдвинуть перед Нобелевским Комитетом кандидатуру украинского писателя Уласа Самчука на получение **НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ** по литературе за 1980 год.

Улас Самчук — выдающийся мастер художественной прозы, известный общественный деятель, член Редколлегии "Современника", внес ценнейший вклад в развитие украинской литературы. Его эпические произведения — такие, как трилогии "Волынь" и "Ост", уже одни обеспечивают ему видное место не только в украинской, но и в мировой литературе, связанной со славянской темой.

Автор многих других романов, рассказов, документальных книг, Улас Самчук содействовал расширению горизонтов украинской литературы, пропаганде гуманистических принципов и передовых национальных идей, обличению зла тоталитаризма.

Редакция "Современника" надеется, что литературная общественность поддержит инициативу нашего журнала по выдвижению **УЛАСА САМЧУКА** в Нобелевские лауреаты.

*РЕДАКЦИЯ "СОВРЕМЕННОКА"*

---







# Библиография

ПЕТР БОЛДЫРЕВ. "Русское Возрождение", № 1-4.

"Господа, если к правде святой Мир дорогу найти не сумеет, Честь безумцу, который навевает Человечеству сон золотой." — Эти строки Беранже вполне подходят, чтобы украсить фронтон рецензируемого журнала, пытающегося выступать на ниве русской эмиграции в роли сладкозвучной сирены, усыпляющей беспечного пловца.

Главная цель "Русского Возрождения" (РВ) — поддержать "сладкие грезы" и высуженные за рубежом эмигрантские мифы, не брезгуя при этом лжесвидетельствами определенной части "третьей волны". Эти "новейшие" из Сов. Империи специализируются обычно на сочинении задним числом всевозможных баек. Об одной из них, с поистине гимназической наивностью, вещает нам Главный Редактор кн. С. Оболенский: "Ценой неописуемых страданий наш народ... изжил лжеучение марксизма-ленинизма, от которого в России остались почти уже только по инерции держащиеся внешние формы" (1, 230. Здесь и далее — в скобках первая цифра означает № журнала, вторая — номер страницы). Мягко выражаясь, легкомысленный вердикт. Простительный, впрочем, проведенному за нос "новейшими", "трансцендентному" наличной России князю. Его непродуманными мнениями возмущалась уже однажды на страницах "Голоса За рубежом" В. Пирожкова. Возмущалась справедливо.

Позволим себе небольшое отступление. Один из лучших знатоков советской идеологии А. Зиновьев, очень точно определяет, что в Советском Союзе, по общему правилу (за редкими исключениями, требующими необычных внутренних и внешних напряжений), эффективное сопротивление идеологическому нажиму исключено. "В результате даже люди, критически относящиеся к советскому образу жизни и советской идеологии, полемизируют с ними в плоскости того же строя мышления (выд. нами — П.Б.), теми же средствами, с теми же последствиями, т.е. остаются во власти этой философии" ("Континент", № 20, стр. 227). Для подавляющего большинства советского населения без признания идеологии, хотя бы и пассивного, вообще нет никакой возможности просуществовать. Советская идеология рассчитана на широчайшие массы людей — в этом ее специфический способ воздействия. Она, вопреки распространенному заблуждению, отнюдь не выполняет роли религии, апеллирующей по преимуществу к индивидуальной душе; поэтому в советском обществе никому нет необходимости верить в ее лозунги и постулаты. Со-

ветская идеология не есть дело веры, она есть дело признания, признания, принудительная в данном обществе форма социального поведения людей. Для индивида же она есть необходимый и единственный способ выживания в массовом обществе. Ни о каком "изживании народом" марксизма-ленинизма в таких условиях не может быть и речи, если понимать "народ" не как абстракцию, а как живую совокупность живых людей, старающихся как-то просуществовать в конкретных условиях. Пока не сокрушен советский режим, не опрокинута коммунистическая общественно-государственная машина в целом, идеология — ее "энтелехия", ее суть — жила, живет и будет жить. И будет успешно функционировать. Ибо народу также хочется жить, а жить приходится не в мифах кн. Оболенского и "Русского Возрождения", а в условиях реального, "построенного в боях", социализма.

Кстати, недобросовестных спекуляций на этом словечке "народ" в "возрожденческих" кругах хоть отбавляй. Чего стоит, например, обращенное к "подслеповатому" Западу предложение исключить из понятия "коммунизм" как политической системы понятие "русский народ"; соответственно, из понятия "коммунист" понятие "русский" (и обратно). Здесь нормальному политическому сознанию Запада предлагается совершенно противоестественный алогический кульбит. Ибо если быть последовательным, то почему бы не признать, допустим, голлиста не французом, лейбориста не англичанином, а христианского демократа в ФРГ — не немцем? Французских, итальянских и прочих коммунистов во всем мире тоже тогда следует лишить их национальной принадлежности. Для Запада всё это чистейший абсурд. Запад проявляет здесь, в отличие от наших "возрожденцев", как раз не близорукость, а политическую проницательность и зрелость, не поддаваясь коммунистической демагогии, кричащей на весь мир об "интернационалистической сущности" коммунизма. Ибо совершенно очевидно, что т.н. "интернационализм" коммунистов — давно разоблаченная фикция и обман. Коммунизм, может быть, даже более националистичен, чем любая другая политическая система. Хотя абсолютно внациональных политических систем вообще нет. И обратно, лишь признав нацию принципиально аполитичной, можно исключить из ее определения политические характеристики. Но и таких наций в природе не существует. Лишь для русских создан и с легкой руки "возрожденцев" гальванизируется миф аполитичности, еще более беспочвенный из-за того, что отнесен к народу, во всем почти историческом бытии которого именно политическая, государственная субстанция имела преобладающее, даже подавляющее значение.

Политические воззрения наших "возрожденцев" во всех этих областях настолько рыцли и незрелы, что они сами себя постоянно опровергают. В рецензируемом журнале напечатана обширная высокопрофессиональная работа одного из признанных идейных вождей "возрожденцев", известного

русского мыслителя И.А.Ильина "О монархии", занимающая в четырех номерах 186 страниц. И вот оказывается, что именно кумир нынешних "возрожденцев" начисто их опровергает. Основной пафос И.Ильина — доказать два тезиса: 1/ о более глубокой укорененности монархического правосознания (по сравнению с республиканским) в психологической потребности и чувстве власти; 2/ о том, что одним из самых существенных носителей монархического правосознания был и остается русский народ. К рассуждениям Ильина можно относиться по-разному. Несомненно, однако, что в них заложен просмотренный "возрожденцами" неопровергаемый и весьма несложный силлогизм. В самом деле, если само по себе монархическое правосознание так сильно политизировано (об этом, кстати, писал и другой русский мыслитель — Н.Федоров), а, с другой стороны, именно русским оно наиболее свойственно (до такой степени, что, например, даже "все жестокости и мероприятия Иоанна Грозного — "перебор людишек" — не ослабили монархического чувства русского народа" — 2, 211), то вывод напрашивается сам собой: политика в русской истории, прошедшей под знаком монархического самовластия (включая его современную политическую разновидность — русский коммунизм), всегда играла самоудовлетворяющую роль. Русский народ, вопреки распространенному мифу, не столько аполитичен, сколько г и п е р п о л и т и ч е н, а этатистский тоталитарный социализм (коммунизм) — лишь логическое развитие и завершение этой его определяющей черты.

Основная ошибка "возрожденческого" правосознания — это разрыв и произвольное абстрактное противопоставление народа и власти. Очевидный абсурд этого противопоставления заставляет "возрожденцев" профанировать государственно-правовую идею, замещая ее Церковью как доминирующим общественно-политическим институтом (профанируя тем самым и Церковь). Либо отвергать политическую суверенность народно-национального начала, выдвигая вместо него ту же Церковь, обожженный народ.

Под лозунгом "Церковь, только Церковь!" и выступает "Русское Возрождение". Уже во вступительных "Задачах журнала" постулируются три неизменных "основных элемента нашего отечественного бытия": православная Церковь, православное христианство и национальное самосознание (1, 3). Элемент собственно государственный, как мы видим, опущен. Правда, в статье "К первым итогам" С.Оболенский, критикуя "вольнодумство" одного из авторов — В.И.Алексеева, настаивает на том, что православная Церковь должна все же мыслиться (по-византийски) "в симфонии" с определенной государственной формой, — конечно же, с монархией (1, 236-237). Однако свойственная "возрожденцам" резко конфессиональная трактовка государства (оборотная сторона редукции государства к Церкви) сводит самостоятельное политическое значение монархии на нет. Отсюда такие, например, сентенции того же Алексеева: "Нельзя забывать, что Иосиф Волоцкий считал законным монархом только монарха

православного" (так что английский, например, король — монарх "незаконный" — П.Б.); "православная Церковь должна поддерживать идею православного государства" (1, 44) и тому подобное. С другой стороны, т.к. православная Церковь — понятие по своему смыслу все же католическое, наднациональное ("нет ни эллина, ни иудея"), то перенесение на него одного из существенных признаков нации — политического суверенитета — является отрицанием категории нации как таковой. Отрицается вслед за этим национальное самосознание и соответствующая ему религиозная форма, поскольку она это самосознание определяет. Из "трехчленки" Оболенского, таким образом, исчезает всё, кроме той же Церкви, к которой и сводится, как к некоему субстрату, всё государственное, вероисповедное и национально-культурное многообразие нашего бедного "отечественного бытия". Во всеобъемлющей, всеисключающей церковности и состоит последняя тайна "возрожденческого" мировоззрения.

Ее откровенно выдает в статье "О Петре Великом" Еп. Нафанаил: "Как никакая другая историческая народность, русская нация есть порождение ее Церкви" (2, 173). А в обратном историческом воздействии (которое никак нельзя отрицать) получается уже точно по Достоевскому: христианский Бог (и Его Церковь) есть русский Бог, есть простой атрибут православного русского народа-богоносца. Здесь коренится русский религиозный шовинизм ("мессианизм"). Католичность православной Церкви оказывается для "возрожденцев" пустым звуком и вполне мнимой величиной. Национальная ограниченность исторического русского православия они преодолеть не в состоянии. Нет для них истинной православной Церкви, кроме русской; как не признается вне этой Церкви никакого другого русского, исторически самостоятельного бытия.

Примитивно и грубо, но в неискренности своей откровенно, выражает этот "возрожденческий" постулат один из авторов журнала, прозелит из новейших: "Русское общество должно быть организовано таким образом, чтобы создать, в общем смысле, "священное общество"; а в специфическом смысле — Православное общество" (2, 161). В этой темной фразе ясно все же одно: православное (церковное) общество понимается как священное, т.е. непогрешимое. А раз нет погрешностей, то нет и конфликтов. Вполне коммунистический идеал! Здесь одна утопия дополняется и замещается другой, родственной. Такое бесконфликтное (и безгосударственное) православное общество ничем существенно не будет, в политическом отношении, отличаться от бесклассового коммунистического общества, где все конфликты, по замыслу, также отмирают вместе с государством как средством их правового разрешения. Впрочем, одно отличие все же есть. Осуществленный коммунизм помещается его адептами в будущих временах, осуществленное "торжество Православия" — во времена прошедших. Т.е. для "возрожденцев" их идеал является таковым лишь на словах, а на деле признан как уже существовавший. Идеал, таким обра-

зом, превращается в миф — в легенду о т.н. "святой Руси", которая, будто бы, была реализована в XIУ-XУ1 веках Московским государством.

Вот как характеризует это государство Еп. Нафанаил: "Русские люди служили тогда, в XIУ-XУ-XУ1 веках, своему государю и государству "от младых ногтей, до елика сил хватит", т.е. от юного 15-16-летнего возраста до глубокой старости, по ч т и не и м е я л и ч н о й ж и з н и (выделено мной — П.Б.), служили с религиозным сознанием, что их служение государству — это служение Богу, потому что само государство единственной целью своего существования полагало служение Богу и Его Правде и Его Церкви" (2, 174). Не мудрствуя лукаво, зададим себе вопрос: каково было к у л ь т у р н о е состояние этого теократического государства?

Не требуется прибегать к обширным историографическим построениям, чтобы догадаться: культурное состояние "служилого русского люда" в теократии "святой Руси" было весьма плачевным. О какой культуре может идти речь, если нет свободы, нет "личной жизни"? Культурное творчество, как в воздухе, нуждается в том и другом. Еп. Нафанаил прав: как раз "личной жизни", элементарной свободы в любезной ему Московии было менее всего. Вся народная жизнь, включая государственную, была так или иначе сведена к церковному ритуалу, к Церкви. А эта последняя, к роковому несчастью русских, коснела в невежестве и темноте. Вот как опровергает миф "святой Руси" в статье "Русская Церковь периода Империи" крупнейший знаток этого сюжета А.Карташев: "Дело в том, что древнерусская Церковь, при почти полном отсутствии в ней школьного научного просвещения, представляет собою довольно грустное и даже жалкое зрелище. По силе благочестия и аскезы, это — герой, почти богатырь. А по немощи богословской мысли и невежеству, это — в лучшем случае дитя, в худшем — слепец" (4, 197). Незавидная, как видим, характеристика.

Карташев продолжает, обобщая: "Страшная вещь богословское невежество и культурное одичание для христианской Церкви! Кто видал своими глазами церковную жизнь коптов, абиссинцев, несториан, яковитов, тот поймет, о чем я говорю. Просвещение, наука, культура требуются Божественным Откровением... В культурных условиях христианская мудрость сияет настолько же ярче и прекрасней, насколько чудесней преобразуется драгоценный камень после его огранения" (там же). Такой "коптской", одичавшей, и была, согласно свидетельствам знатоков, эта мифическая "святая Русь", а в действительности — варварская Московская х р а м о к р а т и я. Этой "коптско-эфиопской" храмократии изменили, когда пробила двенадцатый истории час, "ее взлелеянный народ и государство" (2, 181). О ее гибели сокрушаются "возрожденцы", маясь повернуть ход истории вспять.

Отсюда п с е в д о в о з р о ж д е н ч е с к и й, реставрационный, охранительный характер их мировоззрения. Таков в целом их печатный

орган — рецензируемый журнал. Отсюда же призывы типа "назад, к симфонической эпохе" (то бишь, к Московии) и "константиновскому порядку" (то бишь, к варварской храмочности), ибо... "мы русские, и с нами Бог"! Из этого же источника, как из рога изобилия, сыпятся полуприкровенные оправдания промыслом Божиим всего, что произошло с Россией, включая большевизм. Отсюда и преисполненные гордыней, "богоравные" заявления некоторых православных иерархов (Еп. Нафанаила, например) о том, что всем ходом своей истории, всеми внутренними свойствами своего народа, Россия, дескать, предназначалась для providенциальной роли (4, 102, 112).

И вот уже читаем мы у Дж. Дэнлопа в статье "Национально-религиозное возрождение в России" следующие, заимствованные у пифий из журнала "Вече", "пророческие слова": "Не погибнет Россия, не погибнет русский человек, народ-богоносец. Не погибнет, хотя казалось, — все погибло и нет никакой надежды" (1, 36). Да, не погибнет, но на "возрожденческих" ли, реставрационных, охранительных путях?

И снова обращаемся к Карташеву, чьи огромные фактические познания, помноженные на зрячую любовь к христианской России, открывали его внутреннему взору глубины, к которым наши современные "возрожденцы", увы, хронически глухи и слепы. Карташев также не сомневался в конечном торжестве России, переборающей свое прошлое, преобладающей коммунизм. И все же...

"Одно только страшит нас, — пишет он. — Эта борьба не на живот, а на смерть с антихристианской, чуждой нам властью 3-го Интернационала, как и весь вообще варварский процесс революции (а она, не забудем, идет в душах подсоветских людей до сих пор — П.Б.), страшно понизили уровень русской культуры и нравственность народных масс (4, 206). И в результате — страшная опасность: превратиться опять в "христианских коптов и эфиопов", в варваризированную массу идолопоклонников. Карташев предупреждает: в перспективе поворота народных масс от большевизма к христианству (в чем он не сомневался и что мы наблюдаем сейчас в России), духовный призрак Московской храмочности, восставший на этой волне из гроба, способен безжалостно задушить молодое и новое христианство, имеющее шансы произрасти сквозь могильную плиту безбожия в СССР. И свидетельств этой опасности достаточно уже сейчас, и на страницах "Русского Возрождения".

Это некоторые т.н. "голоса с Родины", занимающие в четырех номерах журнала в общей сложности около 350 страниц. Вот Ю.Машков — закоренелый лагерник из СССР, по собственному признанию проведший полжизни за решеткой. Ныне он на Западе, подвизается в юридическом хлыстовстве. Подвизается, где прикажут: на митингах, в собраниях, на страницах "возрожденческих" журналов и газет. И во всех своих байках он беззастенчиво разыгрывает такие "сюжеты", какие любой элементарно религиозный человек постеснялся бы разыграть даже шутки ради, даже

в собственном лишь воображении. А этот разыгрывает, не краснея. И подходят люди, которые верят. Вот одно из его "прозрений", от коих нормального человека должно бы, кажется, стошнить:

"1 сентября 1962 года... наступила секунда, когда я как бы впервые прозрел... и в следующую секунду я уже точно знал, что Бог есть и это Бог — Иисус Христос Православия, а не какой-нибудь индуcский, буддистский или прочий бог" (4, 16). Вот так, не успев "прозреть", а уже демонстрирует свою "веротерпимость", уже презирает свысока иноверцев. А там, гляди, и гнать начнет. Чего же удивляться, если при таких обстоятельствах, согласно жалобам того же Машкова, "мы, русские, оказываемся в окружении врагов", так что "не видишь нигде спасения" (там же, 15).

Здесь перед нами — отвратительный плод типично советского лагерного "ренессанса", тюремного "просвещения", имя которому — псевдоморфоз. Это есть извращенное, вызванное невежеством и внутренним разложением, авторитарное подражание, шулерская хищность, подделка и профанация недостижимых образцов. Не секрет, что некоторые малообразованные эзки в СССР садятся в лагерь намеренно, видя в нем единственную для себя возможность получить кое-какое развитие, познакомиться и сблизиться с мало-мальски интеллигентными людьми. Сказывается устойчивая среди россиян босяцкая традиция (вспомним хотя бы М. Горького "На дне"). Кроме того, вне лагеря, на воле, всё жестко разгорожено, регламентировано, и войти малообразованному индивиду в интеллектуально более высокий круг практически исключено. В лагере же, как говорится, деваться некуда, все варятся насильственно в одном котле. Лагерная почва особенно благоприятна для псевдоморфоза, ибо малоразвитый ээк всегда найдет вокруг себя в советской политзоне, может быть, даже в собственном бараке, более образованный ээковский круг (посаженных диссидентов, например), — и не мытьем так катаньем выжмет "образование", постарается форсировать свой ликбез. Образованным интеллигентным ээкам все равно податься некуда, они в интеллектуальном отношении как дойная корова.

А когда, слегка обтесанные лагерными "университетами", нахватавшиеся верхов полубразованцы из бывших ээков попадают на Запад, их пытаются использовать опытные и ловкие политиканы из различных эмигрантских кругов. В том числе из лагеря "возрожденцев". Ведь им позарез нужны живые доказательства "из народа" пресловутого "русского возрождения". Вот они и ловят небрезгливо разных полубразованных шутов, выдавая их затем то ли за святых, то ли за некий vox populi, vox dei. Получается, конечно, карикатура. Перефразируя известное высказывание К. Леонтьева о русском человеке и адресуя его эмигрантским "возрожденческим" акулам с их прилипалами из бывших совлагерников, мы говорим: довольно фабриковать "святых", покажите нам честных!

Еще один пример из "РВ" из той же оперы — новоявленный "народный заступник" и славянофил в юбке В.Машкова-Осипова. Эта претендует на роль не то боярыни Морозовой, не то Жанны д'Арк; в то время, как из Машкова пытались состряпать смесь из Дм. Карамазова, Распутина и... блаженного Августина. В длинной (более 40 стр.) статье Машковой в 4-ом номере "РВ" поражает невыносимое и заумное, беспредметное словоблудие с перепевами невпопад из св. Писания. Кликушество, экзальтация религиозной воли, болезненный надрыв. Бесплодное умствование, от которого у трезвого человека скулы сводит. Религиозная тляжба с иудеями. Типично великорусский националистический нарциссизм, неумело прикрытый сомнительным "смирением". Душевно-эротический тип религиозности, отсутствие духовной "сухости", собранности, "огня". Вместо этого подчас истерия, ослепление, нет способности распознавания зла. К Машковой очень подходит изречение: "Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что он не существует." И под этой маркой вселился в людей. "Хотите понять Россию? Ищите ее в с м е р т и". "Россия состоит в единодушии россос, исповедуемом всеми ее народами". "Русский человек грешен, а Россия чиста и жертвенна". "...Кровью мучеников и духом авраамова послушничества Россия избрана для Божьего Суда" (4. 64, 80, 79, 66). И, наконец: "Не умом только, и не сердцем своим человеческим, но лучшим своим Сердцем, верующим во Христе, вижу и чувствую и з н у т р и эту Россию-послушницу, Россию-отроковицу, в слезном смирении принимающую волю Отца своего небесного — быть распятой, и погребенной, и воскресшей в о с п а с е н и е и у д е е в" (там же, 65). Здесь, что ни слово, то вымученная поза, выворачивание всех смыслов наизнанку, перестановка акцентов, заламывание рук. Хочется поскорее выбраться из этой "кельи" на свежий воздух.

С.Л.Франк писал Г.П.Федотову ("Новый Журнал", 1952, №28, стр. 288-89): "Русский национализм отличается от естественных национализмов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной восторженностью и именно этим особенно губелен. Славянофильство есть в этом смысле органическое и, повидимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа... Характерно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не имел ни одного последователя." Таково свидетельство светлого ума. "Возрожденцы", конечно, с презрением его игнорируют. Увы, не то что с Владимира Соловьева, а, наверное, со св. Владимира (и по настоящее время) на "св. Руси" в этом смысле ничегошеньки не меняется.

Звучит бодро среди "голосов с Родины" и еще один, несколько не вписывающийся в общий лагерный хор, хотя и признающий откровенно, что "церковным" стал тоже только в лагере (2, 70). До лагеря таковым не был. Речь идет об одном из бывших возглавителей ВСХСОН — Е.Вагине.

Вагин почти все свои публикации подчиняет решению двух главных



для него задач. Первая из них благородная: помощь И. Огурцову, мобилизация мировой общественности для его освобождения. Здесь Вагину нельзя не сочувствовать. Вторая — мало благородная и даже некрасивая: во что бы то ни стало внушить, что ВСХСОН, якобы, был одной из самых первых ласточек русского религиозного возрождения.

Вагина не смущает такой вопрос: как можно причислить всхоновцев к сонму религиозных возрожденцев, если ни он, ни его подельники в период сущест в о в а н и я ВСХСОН церковными, а пожалуй, даже и серьезно верующими людьми не были. Парадокс Вагина, по нашему мнению, заключается в том, что он типично советскую трагикомическую ситуацию (в которую оказался, к несчастью, втянут сам и безответственно втянул других) пытается выдать за героический сюжет. В то время, как непредвзятое знакомство с "делом" ВСХСОН показывает, что никакого дела, в общем, и не было, а разыгралось одно из действий той комедии абсурда, которой является вся в целом советская жизнь. Разве не комедией, с точки зрения здравого смысла, является, например, тот факт, что антисоветская к о н с п и р а т и в н а я подрывная организация, ставившая к тому же задачу свержения власти, в условиях тотального террора КГБ, чуть ли не с первых дней своего существования, в течение нескольких лет, находилась под бережным колпаком, чуть ли не "отеческим" надзором этого самого КГБ. То есть, была как бы санкционирована, а, может быть, даже инспирирована всемогущей тайной полицией. Беспредельно иронически высиживалась ею — для ее, полиции, разумеется, целей. Вся ситуация, конечно, способна вызвать у нормальных людей лишь гомерический смех... Если бы не была, как и вся идиотская совдеповская "житуха", так несмешно трагична.

Вагину не следовало бы лишний раз дискредитировать ВСХСОН, надоедливо подчеркивая при всяком удобном случае его мнимый "политический радикализм", "практическое обнаружение христианской инициативы", "развертывание социал-христианского движения" и т.п. (1, 57-58). Зачем, спрашивается, гнать всю эту тюльку? Негоже забывать Вагину, что организация его была лишь д о п у щ е н а властью на определенный срок, как бы для эксперимента, а "социал-христиане", как цыплята в инкубаторе, фактически "выращивались" ленинградской охранкой. Выращивались в том смысле, что до поры, до времени им дозволяли "резвиться". С тем, чтобы в нужный момент прихлопнуть. Так, по крайней мере, следует из опубликованных пока по ВСХСОН документам.

Если бы Вагин обладал более глубоким пониманием собственных проблем, он давно перевел бы обсуждение "дела ВСХСОН" из сферы общественно-политической и "возрожденческой" в сферу гораздо более плодотворную — духовно-интимную, экзистенциальную. Дал бы психологический внутренний, или даже д у х о в н ы й эзотерический портрет пострадавших ни за понюх табаку людей, коварно и издевательски спровоцирован-

ных властью и нездоровыми условиями советской жизни на вынужденный, от природы им, может быть, и не свойственный, социальный героизм. Но чтобы нарисовать такой портрет, необходимо сперва отказаться от плоских политических трафаретов, от заезженных и безжизненных партийно-"возрожденческих" клише. То есть, надо самому сперва внутренне освободиться, стать, выражаясь метафорически вслед за И.А.Ильиным, "монархистом и д е и", а не "монархистом к а р ь е р ы". Увы, Вагин пока такой способности не проявляет.

Что касается объективной политической оценки подрывных организаций типа ВСХСОН — в условиях советского тоталитаризма и с точки зрения будущей России, — то она, эта оценка, по нашему мнению, лучше всего укладывается в слова Г.П.Федотова (ст. "Падение советской власти". Сб. "Россия, Европа и мы", т. 2, стр. 319): "Падение советской власти означает не истребление (физическое — П.Б.) созданного революцией правящего класса, а его капитуляцию (духовную — П.Б.) перед национальными задачами страны". Такова задача невоенного времени. Другая ее сторона — подготовка широких народно-национальных революций. Неудачная внешняя война еще эффективней и быстрее способна расшатать и сокрушить правящую олигархию. Однако до реализации этих возможностей, до "изживания лжеучения марксизма-ленинизма", вопреки заклинаниям "возрожденцев" и к нашему общему несчастью, еще очень и очень далеко. Как говорится, "дистанция огромного размера". "Возрожденцы", судя по всему, не имеют мужества этого признать. И не имеют воли и разума и д т и эту дистанцию.

На этом можно закончить. Темы "Русского Возрождения", разумеется, далеко не исчерпаны. К тому же, вышли в свет еще два номера — 5 и 6. Лица журнала, как и следовало ожидать, они существенно не изменили.

---

Настоящая рецензия была уже набрана, когда пришло известие о кончине князя Оболенского — редактора "Русского Возрождения". В связи с этим автор рецензии и редакция "Современника" выражают соболезнование родным и близким Покойного.

---

**ВИКТОР ТЕМИН.** НА ЖУРНАЛЬНОЙ СТЕЗЕ. ("Континент", № 17-22; "Новый Журнал", № 135-137; "Эхо", № 1-4; "Ковчег", № 4).

1. Хотя "Континент" сохраняет все условия и внешние признаки одного из солиднейших русских журналов Зарубежья, со всех сторон раздаются голоса о его упадке. В этих голосах, к сожалению, немало верного, и рецензируемые номера подтверждают ту истину, что хороший журнал не

есть простое соединение разных авторов и произведений, а нечто большее: органическое единство, где хорошая журналистика порождает настоящую литературу, а эта литература, тем не менее, не давит собой журналистику. Увы, подобного единства "Континенту" обрести не удалось.

С точки зрения политической журнал недостаточно последователен; с точки зрения литературной — не вполне "репрезентативен". "Континент" хотел стать органом политической оппозиции советскому режиму, а оказался органом диссидентов в эмиграции. Диссидентство же лишь внутри СССР может рассматриваться как политическая оппозиция (даже вопреки многократно выраженному желанию многих диссидентов заниматься "политикой"). В Советском Союзе другие представители оппозиции (например, участники подпольного движения, революционеры, активные националисты и т.д.) просто не могут пользоваться открытыми формами протеста — посему на поверхности остаются лишь диссиденты. В эмиграции — другое дело. Здесь диссидентство — не политика, даже не политиканство, а просто политизированная эмигрантская склока. В Советском Союзе диссидентам (при всех упреках, возможных в их адрес) следует сказать: спасибо, что хоть так и есть оппозиционеры. В эмиграции их следует спросить: а, собственно, почему вы здесь так и е? Там, в СССР, вы не могли выйти за рамки только "борьбы за права человека" по вполне понятным соображениям. Но почему вы здесь, в условиях свободы, не расширяете эти рамки? В СССР вы отрицали идею революционной борьбы против режима, и это тактически могло быть оправдано. Однако почему вы здесь распинаетесь в своей антиреволюционности и, следовательно, выступаете за сохранение советского строя, ибо резолюциями протеста и призывами к соблюдению "прав" в условиях советского, антиправового по природе своей, режима, его — этот режим — не повалишь.

Словом, диссидентство в эмиграции — это промежуточная, аморфная, политически бесплодная фракция, и, разумеется, журнал, выражающий ее интересы, обречен на то, чтобы перенять все перечисленные качества. Таким и оказался "Континент".

Немалую роль играют также личные особенности редактора журнала — Владимира Максимова, с его высокомерной грубостью ко всем "посторонним", чисто компанейской "адвокатурой" своих и политическим легкомыслием вообще. О Максимове можно сказать, что он — хороший писатель, средний редактор и никудышный политик. Последнее обстоятельство подтверждает хотя бы его смехотворная утопия о "Российской Федеративной Земле" ("Континент", № 21, Специальное приложение, стр. 3-13). Сия утопия носит претенциозное название "Размышления о гармонической демократии", но она очень мало "гармонизирует" с демократическими принципами. Скорее это помесь угрюм-бурчевевского прожектерства с

диссидентским дилетантизмом. В получившей скандальную известность "Сage о носорогах" Максимова ("Континент", № 21, стр. 21-41) подкупает хотя бы пафос антимещанства; в утопии об "РФЗ" — виден лишь резонерствующий мещанин.

Неудивительно, что слабости "Континента" и его лидера заметны даже читателям и поклонникам журнала в СССР (а оттуда труднее разглядеть их, чем нам в эмиграции). В № 22 помещено письмо в редакцию за подписями Юрия Иванова и Бориса Турбина, и хотя критика "Континента" а нем носит весьма умеренный характер, сопровождаясь апологетическими реверансами (иной критики "Континент" на свои страницы не пропустит!), все же авторы письма высказали ряд истин, достаточно горьких.

Весьма обоснован упрек в литературном кумовстве, когда Ю.Иванов и Б.Турбин пишут, что стихи многих авторов "Континента" печатаются "не потому, что они так уж хороши, а потому, что авторы... симпатичны журналу". (Стр. 370). А когда в подтверждение этого тезиса констатируется, что пародия Леонида Плюща на Вознесенского "беспомощна и печатать ее — оказывать дурную услугу Л.Плющу и настоящую услугу Вознесенскому", тут, как говорится, вколотен последний гвоздь и, думается, в ответ "Континенту" крыть нечем.

Не менее справедлива другая констатация Ю.Иванова и Б.Турбина. "К сожалению, — пишут они, — сила журнала не в изящной словесности. Стихи и проза отражают уровень художников, непосредственно связанных с журналом. А вот публицистика, очерки, документальная литература, литература факта отражают состояние многих умов вне его, да и уровень ее значительно выше (Разрядка моя — В.Т.) — Стр. 368. Критика в адрес Виктора Некрасова менее обоснована из-за налета утилитарности, однако и в ней содержатся крупницы горькой правды.

Читатель может подумать, что журнал "Континент", по крайней мере, принципиален в том плане, что любит деловую критику в свой адрес — ведь приведенные мною цитаты взяты со страниц самого "Континента". Хочу, однако, разочаровать наивного читателя: "Континент" (и его редактор) критику не любят, а если и пропустили письмо Ю.Иванова и Б.Турбина, то лишь по расчету, что комплименты, содержащиеся в нем, перевесят в читательском сознании упреки, высказанные как бы извинительно. Посему я осуществил неприятный для "Континента" анализ, подчеркнув в письме Ю.Иванова и Б.Турбина то, что должно было оставаться второстепенным и малозаметным. Здесь нет никакой передержки, и хотя т а к о е прочтение для "Континента" неприятно, редактор журнала вряд ли может пожаловаться на мою "необъективность": ведь о комплиментах я также упомянул (а на ббльшее — увы! — неспособен: для этого надо быть В.Соколовым, регулярно истекающим восторгами по адресу "Континента" на страницах "НРС").

Что же все-таки предложил "Континент" читателям его номеров с 1978-го по 1980 годы? Наиболее интересен в литературном отношении последний — 22-ой номер, поскольку он "держится" на действительно талантливых произведениях советских (во всяком случае, п о д с о в е т с к и х) авторов: Василия Аксенова и Фазиля Искандера. Аксеновская пьеса "Цапля" подкупает своей изысканной экспериментальностью. О прозе Искандера говорить преждевременно, т.к. его "Кролики и удавы" (по жанру: повесть-аллегория-притча) не окончена публикацией, однако высокий уровень его мастерства чувствуется вполне. Стихи номера не без перепадов качества: хороша Елена Игнатова, достаточно интересен Юрий Алексеев; Юрий Кублановский скорее умен в своей поэзии, нежели п о э т и ч е с к и у м е н (а настоящего поэта делает именно последнее). В публицистике весьма впечатляет Кирилл Хенкин с главами из книги "Русские пришли!" и разочаровывает Эдуард Кузнецов — автор умнейшего тюремного "Дневника" — своим очерком о политкаторжанине Даниле Шумке. Очерк этот, конечно, человечески полезен, однако принадлежать он мог бы и не перу Кузнецова! В заключительном разделе номера весьма интересно интервью Бориса Суварина о Сталине.

Так уж случилось, что я начал говорить о "Континенте" с последнего из рассматриваемых мною журнальных номеров. Его "литературно спасли" советские писатели Искандер и Аксенов. В номере же двадцать первом москвича Валерия Левятова, работающего в жанре афоризмов и "записных книжек", спасителем не назовешь: его фрагменты (дантовски озаглавленные — "Земную жизнь пройдя до середины...") отмечены претенциозностью больше, чем умом и вкусом, хотя Левятов из всех сил стремится показать и то, и другое. Проза художника Эрнста Неизвестного интересна по содержанию, но литературой ее назвать трудно. То же следует сказать и о тюремных записях Гелия Снегирева. Вообще, двадцать первый номер производит впечатление чего-то "проходного": всё вроде на месте, и типично-"континентовское" разнообразие рубрик налицо (хотя чаще всего рубрика содержит по одному только материалу), и жанры все представлены, а вот пустоვაго как-то, не запоминается...

Идя дальше, по нисходящей цифре номеров журнала, отметим, что в номере двадцатом всего сильнее публицистика (очень неплохая статья Б.Парамонова с убийственной критикой Янова, статьи Э.Оганесяна "Философия национализма", Родольфо Квадрелли "Двойная утопия", Ефимова-Московита "Политические выгоды нищеты". Очерковая повесть Феликса Канделя "Зона отдыха, или 15 суток на размышление" посвящена "тюремной теме": повесть — не шедевр, но вполне соответствует натуралистически-добротному уровню соответствующих зарисовок.

Зато ироническую "лениниану" Вячеслава Сорокина вряд ли стоило печатать: не смешно, гораздо слабее советских "ленинских" анекдотов; по степени пошлости приближается к прозе Ю.Алешковского, но без его

порнографической "беспредельщины", что делает эту жвачку особенно пресной. В сфере стихов Александр Верник мало оригинален, а Константин Кузьминский имитирует оригинальность многословием и косноязычием, за коими ничего, кроме этого, не скрывается.

В номерах 18 и 19 привлекают внимание проза Виктора Некрасова, румынского писателя-эмигранта Пауля Гомы, а также стихи Иосифа Бродского. "Московскую поэму" Наума Коржавина начинаешь читать с интересом, однако расхолаживаешься, наткнувшись на пустоты и строфы, вроде следующих: "Было, сплыло, осталось, Пронеслось, унеслось. Превратилось в усталость, В безнадежность и злость" (№ 18, стр. 53). Если эти "балломонтизмы" — стихи, то я не знаю, что следует назвать стихотворной болтовней! От Коржавина ожидаешь чего-то иного...

Примечательным в номере 18 является его посвящение А.И.Солженицыну (в связи с шестидесятилетием великого писателя). "Круглый стол "Континента", где высказано немало интересных суждений о Солженицыне, — пожалуй, наилучшее оправдание данного номера.

Наконец, стоит упомянуть как талантливое произведение не вполне ровную, но колоритную повесть Фридриха Горенштейна (№ 17 и 18) "Зима 53-го года". Проза Сергея Юрьенена — классический пример того, что не для всякого писателя свобода творчества является благом безусловным. В СССР Юрьенен писал литературно грамотней, а ведь был скован цензурой. Ныне же, на страницах "Континента", он думает, что выругавшись матом (без всякой на то необходимости) показывает тем самым степень своего "разрыва" с советчиной. Большой рассказ С.Юрьенена в 17-ом номере называется "Под знаком Близнецов". И, действительно, его проза — это "близнец" многих, пишущих ныне, причем пишущих на усредненном, гоняющемся за скандальной модой, уровне. Если ему в э т о м препятствовала некогда советская цензура, то почтишь и цензуру невольно...

Таковы впечатления от нашего "пробега" по шести "континентовским" номерам. Конечно, я не сказал всего, что следовало бы высказать, и многое осталось "за кадром"... Однако вывод можно сделать: "Континент", в том виде, как он есть, потерял всякое основание претендовать на "лидирующую" роль в журналистике Зарубежья. Ни его литературный уровень, ни общественно-политическая позиция не вызывают особых надежд. "Континентальный" замах не оправдался...

\* \* \*

2. "Новый Журнал" (№ 135-137). Если "Континент" стимулирует споры, то "Новый Журнал" в этом отношении "беспроblemней": он по-старомодному неактуален, несмотря на участие в журнале современных авторов, затрагивающих многие современные и даже ж и у ч и е вопросы. В основном журнал производит некое "архивное" впечатление. Чего уж тут спорить и с кем? С архивом?.. Ничего нельзя возразить против пуб-

ликации писем Бунина и М.Чехова, В.Розанова и опять Бунина — и так из номера в номер. К этому привыкаешь, так же как и к бесконечным "Минометчикам" Г.Андреева или к мемуарам Гуля. Печатающийся с номера 135-го роман покойного В.Вейдле "Вдвоем друг без друга" — очень культурная проза, по манере стоящая где-то между очерковостью Виктора Некрасова и психологической тонкостью Л.Ржевского. Оно, конечно, и неплохо, но тень Вейдле как критика первой величины явно заслоняет его художественную прозу писателя все же второго ранга. Воспоминания Романа Гуля "Я унес Россию" слишком каталожно-конспективны, чтобы счесть их удачей мемуарного жанра. Думается, что лучшие страницы в них — те, которые посвящены его жене (№ 137) — здесь чувствуется человеческий надрыв и редкая для Гуля доброта к людям, которых он изображает. В остальном, чаще всего, — калейдоскоп имен, злое "пикирование" и какой-то эмоциональный сумбур в оценках.

В номере 135-ом опубликован фрагмент из готовящейся к печати книги Ю.Кроткова "Побег на Запад". В нем автор — бывший советский писатель и агент КГБ — рассказывает о подготовке своего разрыва с прошлым. Рассказано это с подкупающей искренностью тона и с большим динамизмом, вообще характерным для писательской манеры Ю.Кроткова. Прозу такого уровня читаешь с захлеб: в ней интерес сюжета и мастерство автора находятся в полной гармонии. Этого не скажешь о помещенных рядом (стр. 135-155) воспоминаниях О.Толстой (Германия 1945 года). В них присутствует некоторый интерес "человеческого документа", но в целом ощущение такое, как при вежливом разглядывании альбома семейных фотографий не слишком примечательной личности: важное для хозяина альбома не становится общеизвестным, как ни стараешься себя убедить в этом.

Литературоведение в № 135 представлено статьей Н.Натовой "Проблема свободного выбора у Достоевского". Статья не бесполезна — в меру ученая и умеренно интересная. Нового в ней немного, а то, что в ней бесспорно, — не слишком ново. С большим "дерзанием" выступает на ниве историографии М.Бернштам, хотя пафос его полемики с американским профессором Р.Лайнсом мотивирован не столько соображениями спора во имя истины, сколько побочными мотивами. Расшифровка их заняла бы много времени и места, да, к тому же, статья М.Бернштама — перепечатка из "Вестника РХД". Посему претензии к автору лишь вторичным образом касаются "Нового Журнала".

Зато в отношении другой, близкой по сюжету, статьи (М.Агурский. "Зоотехник Барбу" — № 137, стр. 166-179) можно высказаться определенной. М.Агурский критикует А.Янова и критикует его правильно, отмечая порочность концепций этого автора и обусловленность их (во многом) его советским прошлым. Но приемы полемики каковы? Изобразив Янова чуть ли не "агентом Брежнева в США", Агурский патетически спрашивает: "по-

чему к нему хорошо относится американское правительство, которому он вместо благодарности за гостеприимство попросту морочит голову" (стр. 179). Прочтешь такое и подумаешь: чисто советский прием! По существу, это пахнет политическим доносом. Я не защищаю Янова за его (и с моей точки зрения) порочные историко-философские взгляды, однако хочется спросить М.Агурского, понравилось ли бы ему, если бы кто-нибудь, зная о его визите в США, вдруг запросил "американское правительство": стоит ли пускать в Америку сына человека, который был одним из основателей американской компартии в свое время? Агурский, наверняка, возмущился бы таким приемом; возмущившись, был бы прав... ну и по этой же самой логике я возмущаюсь ныне Агурским.

Из числа любопытных статей в "Новом Журнале" отметим такие, как "Дела советские" А.Федосеева (№ 136, стр. 163-178) и статью М.Михайлова "О диссидентском движении в Югославии" (Там же, стр. 179-193). В номере 137 привлекает внимание статья В.Пирожковой "Десятилетие утопистов", дающая анализ политической жизни Западной Германии последнего десятилетия.

Библиографические отделы "Нового Журнала" становятся от номера к номеру слабее и скромнее (достаточно сказать, что в № 136 вся "Библиография сводится к о д н о й (!) заметке Л.Ржевского — к тому же довольно пустоватой). Спрашивается, зачем на одну заметку тратить целую журнальную рубрику? Это журналистски непрофессионально прежде всего...

В заключение скажем, что несмотря на публикацию нескольких интересных стихов И.Чиннова, В.Перелешина, И.Елагина, О.Ильинского и других, говорить о наличии в "Новом Журнале" панорамы с о в р е м е н н о й поэзии (хотя бы в таком срезе, как это сделано в "Континенте") не приходится. Это не единственный, конечно, но один из важнейших недостатков "Нового Журнала" в его нынешнем состоянии.

\* \* \*

3. "Эхо", 1979, № 1, 2-3, 4. "Ковчег", № 4. Объединив два этих парижских журнала в их рассмотрении, я не совершаю никакой искусственной контаминации: и "Эхо", и "Ковчег" принадлежат к одному крылу русской литературы наших дней — к ее "авангардистски-модерному" потоку. И хотя о множестве представителей сего потока хочется сказать словами дореволюционного афоризма: "Новаторы до Вержболова — что ново здесь, то там не ново", однако не замечать их нельзя. К тому же всё здорово перепуталось в наши дни: и станции пограничные иные, чем вержболовский кордон, и сами понятия "здесь — там" меняются местами в зависимости от колебаний и пузырения "третьей волны". Кто кому подражает — поди разберись! То ли самиздатские авангардисты Москвы и Питера открывают для себя забытые экзерсисы русских футуристов и французско-



го "Дада" начала столетия, то ли в окружении Марамзина (редактор "Эха") и Бокова (редактор "Ковчега") никак не отрешатся во французском "далеком-близком" от непомерных пристрастий к приятелям из Москвы и Питера. Одни лишь сопроводительные аннотации к произведениям тех или иных авторов чего стоят! А. Лосев, например, так рекомендует ленинградского поэта Михаила Еремина: "...поэт изумительного дарования, его стихи — редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Еремин и Бродский представляют два полюса... обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии" ("Эхо", № 2-3, стр. 9). Соответственно, о стихах Лосева Бродский ("Эхо", № 4, стр. 66-67) пишет как о "замечательном событии отечественной словесности" и сравнивает их автора... с П.А. Вяземским. Бродский хвалит стихи Лосева за "сдержанность", однако в своих оценках столь "несдержан", что неловко и за Лосева, и за Бродского. Если протезе последнего и похож на князя Вяземского, то разве тем только, чем Вяземский не похож на Пушкина: степенью поэтического таланта.

И вообще, знайте же меру, господа! Дружба и приятельство — сами по себе вещи очень хорошие, но когда они ложатся в основу литературной критики, — от нее отворачиваешься, как от постыдного деяния. У Еремина есть отличные образы в стихах, воспроизведенных "Эхом", но любой непредубежденный читатель заметит, что им недостает силы мысли, а сама образность и обнаженная игра звукописью (типа: "От храмов до хоров, от теремов до тюрем", или "наяривает в яре явор на яру") производят скорее эффект лексического эксперимента, чем полностью отшлифованных стихов. У Лосева имеются блестящие стихотворения, однако Бродский, характеризуя его, попросту "накручивает" произвольные ассоциации (отсюда — параллель с Вяземским!) в виде литературоведческой и категоричной оценки. И оценка становится непомерной, в стиле той "добропутийности", принятой в советской печати, над которой блестяще поиздевался Евтушенко (см.: "24 Альманаха. 1979. Поэзия. М., 1979, стр. 68-69). Он же и заметил вполне справедливо: "хороших строчек мало для того, чтобы быть поэтом. Для этого мало даже хороших стихов."

Иной раз бездумное рекламирование серьезно дезориентирует читателя. В номере 2-3 "Эха" дана большая подборка стихов советского поэта Глеба Горбовского, и в аннотации на стр. 173 утверждается: "Эти ранние стихи Горбовского давно живут отдельной от автора жизнью, в тысячах самиздатских копий. Новые эмигранты так же любовно пересылают их тут, на Западе, друг другу..." Но вот, скажем, стихотворение "Лев Толстой" (стр. 159). Для чего приписывать ему (вполне бездарному, кстати) "самиздатовский" ореол, когда оно преспокойно напечатано было в номере 8-ом журнала "Новый Мир" за 1978 год (стр. 143)? Хорош "Самиздат"! И вообще, для чего нужно "Эху" драматизировать ситуацию Горбовского, вполне закономерно превратившегося в официального "пииту"? Ведь

у него нет даже таланта хотя бы... Роберта Рождественского, проделавшего сходный путь, о коем и посожалеть можно.

Классический пример того, как под видом "ценного новаторства" печатается в "Эхе" просто-напросто заготовочный стихотворный шлак, дает "Собрание песен" Анри Волохонского и Алексея Хвостенко, которое открывает четвертый номер журнала (стр. 4-27). Леонид Ентин в послесловии сообщает: "Эти песни возникли в атмосфере всепьянейшего братства джазовых музыкантов, художников и поэтов в Питере, в начале 60 годов... Представ нагими на страницах журнала, без музыки и атмосферы застойного расположения, песни становятся текстом." (Стр. 27). Но в том-то и беда, что н е с т а н о в я т с я! Есть ситуации в жизни, которые не восстановимы помимо их сиюминутного контекста. Есть шутки, которые, будучи обусловлены моментом, заставляют смеяться до упаду, но пересказанные через день, не вызовут даже улыбки. Песни Волохонского и Хвостенко (можно допустить!) имели эффект в конкретной компании, с ее эзотерическим жаргоном и взаимопониманием, в сопровождении музыки и "всепьянства", но напечатав их "нагие" тексты в журнале, можно ли рассчитывать на понимание читателя, который увидит в этих текстах, в лучшем случае, черновые заготовки чего-то нереализованного до конца? Он лишь пожмет плечами и скажет: сделайте сначала шедевры, а потом печатайте ваши черновики, господа! А вы начинаете с печатания черновиков, не дав никаких шедевров!..

Из числа действительно запоминающихся поэтических имен, представленных на страницах четырех номеров "Эха", следует отметить Дмитрия Бобышева, Алексея Цветкова, Олега Охаткина, Михаила Армалинского, отчасти — Алексея Хвостенко. Не лишены поэтического интереса "Иероглифы" Сергея Петруниса (№ 4, стр. 104-109). Елена Шварц (№ 1, стр. 66-75) была бы лучше, будь она не столь многословна. Владислав Лён (№ 4, стр. 86-94) был бы значительно глубже, не играй он постоянно в м н о г о з н а ч н о с т ь. Впрочем, такой "игрой" заражены почти все авторы "Эха".

Что касается прозы в журнале, то здесь, в рамках рецензии, не представляется возможным сказать всё, что заслуживает... не столько сама проза, сколько ее "окоём", спресованный вихрями порнографии, воинствующей антикультуры и претенциозной подражательности западному "авангарду". Все эти вихри бушуют сейчас в сознании "дорвавшихся до свободы" авторов "Эха". Прежде всего — повальная матерщина... Читая произведения "новейших" и "современнейших", начинаешь думать, что ругаться матом — это признак высшей литературной образованности, а н е р у г а т ь с я м а т о м становится просто неприличным. Сложилась целая группа писателей — своего рода бражка литературных уголовников (Ю. Алешковский, С. Юрьенен, Ю. Милославский и другие). Эти "приблатненные" эмигрантской литературы навязывают свою лексику в диапазоне от надписей на стенах уборных до словаря Бодуэна де Куртенэ. От последнего

их отличает, правда, то обстоятельство, что Бодуэн де Куртэнэ реабилитировал мат как элемент языка, но отнюдь не советовал создавать на нем "литературу". (Написав это, я тут же задаюсь вопросом: а слышали, допустим, Алешковский имя Бодуэна де Куртэнэ?). Услужливо-претенциозный С.Юрьенен, давая послесловие к отрывку из романа Алешковского "Кенгуру", находит в нем "особый пафос с о п р о т и в л е н и я русско-го ж и в о г о языка омертвляющим стереотипам советской речи". (Это через мат, что ли? Выходит, что когда Хрущев ругался матом, он тоже "сопротивлялся советским стереотипам"?). Юрьенен ставит Алешковского "после Солженицына, Максимова, Зиновьева". (Насчет Зиновьева не уверен, но вряд ли даже Максимов — не говоря о Солженицыне — почувствуют себя приятно от такого сопоставления). "Мир Алешковского — по Юрьенену — есть апология нашего народа всему живому на земле", а в его творениях русский язык "вновь и велик, и могуч, и свободен..." (№ 1, стр. 32).

Надо полагать, всё это благодаря "могучему мату" и беспросветной пошлости. Читать Алешковского (равно как и Милославского, и того же Юрьенена) противно и не интересно, не интересно и противно. И чем изобретательней их похабщина, тем она менее интересна. Думается, что они вдохновились успехом Лимоновского романа "Это я — Эдичка" и теперь, как говорится, прут направо и налево в "матовом" направлении. Но Лимонов хорош один раз, не более того; к тому же он талантлив и оригинален не из-за мата, а вопреки оному. Так что те, кто подражает "Эдичке", рискуют оказаться в литературно "матовом" положении, ибо никакая комбинация подзаборного мата с раздутым тщеславием не рождает таланта. У Лимонова он есть от Бога и ему можно простить мат (идуший от лукавого); а вот Милославский, допустим, как ни л у к а в с т в у й, все равно ничего, возвышающегося над тривиальной пошлостью, из себя не выжмет.

О напечатанном в № 2-3 романе Владимира Лапенкова "Раман" (именно так — через букву "а"!) говорить не хочу. Прежде всего это длинно и скучно, принадлежа к жанру явной "антилитературы", которая в т а к и х к о л л е с т в а х неудобоварима.

Публикацией же повести Андрея Платонова "Ювенильное море" (равно как и вообще изучением творчества Платонова) журнал "Эхо" делает безусловно полезное в культурном отношении дело. Не обязательно соглашаться с гипертрофированной оценкой В.Марамзина в отношении Платонова ("величайший русский писатель нашего столетия" — № 4, стр. 187), однако освоение его литературного наследия можно только приветствовать.

В актив "Эха" стоит занести также публикацию не претенциозных, но по-человечески и литературно интересных, очерков из тюремной жизни (Вадим Делоне "Маркузе" — № 1; в том же номере — Михаил Хейфец "Политический бытовик Николай Серков", и в № 4 опять-таки — Вадим Делоне "Портреты в колючей раме").

Из публицистики журнала можно с симпатией отметить весьма интересный анализ ленинизма-сталинизма в статье Эмиля Когана "Советский Эдип" (№ 1, стр. 129-138), а также неплохой разбор альманаха "Метрополь" Петром Вайлем и Александром Генисом (№ 2-3, стр. 232-239).

"Ковчег" на страницах своего четвертого номера предлагает читателям ряд вещей, которые, подобно аналогичным созданиям в "Эхе", я предпочитаю оставить вне рассмотрения за полной их для меня недоступностью: истолковать их, при желании, можно, однако желание сие не возникает. Пользуясь модно-сексуальными ассоциациями, скажу откровенно: предпочитаю прослыть импотентом, нежели "совокупиться" со стихами Всеволода Некрасова (типа: "Галифе плиссе гофре Чомбе Чомбе Дюшамбе... Либерте Эгалите Декольте — стр. 7). Хотя оно и "декольте" — не манит!

Точно так же "не манит" желание вывалиться в "Элементарной поэзии" "Куча" Андрея Монастырского (стр. 79-80). По уверению Монастырского, его "Куча" уже состоит из семидесяти семи "предметов". Быть семьдесят восьмым не хочется.

На ином уровне стоит подборка стихов Леонида Черткова, отражающая его стихотворчество на протяжении более чем двадцати лет. И любопытно: ранние стихи кажутся здесь куда более зрелыми, чем поздние. Так, стихотворение "Солнце — как сохнет калиновый цвет", помеченное 1954 годом, можно назвать той блестящей удачей, которая иногда, словно молния, озаряет даже микроскопических по таланту поэтов, напоминая, что само по себе приобщение к искусству — уже искра Божья, хотя в Леониде Черткове настоящей поэтической искорки и нет. Как правило, он пишет культурные, грамотные стихи, в которых, наряду с попыткой изыска, мелькают совершенно избитые трюизмы, вроде "энергии лучистой", "бездумного упоенья", "безвыходного стремленья" "неотвратимых звезд" (всё это в о д н о м стихотворении — стр. 58). Зато, когда он решается "держаться", то его "культуртрегерство" переходит в попытку литературного хулиганства:

"Не говори: — Какого хуя!  
Не имитируй волчий вой,  
Пока не сгинут под тобой  
Врата железного Кокуя."

Эти строки помечены 1974 годом — "двадцать лет спустя" после действительно хороших стихов Л. Чертков начал писать такое, что хочется сказать его же словами: "Не имитируй волчий вой"...

Проза в "Ковчеге" лучше стихов. Большим артистизмом отмечен драматический этюд Дмитрия Пригова "Место Бога", хотя концовка его несколько "любовая". Хороши — и по мысли, и по стилю — фрагменты Николая Бокова "Памяти Василия", Заметки "Сон-и-поэзия" Геннадия Айги, на мой взгляд, более поэтичны, чем стихи этого автора, вокруг коих уст-

роили столько шума. Рассказ Юрия Мамлеева "Ковер-самолет" гротескно-страшен и, при всей подчеркнутости его трагизма, реалистичен в хорошем смысле этого слова. То же следует сказать и о рассказе Николая Матренина, рисующего будни советской школьной (и околошкольной) жизни. "Дневник филолога" Владимира Алексеева не окончен публикацией, но производит в целом неплохое впечатление благодаря психологической изобретательности автора: ленинградско-богемная нотка звучит у него на сдержанных полтонах, не переходя в надрыв "выраженчества" любой ценой.

В целом и "Ковчег", и "Эхо" имеют общие достоинства и слабости. В обоих изданиях чувствуется пульс современной литературной жизни, и это хорошо, не взирая на все экстравагантности, вкусовые издержки и полемические преувеличения. Однако можно быть зеркалом современного модернизма в литературе (что в принципе следует приветствовать), а можно сделаться и семейным альбомом знакомых между собой модернистов. Последнее качество во многом пока превалирует (особенно в "Эхе"), так что "зеркало модернизма" получается кривым и нечетким. "Альбомная" же судьба может глубоко интересовать разве что одних ее создателей, а оба парижских журнала (при всех оговорках в их адрес) заслуживают — по своей тенденции — внимания более широкого и основательного.

**ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ.** А.Солженицын. Сквозь чад. Париж, 1979. В.Максимов. Ковчег для незваных. Франкфурт на Майне, 1979.

В рамках миниатюрной брошюры Александр Исаевич вдрызг разбивает несуслазные клеветнические построения, кропотливо воздвигаемые против него большевиками, и, в частности, книгу Томаша Ржезача "Спираль имени Солженицына" (Москва, 1978). На момент возникает в уме вопрос: стоит ли марасться полемикой с такой дрянью и палить из пушки по воробью? Но нет, как подумаешь, определенно стоит!

Оставим даже в стороне самое главное: реакцию народа в СССР. В самой эмиграции, увы, столь много желающих во всякие — любые — гадости поверить! Вот и мне лично писали не раз уже (и ведь дельные, неглупые люди!), что, мол, появились некие материалы, уличающие Солженицына в стукачестве в концлагерный период. Ну, я тогда им отвечал, что советчики врать мастера и мало ли что еще состряпают; и напоминал моим корреспондентам, что сам-то писатель, беспощадно к себе, каялся, включая пустяки, о которых и говорить бы не стоило, и бичевал себя безжалостно, на манер Льва Толстого.

И ведь до чего же упорно — до сих пор! — повторяют сплетни, что он, мол, не Солженицын, а Солженицкер. Хотя, между прочим, ну зачем бы он стал скрывать еврейское происхождение, кабы оно да у него и впрямь имелось?! В Зарубежье сейчас великое множество евреев-антикоммунист-

тов, недавно приехавших из Советского Союза, пользующихся всеобщим уважением и сочувствием и играющих видную роль, кто в левых, а кто и в правых кругах...

Ну, — пусть злопыхатели прочтут "Сквозь чао", и да будет им стыдно!

Для поклонников же таланта и героизма автора "Архипелага ГУЛаг", "Теленка" и "Августа Четырнадцатого" самая ценная часть его новой вещи — сообщенные им тут о себе дополнительные биографические сведения.

Признаюсь за себя (потому что это может и немало других касаться), что мне Солженицын стал гораздо ближе и симпатичнее, когда я узнал, что марксизм (каковой он сам себе приписывал: печатно за годы юности) явился для него лишь кратковременным поветрием в предвоенный период.

С теплым чувством, с ощущением общности и солидарности, нашел я в брошюре следующие строки, мучительно напомиравшие мне и мое собственное детство:

"И я мальчиком — умел хранить тайны. В 4 года я уже видел чекистов, в остроголовых будденновках прошагивающих через богослужение в алтарь. В 6 лет я уже твердо знал, что и дедушка и вся семья — преследуется, переезжает с места на место, скрывается, еженощно ждет обыска и ареста. В 9 лет я шагал в школу, уже зная, что там всегда меня могут ждать допросы и притеснения. И в 9 лет, при гомоте, пионеры сорвали с моей шеи крестик. И в 11, и в 12 меня истязали на собраниях, почему я не вступаю в пионеры. И чекисты на моих глазах уводили дедушку... на смерть."

\* \* \*

Книга В.Максимова вызывает разочарование. Большие отрывки мы уже видели в русской зарубежной прессе. Но по ним нельзя было судить о целом. Теперь же, собранные вместе, они удивляют фрагментарным своим характером. Лица появляются и исчезают без прямой связи с сюжетом. Перед нами — не единое повествование, а ряд отдельных, только механически между собой соединенных повестей. Чувство такое, будто автор хотел сперва создать нечто гораздо более обширное, а потом наспех сократил и скомкал, сильно испортил общий эффект. В прежних вещах Максимова так не бывало: там тоже фигурировало много персонажей, частью эпизодических; но они все оказывались нужными и на своем месте, так что их немислимо было бы выкинуть.

Даже приемы, знакомые нам по предшествующим произведениям писателя, здесь выглядят надуманно. Например, слишком подчеркнута параллель, в отрывке "Сон Золотарева", между бригадиром стройотдела, туманным идеалистом Хохлушкиным, и Христом. Даже имена его товарищей подобраны в соответствии с апостольскими: Петр, Иван, Матвей, Фома...

Кто, собственно, центральный герой романа? Золотарев, видный ком-

мунист, сотрудничающий с чекистами и сыгравший в деле Хохлушкина роль Иуды, отнюдь не внушает симпатии; и если он обречен на гибель, трудно не пожелать ему: "Скатертью дорога!"

Федор Самохин, крестьянский парень и бывший красноармеец, как бы антипод Золотарева, — совершенно незначительная личность, не интересующая всерьез читателя.

Сталин, настойчиво выпирающий на авансцену? Образ этого страшного человека царит сейчас на страницах Самиздата и Тамиздата; мы его встречаем и у Солженицына, и у Домбровского, и у Гладиллина, и у других еще. Но проникнуть в его темную душу — тяжелая задача; и нельзя сказать, чтобы интерпретация Максимова представлялась во всем убедительной.

Кратко, но с большим сочувствием, обрисованы ожидающие казни в большевистских застенках генералы Краснов и Шкуро, представленные в ореоле рыцарства, мужества и человечности. Это можно только одобрить. Но невольно себя спрашиваешь: откуда и зачем Максимов позже извлек, в своей "Саге о носорогах", гротескный силуэт белого казачьего генерала-вешателя?!

Женские образы в романе, те и совсем уж поверхностны: Кира, Полина, Люба. Правда, они никак не на одно лицо: у каждой своя индивидуальность. Но им отведено настолько мало простору, что они не успевают развернуться и себя проявить; и остаются беглыми, и потому относительно бледными набросками.

Даже язык, авторский и действующих лиц, тут менее живой и красочный, чем мы привыкли у Максимова, прибаутки, частушки, имитация народной речи звучат нередко утрированно, чересчур навязчиво.

Слагающаяся картина невыносимых страданий России, — относящаяся, впрочем, к первым послевоенным годам, особенно мрачным, — заставляет вспомнить слова Некрасова:

"Волга, Волга, весной многоводной  
Ты не так заливаешь поля,  
Как великою скорбью народной  
Переполнилась наша земля."

Увы, Николай Алексеевич говорил как пророк: к нашим временам его стихи куда лучше подходят, чем к его собственным!

**КАТУСЬ АКУЛА.** Майкл Эддоуис. Дело Освальда. Нью-Йорк, 1978.  
Патриот или предатель? Стэнфорд, Издание Института Гувера, 1978.

**The Oswald File by Michael Eddowes. New York, 1978.**

**Patriot or Traitor. Hoover Institution Press, Stanford University, 1978.**

Убийство президента США Джона Кеннеди в Далласе в 1963 году вызвало потрясение во всем мире. Молодой президент, который знал (благодаря

даря, главным образом, информации полковника Олега Пеньковского) о намерении Хрущева закидать Америку ракетами, снискал общее восхищение своей твердостью перед лицом советской угрозы в период Карибского кризиса.

Кому понадобилась смерть этого выдающегося человека? 29 ноября 1963 года президент Линдон Джонсон назначил специальную комиссию по расследованию убийства Кеннеди (ее возглавил судья Эрл Уоррен). Агенты ФБР, полиции, правительственные служащие опросили по этому делу 552 человека; было взято 26 500 интервью. Отчет комиссии, заверченный в 1964 году, содержал, вместе с документацией, 17 тысяч страниц. Комиссия пришла к выводу, что Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, совершил убийство президента один, что он не участвовал ни в каком заговоре, что между ним и Руби (убиившем Освальда) не было никакой связи. Комиссия не смогла выяснить мотивы Освальда, но предположила, что им двигали житейские неудачи, ненависть к властям и склонность к марксизму и коммунизму.

По горячим следам убийства Кеннеди на американском рынке появилось несколько книг, авторы которых отнеслись с недоверием к отчету комиссии Уоррена и хотели сами добраться до правды. Мне довелось читать эти книги, чувствуя, что многое остается нераскрытым, что заговор против Кеннеди мог иметь место. И вот появилась книга, наделавшая в Америке много шума.

Автор ее — известный британский юрист и исследователь Майкл Эддоуис. В 1950 году английский рабочий Тимоти Иванс был обвинен в убийстве жены и грудной дочки. Он тщетно доказывал свою невиновность. Ему не поверили и он был повешен. А вскоре многократный убийца Реджинальд Кристи признался, что убийство совершил именно он. Майкл Эддоуис посвятил 11 лет распутыванию дела Иванса и выяснил, что отчет о нем был, из-за многих передержек, фальсифицирован. Эддоуис написал книгу "Человек на твоей совести", которая дала повод для пересмотра дела. Иванс был посмертно оправдан, а книга Эддоуиса содействовала отмене смертной казни в Англии.

На расследование убийства Кеннеди Эддоуис потратил 14 лет, не жалея времени и усилий. Он прочел множество книг, документов и уделил особое внимание "отчету Уоррена" и дневнику убийцы, который называл себя Ли Харви Освальд. В отчете комиссии Уоррена Эддоуис обнаружил те же (по характеру) передержки, что некогда привлекли его внимание в деле Иванса, — в частности, выпадение многих ключевых свидетельств.

На основе анализа документов и фотографий Эддоуис доказывает следующее:

1. Что после избрания Кеннеди на пост президента США и его эффективного противодействия агрессивным действиям Хрущева, последний отдал приказ советскому МВД подготовить убийство президента.



2. Что настоящий морской пехотинец Ли Харви Освальд никогда не возвращался в Америку, а исчез сразу после своего прибытия в Советский Союз в 1959 году.

3. Что убийца Кеннеди был работником 13-го отдела КГБ, специализирующегося на организации убийств и саботажа. Он прибыл в США в 1962 году как мнимый Освальд.

4. Что Советы специально организовали дело таким образом, чтобы мнимый Освальд был после убийства обнаружен американскими властями.

5. Что была создана цепь свидетельств того, что ответственность за убийство лежит на кубинцах.

6. Что американские власти подозревали мнимого Освальда в том, что он — советский агент. На другой день после убийства эти подозрения подтвердились.

7. Что, для избежания Третьей Мировой войны, американские власти решили скрыть все доказательства советского участия в убийстве и все свидетельства о подмене реального Освальда его двойником.

8. Что убийство Кеннеди было актом войны и что "отчет Уоррена" был декларацией мира, а, следовательно, и признанием поражения.

Ключевым в системе доказательств Эддоуиса является утверждение, что Ли Харви Освальд был подменен советским агентом, который был связан с Джеком Руби. Анализируя биографию реального Освальда, Эддоуис установил, что двойник был на два сантиметра ниже Освальда ростом. Кроме того, настоящий Освальд имел шрам за левым ухом после операции в детстве. На теле же двойника, после посмертного освидетельствования, такого шрама не обнаружили.

Эддоуис доказывает, что мнимый Освальд, женившийся на Марине Прусаковой в Минске (дядя Марины был полковником МВД), помимо Руби, был связан со старым советским агентом Георгием Мореншельдом. Любопытно, что комиссия Уоррена о связи этих трех людей не упоминает.

Майор Юрий Носенко — заместитель начальника того отдела КГБ, который ведал операциями против американских туристов в то время, когда настоящий Освальд приехал в Москву, перебежал к американцам в 1963 году — в день начала работы комиссии Уоррена. Он захватил с собою советское "дело Освальда". Однако об этом в "отчете Уоррена" ничего не говорится.

ФБР, которое провело следствие по делу Носенко, не сделало никаких выводов относительно советской конспирации, хотя сам Директор ФБР Гувер прежде предостерегал американское посольство в Москве насчет того, что "русские агенты могут использовать бумаги Освальда для своих целей".

Интересно, не правда ли? Майкл Эддоуис дает исчерпывающие доказательства своей гипотезы, и все они свидетельствуют об одном: руками подставного "Освальда" Советы убили американского президента Кеннеди.

Случилось так, что когда я начал писать рецензию на книгу о Михайловиче, югославский президент и шеф компартии Югославии лежал при смерти. С уходом его наверняка потекут в Белград со всего света телеграммы, восхваляющие Тито, его политическую прозорливость, которая остановила сталинские полчища на дороге к Адриатике. Вряд ли в некрологах найдется место для характеристики Тито как бездушного и безбожного диктатора, губителя вольности своей многонациональной родины.

Из минувшей войны Тито, прошедший свою выучку в Москве, вышел героем, который возглавил борьбу против гитлеровских войск на территории Югославии. 24 марта 1946 года правительство Тито заявило, что лидер сербских четников Драже Михайлович, который с ведома югославского короля Петра командовал борьбой как против немецких войск, так и против титовских партизан, арестован и будет судим как предатель. Михайлович будет казнен после справедливого суда, — сказал коммунистический чиновник.

Вышедшая в позапрошлом году книга (ее издал Институт Гувера в Калифорнии) анализирует закулисные события партизанской войны в Югославии. В ней документально доказано, что — как сказал бывший американский посол в Югославии Лорэнс Сильберман — "генерал Михайлович был виновен не в коллаборанстве, а в своем сопротивлении как коммунизму, так и нацизму."

— Отчего президент Трумэн наградил Михайловича Американской Медалью Доблести секретно? — задается вопросом знаменитая американская журналистка Клер Люс.

Когда титовские власти объявили о суде над Михайловичем, в Белград вызвались поехать, чтобы свидетельствовать в его пользу, сотни людей. Среди них были бывшие американские и английские летчики, журналисты, видные политики. Однако титовское судилище оповестило, что никаких свидетелей из-за границы не требуется и что адвокатам запрещено использовать их материалы.

В Нью-Йорке образовался тогда Комитет для Справедливого Суда, создавший следственную комиссию из четырех юристов. Книга о Михайловиче — "Патриот или предатель?" основана на документах, собранных этой комиссией. Здесь свидетельства членов британской военной миссии при штабе генерала Михайловича, работников американского Бюро Стратегической Службы (позднее — ЦРУ), связанных офицеров, американских летчиков, сбывших над Югославией и спасенных четниками. Приводятся также высказывания Черчилля, Идена, Муссолини, Гитлера относительно ситуации в Югославии времен войны.

Как известно, Москва обеспечивала югославских партизан только... пропагандой. Боеприпасами, медикаментами и остальным снабжали американцы и англичане. В этой несчастной стране велось тогда сразу несколько войн: четники Михайловича воевали с немцами и коллаборантами;

титовские партизаны воевали с немцами и их прислужниками; четники и коммунисты бились между собой. Войска Муссолини, елико возможно, воздерживались от всякой войны; хорватские усташы, номинально сражаясь с партизанами Тито и четниками Михайловича, занимались преимущественно грабежом и издевательствами над мирным населением.

В период войны четники терпели недостаток практически во всем. Словно издеваясь, им скидывали на парашютах вместо винтовок карандаши и писчую бумагу, а то даже... итальянские банкноты для Эфиопии. А Тито получал пулеметы, амуницию, продовольствие, медикаменты. Полагают, что четников погибло больше от болезней и нехватки оружия, чем в боях. Однажды Михайлович атаковал силами в пять тысяч бойцов, у которых имелось лишь две тысячи старых винтовок и один пулемет, добытый у итальянцев...

Почему же англичане и американцы предпочли помочь Тито, а не Михайловичу?

Причина — в деятельности советского агента Джеймса Ключмана и его шайки. С ведома других советских шпионов — Филби, Бэрджеса, Маклина, а также будущего советника английской королевы по вопросам искусства Антони Бланта, Ключман вербовал англичан для работы в пользу Москвы. Во время войны майор Ключман состоял в миссии при титовском партизанском штабе и был предан Тито "эмоционально и интеллектуально". Ключман и его единомышленники овладели т.н. "Управлением Специальных Операций", которое находилось в Каире и через которое проходили все коммуникации британских офицеров связи при Михайловиче с Лондоном и обратно. Ключман и его приспешники никогда не передавали позитивной информации английских связных при генерале Михайловиче. Наоборот, они сочиняли фальшивые рапорты в пользу Тито, одновременно обвиняя Михайловича в коллаборационизме. Тито прославляли, Михайловича принижали. Оружием Ключмана была чистейшей воды дезинформация. И вот каковы были ее последствия:

"Рутгам был одним из группы британских офицеров, эвакуированных в Бари (Италия) в конце мая 1944 года с территории Михайловича. По словам Рутгама, английские власти в Бари "приняли нас, как если бы мы были коллаборантами". Вскоре после прибытия в Бари, — говорит он, — нас вызвал генерал-майор Стоуэл... Лично этот человек был довольно доброжелателен, но говорил он весьма жестко. — Вы, — сказал он, — должны понять, что вас умственно изуродовали. Вы глубоко ошиблись. Люди, с которыми вы были, не на нашей стороне. Наши люди — это партизаны (т.е. титовцы — К.А.), и вы должны это усвоить.

На следующий день Рутгам посетил югославскую оперативную квартиру "Управления Специальных Операций" в Бари. На стене висела карта Югославии. На ней маленькими флажками были отмечены позиции партизан, четников и немцев. Всю Сербию покрывали партизанские флажки; лишь в отдельных местах были обозначены территории четников. Рутгам

сказал дежурному капитану, что карта неверна, что он провел целый год в Сербии, вернулся оттуда лишь позавчера, и что он знает о преимуществе сил Михайловича над партизанскими. Офицер отрезал в ответ: "Вы плохо информированы".

— Вы что же, называете меня лгуном? — вспыхнул Рутгам.

— Я сказал только, что вы плохо информированы, — повторил офицер.

Не будучи в силах сдержать свой гнев, Рутгам смел рукою все флажки с карты. После этого британским офицерам связи с Михайловичем запретили заходить на югославскую оперативную квартиру в Бари."

Фальшивая информация, сфабрикованная Ключманом и компанией, передавалась также по радио Би-Би-Си. Нельзя сказать, что англичане предали Михайловича. Это московские агенты ликвидировали Михайловича и его четников британскими руками. Они же поддержали Броз Тито.

21 апреля 1945 года закончились военные действия в секторе Болоньи, на итальянской территории. Именно в этом месте закончилась война и для меня, прошедшего итальянскую кампанию. Направляясь в Англию, в школу офицеров танковых войск, я задержался в британском военном лагере близ Неаполя. Ожидая своего корабля, я провел там десять дней. Рядом со мной жили интернированные четники, к которым я часто заходил, быстро освоив сербскую речь. Эти люди рассказали мне о предательском поведении англичан, о своей несчастной судьбе. Впоследствии я узнал, что их отдали в руки Тито, который их всех ликвидировал.

17 июля 1946 года был расстрелян Драже Михайлович. Известно, что Тито во время своего владычества в Югославии оказал сопротивление Москве и устоял. А что было бы, не измени ход истории банда советских шпионов во главе с Ключманом? На этот вопрос трудно ответить. Со страниц книги "Патриот или предатель?" встает образ честного и доблестного Драже Михайловича — способного полководца, преданного патриота своей страны. Если б не возглавленная им борьба против немецких оккупантов, то немцы могли атаковать Советский Союз на месяц раньше, чем они это сделали. А тогда?..

Бывший губернатор американского штата Огайо, затем сенатор, в свое время выступавший в защиту Михайловича, пишет в предисловии к рецензируемой книге:

"Михайлович стал первым инсургентом в Европе. Именно он первым поднял знамя сопротивления нацистской агрессии и этим вдохновил сопротивление в других странах. Он боролся с нацистами в то время, когда Советский Союз и коммунисты с ними сотрудничали. Его борьба сорвала нацистский военный график и это, по-видимому, было причиной того, что немцам не удалось впоследствии овладеть Москвой."

**ЮРИЙ ГИДОНИ.** Джордж Радвански. Трюдо. Торонто, Макмиллан, 1978.  
**GEORGE GUIDONI.** George Radwanski. Trudeau. Toronto, Macmillan, 1978.

Это книга не блестящего автора о блестящем по-своему человеке — Пьере Эллиоте Трюдо, который вновь стал недавно (после краткого перерыва) Премьер-министром Канады. Джордж Радвански — журналист из Оттавы, проделал большую работу по сбору биографического материала, изучил массу статей и книг, посвященных Трюдо (а также книги с а м о г о Трюдо), взял множество интервью, и хотя, как признает он сам во введении, "писать о лидере, который еще находится у власти... значит допускать суждения, неизбежно условные" (стр. 1X), в основном Д.Радвански справился с задачей создания впечатляющего портрета одного из самых видных общественных деятелей современной Канады. Удалось это автору, в частности, потому, что на протяжении всей книги он умело проводит параллель между Трюдо как политическим писателем и как практическим политиком. Радвански справедливо отмечает, что "поведение Трюдо на посту Премьер-министра не поддается однозначной... оценке." Он часто действует "по-разному в разные времена; сегодня — это консерватор, а завтра — левый" (стр. 137). "В каждой сфере государственного вмешательства — экономической, социальной и культурной — Трюдо не сковывает себя априорными стандартами... Подобно человеку, плывущему в легком каноэ, который все время должен менять свое положение в зависимости от давления набегающих волн, государственный деятель может поддерживать социальную стабильность... постоянно балансируя между крайностями и изменчивым давлением." (Стр. 136).

Радвански рисует биографию Трюдо, начиная с его юности и хотя (как отмечали критики из консервативного лагеря) он прошел мимо социалистических увлечений, характерных для Трюдо в прошлом, в целом и с т о к и его политического мышления как в ы х о д ц а и з К в е б е к а и в т о ж е время убежденного федералиста (разумеется, и противника квебекского сепаратизма) прослежены автором довольно основательно. "Политический философ и философствующий политик" — таково название одной из глав книги и таково же мнение, которое Радвански внушает читателю о своем герое. Ибо для него Трюдо — безусловно личность героического плана, так что элементы идеализации и апологетики в адрес Премьер-министра (на это опять же указывали критики из консервативного стана) в книге присутствуют. Радвански, впрочем, признает, что философские взгляды Трюдо чрезмерной оригинальностью не отмечены; в основе своей они заимствованы у таких мыслителей, как Токвиль, Актон, Монтескье, и базируются на теориях "классического либерализма Джона Стюарта Милля и Джона Локка" (стр. 119). Однако прагматический успех эта философия приносит, а следовательно, она оправдана этим успехом, — так думает Радвански и, в сущности, так же думает сам Трюдо. Здесь налицо элемент циничной прямолинейности, но разве существует политика

без доли цинизма? Конечно, "доля" эта может быть большей или меньшей, и в случае с Трюдо она довольно весома, однако таковы уж "лабиринты власти", знатоком коих является Трюдо, а петляния его по этим лабиринтам прослеживает Радвански.

В целом, несмотря на журналистскую изобретательность автора, книга все-таки производит впечатление отлакированного, парадного портрета нынешнего канадского Премьер-министра. В ней больше психологического глянца, чем психологической глубины; она отмечена анализом, но этот анализ не сопровождается нужной степенью критицизма. Видимо, хотя времена массовой "трюдомании" (характерной для шестидесятых — начала семидесятых годов) миновали, Джордж Радвански является, в некотором плане, ее индивидуальной жертвой.

Поэтому для читателя, желающего составить себе объективное представление о Трюдо, опасно полагаться только на рецензируемую книгу. К счастью, в условиях канадской демократической системы, можно получить необходимую корректировку в восприятии личности канадского Премьера. Пресса отмечала холодную расчетливость и элементы трюкачества в политической игре Трюдо в период выборной кампании. Немало журналистов просто "специализируется" на систематической критике Трюдо, его политических идей и практического воплощения оных. (Здесь достаточно упомянуть хотя бы обзоры известного публициста Любора Зинка в газете "Торонто Сан"). Так что, развивая сравнение Джорджа Радвански относительно человека, сидящего в каноэ и обязанного балансировать своим весом, можно рекомендовать читателю рецензируемую книгу о Трюдо, лишь надеясь, что он "сбалансирует" впечатление от нее достаточной мерой скептицизма и критической осторожности.

**МИХАИЛ БЕЛЫЙ.** Свидетельство. Мемуары Дмитрия Шостаковича. Нью-Йорк, "Харпер энд Роу", 1979.

**M. BELY. Testimony, the Memoirs of Dmitri Shostakovich as related to and edited by Solomon Volkov. New York, 1979.**

Возможно, это предрассудок, но когда книга является мемуарами всемирно известного композитора, можно ожидать, что она будет легко-читаемой, заполненной интересными историями о людях артистических кругов и проницательными суждениями об искусстве. Однако, когда речь идет о композиторе, который добился своего выдающегося положения в Советском Союзе времен Сталина, можно предвидеть, что мемуары будут пронизаны атмосферой политических интриг, вины и раскаяния, вперемежку с эпизодами, свидетельствующими о человеческой храбрости. В случае с мемуарами Дмитрия Шостаковича все это дополняется картинами уныния и упадка человеческого духа, но и — слава Богу! — упругости этого духа, что позволяет людям идти вперед, несмотря на все античеловеческие препятствия.

Неудивительно, что "Свидетельство" Д.Шостаковича было объявлено в СССР фальшивкой — излюбленный советский прием опровержения всего, что представляет режим в неблагоприятном свете. То, что люди извлекают уроки из своих ошибок, признав их, кажется анафемой советским идеологам.

Книга содержит огромное количество фактического материала и можно поручиться, что информация о нем исходит от самого Шостаковича, а не является фантазией издателя книги — Соломона Волкова, человека на 38 лет моложе композитора. Напечатать мемуары посмертно было желанием Шостаковича. Несколько раз книгу пытались издать в Советском Союзе, но после неудачи этих попыток, рукопись переправили на Запад. Интересно отметить, что каждая часть рукописи С.Волкова была прочитана Шостаковичем, который приложил фотографию с надписью: "В память наших бесед о Глазунове, Зощенко, Мейерхольде".

Книга Шостаковича повествует о периоде времени, начиная с детства композитора и кончая серединой семидесятых годов. Он знакомит читателей с такими мрачными фигурами, как Андрей Жданов — партийный босс "эстетики", или Тихон Хренников — сталинский администратор в советской музыке. Рассказывает Шостакович и о тех, кто был объявлен "врагами народа", и о самом Сталине, с коим композитор встречался лично.

Типичным для стиля книги является восхищение Шостаковича личностью и музыкой Бородина, который поддерживал феминистское движение девятнадцатого века и к тому же занимался химией — два увлечения, из-за которых он не написал столько музыки, сколько мог бы. Шостакович повествует об этом с юмором, а в конце добавляет: "Сейчас в России нет феминизма; есть просто энергичные женщины. Они зарабатывают деньги, покупают продукты, готовят обеды для своих мужей, моют за ними посуду и смотрят за детьми. Посему есть энергичные женщины как индивидуальности, но феминизма как такового нет. Если бы он существовал, то непременно был бы воздвигнут памятник в честь Бородина". В таком же духе пишет Шостакович о Римском-Корсакове, Глазунове, Прокофьеве, Стравинском, Мусоргском и о многих других.

Шостакович весьма критически высказывается по адресу западных журналистов, называя их "грубыми", "противными" и "глубоко циничными". Свою первую поездку в США он вспоминает с ужасом. Это произошло в 1949 году, когда Сталин приказал ему присутствовать на конференции "сторонников мира" в Нью-Йорке. Его улыбка на тогдашних фотографиях "была улыбкой обреченного человека"...

В книге можно найти похвалы таким людям, как пианист Мария Юдина и музыковед Иван Соллертинский (ближайший друг Шостаковича) за их талант, индивидуальность и мужество. Однако Шостакович не скупится на критические высказывания в отношении людей, которых на Западе принято воспринимать в качестве героев, — в отношении Солженицына и академика Сахарова. Но самой критической оценки Шостакович удостоивает

самого себя. Он знает о своих достижениях в музыке, но прожитую им жизнь достижением не считает. Она, по его словам, была "несчастливой", "серой и скучной"...

Оскар Уайльд однажды сказал, что на трагедию в прошлом смотрят, как на шутку в настоящем. Но что сказать о прошлой трагедии, которая продолжается ныне? Шостакович считает свои мемуары "свидетельством очевидца" и видит их значение в том, чтобы подготовить молодое поколение к суровым законам жизни, а также к самой суровой проверке в ней — проверке собственной совестью.

(Перевод с английского)





Уже несколько лет большая часть молодежи в Советском Союзе приходит ко Христу "...дойдя до грани человеческого отчаяния, заглянув в бездну душевной гибели..." — пишут они нам. Ощущение присутствия Христа является для них единственным возможным путем жизни.

Проникнуты этим светом и образом человека, созданного по образу Божьему, они стараются выработать истинно христианское мировоззрение, которое могло бы одухотворить современную культуру и создать обновленную этику. Церковь, в том состоянии, в котором ее допускает советская власть, не может им помочь. Вот почему они собираются независимо от церковной иерархии для толкования Евангельского учения, чтобы укорениться в творческой Традиции, ответить на вызовы современности, и прежде всего — советской действительности, лишенной духовности. Возникают многочисленные кружки, "свободные семинары", в которых изучаются "проблемы религиозного возрождения в России".

Но власть строго карает эти, еще очень слабые, попытки. "Международная Декларация Прав Человека" и "Хельсинкские Соглашения" нарушены. Власть безбожия ожесточается более, чем когда-либо. За эти месяцы аресты умножились: еще совсем недавно арестовали отца Глеба Якунина, Татьяну Великанову, Льва Регельсона, отца Димитрия Дудко.

На днях нам сообщили, что основатели свободного семинара в Москве Александр Огородников и Владимир Пореш будут судимы не за тунеядство или воровство, как это до сих пор делалось, а за "антисоветскую пропаганду" и "организацию групп". Таким образом, им угрожает приговор к 5-10-ти годам концлагеря и тюрьмы.

Мы еще раз наставляем: их арестовали и их будут судить только за то, что они мыслят как христиане! Ко всем бесчисленным мученикам за веру Христову, пострадавшим от советской власти, теперь будут причислены новые исповедники.

Мы обращаемся ко всем, и прежде всего к христианам, которым дорога свобода духа и человеческого достоинства. Не достаточно только протестовать, нужна и конкретная помощь!

Конкретной помощью для этих свидетелей Духа в России является посылка книг.

Помогите нам посылать книги в Советский Союз: всякая книга, говорящая о смысле жизни, цели существования — струя чистого воздуха для тех, кого отравляет отжившая идеология.

Нам пишут: "Духовный голод в России бесконечен и мы призываем вас многократно умножить ваши усилия для смягчения книжного голода. Необходимо организовать широкий сбор книг для посылки в Россию или

средств для их приобретения. Книга, полученная с Запада, для нас бесценный подарок... Главным образом молодежь интересуется религиозной литературой, Евангелием, Библией, которых почти невозможно достать в Советском Союзе."

Каждая книга, переправленная туда, будет переписана, размножена, будет передаваться из рук в руки и станет живым словом. Тут дело не в политике, а в жизни или смерти души, что так же важно, как жизнь или смерть тела.

Помогите нам посылать книги этим верующим, ищущим людям. Они у нас этого просят, как голодный — куска хлеба!

Деньги можно посылать на почтовый текущий счет РСХД:

**ACER CCP 15 37359 Y PARIS**

или чеком, выписывая чек на имя: **ACER-RUSSIE** и посылая чек по следующему адресу:

**ACER-AIDE CROYANTS, 91, rue Olivier de Serres. 75015 Paris.**

П о д п и с а л и :

*Жан-Клод Барро, писатель; Жан и Элен Бастер, писатели; Жан-Мари Бенуа, профессор в Коллеж де Франс; Жак и Лоренс де Бурбон-Бюссэ, писатель; Жан Брюн, профессор, писатель; Кристиан Шабанис, писатель; Оливье Клеман, писатель; Р.П. Из Конгар, богослов; Р.П. Жак Дассо, богослов; Жан-Мари Доменау, писатель; Пьер Эммануэль, поэт, член французской Академии; Ренэ Абаши, писатель; Таня Эйдсик, пианистка; Жан Лакруа, писатель, член-кор. Института; Марсель Лего, писатель; Жак Мадоль, писатель; Коринн Марион, профессор, писатель; Роже и Ренэ Массип, писатель; Габриэль Мацнев, писатель; Жак Нантэ, писатель; Франс Кэрэ, писатель; Пьер Ришэ, профессор; Филипп Сольерс, писатель.*



# Объявления

ИЗДАТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОК

выпустило в свет новую книгу стихов:

**МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ**

## СОСТОЯНИЕ

Книга включает три раздела: "Внешность" — стихи о кажущемся понимании человеческой личности, "Ситуации" — стихи о странностях природы, и "Просветление" — стихи, написанные под впечатлением надежды.

Цена книги — 5 долларов.

Заказы — по адресу "Современника".

## И

Книгу Избранной прозы ЛЬВА ФАБРИЦИУСА.

Цена книги — 10 долларов.

Заказы направлять по адресу автора:

Mr. LEO FABRICIUS. 9 Garnet Ave., TORONTO, Ontario, Canada. M6G 1V6



Журнал белорусских военных ветеранов "ЗВАЖАЙ" выходит 4 раза в год на белорусском языке. Подписная цена — 4 (четыре) доллара. Заказы направлять по адресу:

ZVAZAJ, 57 Riverdale Ave., TORONTO, M4K 1C2



## ВОЗЗВАНИЕ

Будучи одним из миллиона, противником Злу, Власти-Божьему установлению, грешным человеком — в прошлом, и прозревшим после благословения меня святым сподвижником, упокоившимся бывшим настоятелем Свято-Троицкого Монастыря О.Оверкиным, на войну за восстановление Христовой Веры на Руси, я — покорный Власти, не противящийся Злу, насилию, кары наказания Божиему, — в настоящем, выражаю свое восхищение раскрытием сатанинской деятельности священника Димитрия Дудко и его своры.

Голос беззакония их грешных дел достиг уж Неба. Гнев Божий пребывает на них. Их антихристова деятельность против Христовой Церкви и Власти-Бога на земле зашла так глубоко, что достигла мракобесия... Это Дьявольское племя (учение их и действие), рожденное с конца прошлого и начала сего столетия, не может уж дальше свободно ползать по земной коре, распространять Бесовское учение — Соппротивление Злу, Власти-Божиему установлению... Иоанн Кронштадский (1829-1908), высвяченный на святого Черта в 1956 году здравствующим еще самозванцем первоиерархом Филаретом, назвал Льва Толстого Дьяволом за распространение Им Христа, Новой Заповеди Его — Непротивление Злу. Священник Д.Дудко воспринял и содрал Бесовские творы Иоанна — столпа Сатанинской церкви, из книги "Путь к Богу", чем нарушил каноны Христовой Церкви, возрожденной ныне на Руси после столетнего Ея разрушения Иоанном... За распространение Антихриста учения, Соппротивление Злу, Власти-Божиему установлению, Дудко подлежит Анафеме... Анафема Тихоновцев Власти-Бога на Земле — в прошлом. И Сатанинскими церквями-попами, поселившимися за пределами родины-страны, одержимых духом противления Сатаны — в настоящем, есть самопроклятие, обреченное на самоистребление: потому, что эти долгогривые попы суть самозванцы; они не назначены на трон Богом-Царем на земле. И потому их молитвы обращены к духу Сатаны, не имеющему силы Власти ни на Небе, ни на Земле. Смерть Бесам и их сатанистам-попам — нарушителям Закона Божиего жизни в любви мире на Земле...

ФЕДОР НЕСТЕРОВ

*Редакционное Примечание:* Содержание некоторых платных объявлений никоим образом не выражает взглядов Редакции журнала. Такого рода объявления публикуются на чисто коммерческих основаниях.

# А Н О Н С ! ! !

Читайте в следующих номерах "СОВРЕМЕННОГО":

ЛЕОНАРД ГЕНДЛИН. "Расстрелянное Пятидесятилетие". (Продолжение).  
ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. "Поэма без Предмета" (Песня Седьмая).  
КАСТУСЬ АКУЛА. Глава из заключительной части трилогии "Гараватка".  
НИНА МУРАВИНА. "Новые дороги и старые споры". (Продолжение).  
АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. "Анти-Ленин". (Глава из книги).

Рассказ ЖАНА-ПОЛЯ САРТРА в переводе Р. КРАСИЛЬШИКОВОЙ.  
Новеллы из книги МИХАИЛА ШУЛЬМАНА "Бутырский Декамерон".  
Очерки, рассказы, фельетоны: П. ПЕТРОВА, Г. ШАХНОВИЧА, Е. ВАЛИНА,  
В. РУДИНСКОГО, В. ГЛЫБИННОГО, Ю. БОРИКА, А. ЦВЕТИКОВА и других.

## С т а т ь и :

ЕКАТЕРИНА КУЛЕШОВА. О влиянии Владимира Соловьева на Блока и Белого.

ДИМИТРИЙ ПАНИН. Явление Зиновьева.

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. Каролина Павлова и Языков.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ. Кельтские мотивы в русской литературе.

ТАРАС ГУНЧАК. Панславизм или панрусизм. (Окончание).

АЛЕКСАНДР ГИДОНИ. Маяковский и Евтушенко.

КЛОД БИССЕЛ. Канадская литература и национальная панорама.

Как обычно, широко будут представлены отделы поэзии, библиографии, "Форум", "Литературное Наследие" и "Канада".

*Примечание: По техническим причинам публикация окончания повести ЛЬВА ФАБРИЦИУСА "Страсти по Майку" переносится в № 47 "Современника".*



## ПОД ЭГИДОЙ "СОВРЕМЕННОГО"

Как уже объявлялось, Редакция "Современника" решила осуществить издание специальной поэтической антологии "Поэзия Русского Зарубежья семидесятых годов".

По просьбе наших авторов срок представления материалов для антологии продлевается до конца текущего, 1980 года. О других условиях участия в антологии см.: "Современник", 1979, № 43-44, стр. 289.

ПИСЬМО РУССКОМУ ДРУГУ

*"Белорусский язык... В век научно-технической революции не постигнет ли его участь волжского диалекта?"*

Вашим вопросом взята под сомнение существеннейшая черта моего народа, в которой выражен дух, индивидуальность и в конечном итоге — жизнестойкость белорусов.

Вопрос о белорусском языке, перенесенный из средневековых, дорезолюционных эпох, в известном смысле еще существует. В объеме намного меньшем, нежели существовал он, скажем, сто лет тому назад, когда и белорусский язык, и весь околосемимиллионный народ, говоривший на нем, объявлялись химерой или "польской интригой" в Северо-западном крае; там по триединой формуле — самодержавие, православие, народность — решалось "русское дело", дело скорейшего превращения тогдашних "западноруссов" в "истинно русских" людей. Сие "русское дело", представлявшееся величайшим деянием не одним полицейско-бюрократическим носителями славы России, судьбе угодно было отправить на свалку истории вместе с обломанным клювом хищной птицы, возвышавшейся над императорским гербом.

Белорусы обрели собственную социалистическую государственность, первостепенные социальные и политические права, вместе с правом развивать просвещение "на родной мове" (1). На веший вопрос "посмотрим, что скажут еще сами белорусы" относительно своей самобытности и исторической жизнеспособности, который для угнетаемого и принижаемого народа прозвучал в те мрачные времена голосом искреннего сочувствия и светлой надежды, на этот вопрос мои соотечественники представили и продолжают представлять немало доказательств различного свойства и "калибра", снимая сомнения относительно своего естественно-исторического места в общем предназначении народов и человечества. Можно было бы адресовать Ваше внимание на эти доказательства и Ваш восприимчивый разум нашел бы нужный ответ на возникший вопрос, рассеяв, возможно, сопутствующие ему сомнения.

Но затронутая проблема, выходя за рамки приватной беседы двух друзей, выглядит достаточно сложной и болезненной, чтобы замалчивать ее. Она действительно существует — в остатках ли империального мышления, в рецидивах ли империальной политики — рая и белорусов, не оставляя безучастными и сторонних наблюдателей. В реакции со стороны на современное положение белорусского языка заметно различие во взглядах посещающих БССР украинцев, поляков, чехов, словаков, болгар и русских. Первые недоумевают по поводу искусственного сдерживания, вторые — по поводу "искусственного" насаждения белорусского языка в Белоруссии.

В своих сомнениях Вы — не исключение, хотя мне и трудно скрыть досаду, что стереотип о моем родном слове не чужд даже русским просвещенным умам, не исключая тех, кто сегодня болезненно задумывается над возрождением русской идеи. О массовом обывателе, у которого от усердного поклонения золотому тельцу и "литым богам" притупляется чутье к собственным национальным ценностям, говорить не приходится.

Итак, проблема есть и проблема тревожная: в Белоруссии мы являемся свидетелями развернувшейся ассимиляции. Устроители этого духовного кастрирования населения действуют под знаменем интернационализации и неизбежного слияния наций, игнорируя ту элементарную истину, что в будущую единую общечеловеческую семью придут и идут не безъязыкие народы-кастраты, забывшие свои имена и достоинства, а каждый принесет с собой неповторимый букет своего разума истины и красоты. С какой стати белорусам передавать кому бы то ни было право выражать за них их собственное предназначение на этой планете, тем более, что неоднократные попытки могущественных соседей белорусского народа выразить за него волю и стремления оборачивались нередко в ущерб белорусам, создавая на этом участке цивилизованной Европы "культурное" подобие колониальной Африки.

Типичный продукт и в определенном смысле духовный суррогат ассимиляторской политики явил Вам тот самый капитан дальнего плавания, выражая свое пренебрежение к языку земли, взрастившей его. Нечто похожее можно обнаружить в нынешней белорусской интеллигенции с ее поразительной "безъязыкостью" и национальной индифферентностью, в силу чего критерии ее интеллигентности оказываются под немалым вопросом и саму ее, пожалуй, вернее бы именовать, скажем, кадрами с высшим образованием северозападной части СССР.

Разумеется, ассимиляция (в своем месте мы попытаемся представить некоторые ее реальные черты), как бы она ни форсировалась, имеет свои пределы, ограничиваемые (пусть и ограниченной) белорусской государственностью, и поэтому она бессильна сдержать развитие языка и культуры белорусского народа, хотя способна сужать естественные границы этого необратимого процесса, *тормозя и деформируя* его. И хотя "русское дело" в Белоруссии в 1977 году ни по содержанию, ни по форме, ни по своим конечным целям не адекватно своему однофамильцу 1877 года, нас не может не тревожить сам факт существования такового, пусть и в иных, более гуманных формах.

Не вижу необходимости ломиться в открытую дверь, утруждая Ваше — филолога, внимание изложением различий между диалектом и языком (2). Но считал бы возможным вернуться к некоторым "узелкам" на исторической линии восхождения и возрождения белорусского народа, которые могли бы, как мне кажется, дать представление о глубинных источниках развития и жизнестойкости "моей синейкой Родины и родной мовы мой". О *преходящем* характере недуга "безъязыкости" в белорусском обществе — также.

Письмо к русскому другу — это и моя тоска по сегодняшнему Нико-

лаю Добролюбову, способному с высоты могучего великорусского поля взглянуть на судьбу белорусов не менее уважительно, как и покровительствующе.

Итак — историческое отступление.

В пору продвижения славян с Юга на Север, пришедшие к берегам озера Ильмень переселенцы в окрестностях этих "нашли уже славянский народ, говоривший б е л о р у с с к о й речью (Кривичей)", реку Мутную, вдоль которой расселились пришельцы, они переименовали в Волхов, а озеро Мойско, из которого река брала начало — в Ильмер. "Вероятно, что страна, где поселились новгородцы, была или обитаема, или граничила с обитаемою Кривичами (белорусами), подтверждая тем, что белорусское наречие действительно вторгается в глубину Новгородской земли". (3).

Возможно, отчасти по несходству обычаев "тутэйших" жителей и пришельцев (которые позднее пригласят в князя скандинава Рюрика) возникли спорадические столкновения между полоцкими князьями и новгородско-псковскими. Сепаратизм полочан, как известно, являл одно из существенных препятствий на пути централизации древнерусского государства, развертывавшейся по линии Новгород-Киев.

Известно кое-что и о последствиях, коими доводилось расплачиваться обитателям земли Полоцкой (в т.ч. Минской) за неумение сочетать собственное вечевое начало с общерусским (киевским) централизмом в ту пору, надо полагать еще не состоявшим в близком родстве с демократизмом. "На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави березе не бологом бяхуть посеяни костыми русских сынов" — повествует автор "Слова...", творивший, как подозревают (давняя белорусская версия о происхождении памятника) где-нибудь на берегах Немиги или Свислочи. Семнадцать годами позже после описанной битвы, в 1084 году к берегам мученицы-Немиги придет киевское воинство во главе с князем Владимиром, придет не в образе "красного солнышка", не с целью братской: "Не оставиша ни челядина, ни скотины, все разграбиша и пожгоша". (4).

"Не оставиша" и "пожгоша" — стоит запомнить эти слова, роковым рефреном пронизывающие тысячелетнюю историю Белоруссии в части, писанной киевскими князьями, литовскими и польскими королями, татарскими ханами, московскими царями, французским императором, германскими меченосцами.

Не по этой ли причине художественное слово Бояна белорусского возрождения явилось свету достоинствами не совсем и не главным образом художественными?

Сотні год, няпрыцелям- братам прыбітая,  
Зарастаючы зеллем чужым, як лазой сенажаць,  
Ты ляжала няпамяці пылам пакрытая,  
А народ твой быў змушан маўчаць і табой пагарджаць.



І круцілі цябе, як каму падабалася,  
Кожны строіў, навэдзіў цябе на свой строй, на свой лад,  
Ажно часам жальба, як кляцьба разлягалася  
Ды нячутнай ляцела, уміраючы ў грудзі назад.

Спаў народ, і ты спала, і ворагі верылі,  
Што нішто не разбудзіць цябе, што заснула навек,  
І дзялілі цябе, усімі мерамі мерылі,  
Што памерла ўжо ты — не адзін так казаў чалавек.

Янка Купала. — Беларускае.

Эти четверостишия (если не ошибаюсь, не переведенные на русский язык), фокусирующие еще не написанную историю и философию моего народа, способны подсказать нечто весьма существенное в судьбах белорусского языка и неизвестного белорусского Гамлета.

Вернемся, однако, к раннему средневековью. Только ли феодальной раздробленностью, естественным стремлением полоцко-туровских, витебских, гродненских (не решаюсь добавить: и смоленских) капиталов на Запад и тому подобными "материальными" причинами объясняется поведение белорусских князей-сепаратистов? Которые, не вняв кровопускательным урокам, и позднее норовили сторониться общей упряжки, заставляя сокрушаться (на сей раз сына Мономаха — Мстислава) тем, что "зане не бяхуть в его воли, не слушахуть его, коли зовяше в русскую землю на помощь по паче молвяху Бонякову, шелудивому во здравие." (5).

Причины такой политики коренились, по мнению историка, в лучшем смысле этого звания, не в фамильной вражде, не в недрах княжеского рода, не в каких-то привнесенных обстоятельствах, а в "настроениях самого населения", обусловленных, в свою очередь, географией, климатом и иными естественными факторами. (6).

Только что отмеченные моменты симптоматичны в плане изначального своеобразия в развитии этнической самобытности белорусов, обозначившегося, по-видимому, еще до возникновения противодействующих явлений чужеродного свойства (литовцы, немцы, шведы, поляки). Тем не менее, в противостоянии событиям, неблагоприятным для всего славянства, побеждало духовное родство "западноруссов" с их северо-восточными и юго-западными соплеменниками и единоверцами. В битве на Неве 1240 года против шведов и крестоносцев, вместе с новгородцами и суздальцами, сражались полоцкие воины; к тому времени политический союз Полоцка и Витебска с Владимиро-Суздальской и Новгородской землями скреплял брак Александра Ярославовича с дочерью полоцкого князя Брячислава. В 1262 году в поход против Ливонского ордена "ходиша Ярослав Ярославич и Товтил Полоцкий, Новгородцы и Псковичи, и Полочани под Юрьев, единым приступом три стены взяша, а немцы избиша". (7).

Таким образом, еще одна историческая зарубинка взывает к нашей памяти: "единым приступом взяша, а немцы избиша". Шевеля прошлое,

она также напоминает нам о силе единения для грядущих приступов, от которых вряд ли предохранят нас самые гениальные "программы мира".

Однако, об изначальном своеобразии белорусов в древней общерусской семье. Многое, не известное доселе из их жизни, быта, обычаев, а также об их отношениях с соседями — родственниками и чужаками — поведали бы нам древнебелорусские летописи, писанные, скажем, в Полоцке, Витебске, Минске, о коих нам пока ничего неизвестно, хотя исключать наличие их нет достаточных оснований. Поглотил ли их безвозвратно смерч "все пожгоша", как поглотил он "книжницу" (библиотеку) Полоцка вместе с подлинными произведениями Кирила и Мефодия и, как полагают, вместе с летописью Кривичско-Полоцкой земли во время сражения войск польского короля Батория и московского царя Ивана Грозного (1579 г.)? Скрыты ли от нас многослойными напластованиями времени и когда-нибудь лягутся рукам археологов, подобно недавнему явлению берестяных грамот Витебска? Как бы то ни было, мы лишены возможности судить о тех временах по источникам, писанным самими белорусами, хотя и знаем о их пристрастии к такого вида творчеству. Вынуждены довольствоваться отрывочными и сторонними сведениями из Ипатьевской летописи, позаимствованными, по мнению некоторых историков, из несохранившегося Полоцкого источника. Между тем, древнебелорусское летописание прояснило бы, возможно, предопределенное Богом и Природой живое творческое *начало* в духе моего народа, которое в последующие нелегкие столетия помогло ему сохранить и закрепить свою индивидуальность, предохранив от растворения в литовско-польской стихии, а позднее — от капитуляции перед тотальным обрусением.

Это начало уже в эпоху крушения государственных империй и заката империальных религий помогло белорусам во всеуслышание заявить о праве "людьми называться". Помогло выжить, отстаивая завоеванное право тогда, когда не только дух, но и плоть его оказалась на грани физического истребления. Тем самым — человеческим пеплом Хатыни и 627 Хатыней, жизнью каждого четвертого — они, белорусы, окончательно заручились признанием и уважением народов и государств, заняв свое место в Организации Объединенных Наций и отстаивая, вместе со всеми, мир и справедливость между людьми и народами.

Правда, кое-кто и поныне хотел бы иметь дело с белорусами и даже расточать комплименты по части их мужественного и добродушного нрава за пределами... белорусского языка. Не смущаясь тем, что это был бы взгляд не на живой народ, а на некий этнографический манекен, лишенный души и поэтому безучастный к напяливаемым на него различным "языковым" одеждам. Подход к белорусам как к этнографическому материалу, годящемуся лишь для других, "исторических", народов, столетием раньше мог (по причине "спячки" белорусов) сойти за обыкновенное заблуждение. (8). Сегодня же внеэтнический (внеязыковой) взгляд на этот народ, после представленных им стольких и столь дорогостоящих свидетельств собственной исторической полноценности, трудно не назвать кощунством. И то, что признавалось нормой в самодержавной России —

тюрьме народов, в "союзе нерушимом республик свободных, сплоченных навеки великою Русью", можно и должно называть истинным именем: шарлатанством. Нам еще придется коснуться неладов между величием и великодушием, отнюдь не благоприятствующих белорусскому возрождению, которое — как ни парадоксально — трудно считать законченным хотя бы по причине не полностью снятых ограничений в развитии белорусского языка.

Но прежде чем перейти к вопросу о "лингвистических" недомоганиях белорусского общества, стоило бы напомнить о главном: о существовании и развитии белорусского национального организма. Организма живого, растущего, не однажды доказавшего свою жизнестойкость и свой иммунитет перед самыми неблагоприятными "историческими" инфекциями.

\* \* \*

Женщина во время родов — если верить Семенову-Штирлицу — кричит "мама" на языке и даже оттенке, усвоенном с материнским молоком. Так, должно быть, и народы — радость и боль, тоску и надежду, все в себе суще выражают своим естественным словом.

Истории не так давно угодно было еще раз — и теперь с особой пристальностью и суровостью — взглянуться в лицо белоруса, испытать на прочность дух белорусский: его расстреливали, вешали, сжигали. Выстоял он, пронеся сквозь могильные рвы и дым пепелищ свое слово родное. Вслушайтесь:

"Палілі нас у сорак другім годзе, напрадвесні. Гэта эсэсаўцы былі. З чарапамі. ...Нас пяць душ выскачыла. Ага, дык яны як ляцелі ключэм цераз гэтае вакно, дык немцы да іх вочарадзё пусцілі... Яны беглі ўсе, як гусі якія, ключэм так яны ўсе і паляглі, гэтыя людзі. А я ззаду ў вакно выпала і тут канаўка была, і кусцікі былі такія... І ляжала я ў гэтай канаўцы. Каб на мяне гэты агонь быў, вецер, дык я б згарэла, усё роўна згарэла б у гэтай канаўцы, але вецер кланіў туды, на склады, склады таксама гарэлі. Дык я і засталася.

А далей ляжала, ляжала, гэтыя ўжо людзі пішчаць, выюць, сабакі брэшуць... Даходзілі ўжо. Ой, на розныя галасы, не можна! Вот ужо зноў пачало мяне калаціць! Крычалі людзі на розныя галасы. Так ужо гэта, у тым клубе. ...Устала я. Каб дзе кот ці які верабей, ці што на свеце — ўсё... Гэта такая цішыня... А можа я толькі адна на свеце засталася? Дык я думаю — няхай гэтыя немцы ці прыстрэляць мяне, ці што ўжо... Бо як я буду адна жыць на свеце."

"... А я гляджу ўжо — цёмна, так толькі месячко ўсходзіць, толькі пачынаў усходзіць. Тады вот у нас старая была адна (яна намерла, здаецца, запролшы год), дык яна:

— А мая ж ты, — галосіць, — дочанька, за што ж цябе забілі, хай бы лепш мяне! ... А тут з намі ў гэтай хаце быў хлопчык адзін. Бацьку яго забілі ў тым хляве, дзе былі мужчыны, а яго адзедзі за

дзяўчынку: бо гаварылі, што хлопчыкаў забіваюць. Дык яны ўзялі яго сюды, адзеўшы дзевачкай. А яго, беднага, параніла крэпка: растрапалі тут во, живоцік, усё, усё... Дык ён, бедны, просіцца:

— Выміце мяне, каб я не гарэў.

А тут ужо ўсё гарыць. А ён просіцца...

Мы, праўда, за яго і — цераз акно. І самі праз акно вылезлі. З гэтай самай жанчынай. І што ж! — па нас яны сталі страляць, а мы так за дым гэты захіліліся і пайшлі”.

”Я думаю, куды мне, Бога мой?

... Куды людзі, туды і мы! Што Бог дасць”.

”Мы былі ў лесе, гаворыць Вольга Рыгораўна Грышановіч, ну і прышлі з лесу, калі нашых спалілі. Паглядзелі, сабралі попел: дзеці ляжаць — здаецца, жывое. Возьмеш — папялок рассыпаецца. У адной хаце мы сабралі ўсіх. Дзевяць цаброў — адны беленькія костачкі”.

”Надзька, дачушка мая! Мяне заб’юць, а ты хавайся дзе!”.

”Я, мае дзеткі, трохі недачуваю... Я вам буду раскадваць як было... І толькі, мае вы дзеткі залатыя, як гэта мы з вамі гаворым — ужо выстрал. Ужо людзі — хто на конях з таго Адамова, першага ляцяць сюды. З гравейкі выстрал. Тут упаў адзін. Ён так упаў, яго не забілі... Ой, пулі свісцяць. ...Пабілі мне акно ў хаце. Пуля пабіла. Усё ўжо — немцы тут. Акружылі... А мае (дзеткі) як сядзелі на палу... Вядома, маленькія, а каля печы полічак быў такі... Хата была новая, харошая. Як згарэла, дык яны... Іх кірпіч і заваліў там... Яны ўжо там і папакліся... Мы пасле іх толькі костачкі такія пазнаходзілі. І з плаціцаў пугавічкі... А то згарэлі яны ўжо... Гэтыя трупы мы паўбіралі, пазакопвалі. Трун не рабілі. Так палаценцамі пазасцілалі і пазакопвалі... От як здзекваліся з народу! ...Мой быў пасля ў партызанах. А пасля прыйшоў з вайны з гэтае і забалеў ён, і памёр”.

”Сорак восем было гаспадарак. Чалавек сто восемдзесят — усіх пабілі. Асталася чатыры бабы і два мужчыны. Адзін у ячмяні лёг, а другі ў калодзеж ускочыў”.

”Штыхамі дзетак маленькіх паролі...

А потым, як ужо наша армія ішла, нашы ў плен іх узялі. І шанавалі. Мы пайшлі глядзець іх, дык яны сядзяць каля агню, навычосваліся... Пленныя! Дык мы кажам:

— Каб вас у агонь пакідаў, як вы нашых дзяцей кідалі! ... Так яны і пасунуліся ад агню далей”.

”Як ужо білі!... Ай білі! ...Лес шумеў і зямелька стагнала, як білі. Хто дзе... Колькі нас адбеглася? Бабы дзве толькі. А то ўсё дзеці. Яны пусцілі з пулямётаў у рост, а дзеці маленькія і засталіся гадоў па пяць, па шэсць каторыя”.

”Мая адна дзевачка ўцякаць, а той давай з пулямёта біць. Яна і ўпала на мяжу. Немец хлопца паслаў... Ён, той хлопец, і сёння е... ”Забяры тое дзецка, што я забіў!” Хлопец пабег, трасе яе: ”Жэня! Жэня! (Бабуля плача). ”Я яе — казаў потым той хлопец — узяў на бярэмя, прынёс”. Ён падняў ей плашчэчка, глядзіць. ”Во, -- кажа, -- шчаслівае дзецка: я яго з пулямёта так біў і — жывое...”

Таков он, язык белорусов, повествующий сегодня человечеству о том — тем, возможно, являя ключ к национальной идее народа — каким сверх-скотом делается всякий, вздумавший стать сверхчеловеком. Диалекту, даже окропленному водами могучей реки, такая нагрузка, согласитесь, вряд ли по плечу.

Язык, закаленный под пытками варваров, "чингис-ханов с телеграфами" (А.Адамович), выжил неужто затем, чтоб исчезнуть в хитросплетениях "просвещенного" молоха? Не думаю.

Научно-технический прогресс несет в себе не одну сплошную унификацию. Дифференциацию, разнообразие — тоже. Можно судить хотя бы по детищу века — телевизионной коробке, наполняющей телеэфир "от Москвы до самых до окраин" не одной унифицированной программой "Время", "17" и прочими телемгновеньями. На тех же "окраинах" с голубого экрана звучат не одни маршевые песни, вроде "Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути"... Там слышится и нечто глубоко прозрачное, способное всколыхнуть очерствевшую от бесконечных "парадов" душу: "Ой, реченька, реченька, чему ж ты неполная..." Конечно, пропорции звучаний первого и второго свойства далеки от их соответствия духу и плоти живого человека. Первые заявляют о себе громче, решительнее; они — пока в почете сии качества — "короли" сцены, экрана, эфира. Это печалит. Однако не менее радует то, что уже не только они — звучания маршево-сомнительного свойства, владеют умами и настроем людей в озерно-ракитовом крае. Техническая революция — не только смерть и гниение. Она также — рождение и пробуждение. В народе, как и в личности, она усиливает позиции знания, а с ним — достоинства, гордости, духа творчества, самовыражения и самоутверждения. Словом, в ней — свой животворящий источник и свое болото, свой расцвет и свое увядание, разве что увядание — только одно из проявлений жизни, но не сама жизнь, бесконечная в развитии. От нас с Вами зависит, чему отдать предпочтение.

Нашлись же трое белорусских интеллигентов (9): они вооружились этой самой "НТР", объездили и обошли белорусские села и местечки, записав на магнитофонную ленту воспоминания уцелевших смертников Хатыней и явив современникам и потомкам уникальный исторический и литературный памятник.

Вглядитесь же в лица живых из "вогненных вёсак", вслушайтесь в их печальную речь, от которой веет не только печалью. Многие поведают Вам эти люди, в том числе и о бессрочном паспорте своего языка.

Вслушался же Поэт сестры-Украины в дыхание испепеленной земли:

— Я Ядвига,  
Учительница села,  
Хлебороба хатынского дочь,  
Здесь подпольно  
Уроки с детьми я вела,  
Шли занятия каждую ночь.  
Чтоб предатель и враг-чужеземец

Не знал,  
Не глумился кроваво  
Над нами,  
Первоклассник  
И тот  
В нашей школе читал:  
"Никогда мы не будем рабами..."  
Мне, Ядвиге Каминской,  
Неведом был страх,  
Я боролась за правое дело,  
Чтоб у всех белорусских детей  
На устах  
Белорусская мова звенела,  
Из криничных ключей,  
Из шумящих лесов,  
Чтоб звенела, как наши цимбалы,  
И несла чистоту свою  
В хор голосов  
Песней Якуба,  
Песней Купалы.

Микола Нагнибеда. Хатынь.

\* \* \*

Таков он, белорусский народ — народ, как свидетельствуют дни минувшие и нынешние, — не раб и не нем. С позиций этого народа, не подающего признаков онемения, поставленный Вами вопрос не существует. Он возник не среди белорусов, а в стороне от их исторического восхождения и вопреки ему. У него весьма давняя, хоть и не весьма славная история.

Этот вопрос поставлен теми, кто смотрел на белорусов примерно так, как смотрит столяр на неструганную доску, норовя стругать ее до необходимости, по разумению деревообделочника, гладкости.

Поначалу польский король поровил достругать мой народ до блеска окатоличенного шляхтича. Затем московский царь-единоверец, исправляя старания своего польского коллеги, "врачевал" над израненным белорусским организмом, силясь вдохнуть в него великодержавный дух "истинного" великоросса. Парадоксальнее всего, что усердия эти проистекали от "великороссов" с немалой примесью в них германских кровей. Как знать, не завершилось ли бы "врачевание" по прусскому образцу испусканием живого духа белорусов, не поскупись история на время для ветеринарных усилий российского императора и не прикажи она двуглавному орлу долго жить. Возможно — не поторонись история — на сегодняшней 2700-язычной планете одной мовой было бы меньше, а у "великого и могучего" — одним диалектом больше. Не знаю, выиграл бы или нет от этого русский язык (чрезмерные диалектные нагрузки вряд ли на пользу даже самым мощным языкам), но общечеловеческая культура обеднилась бы определенно.

Польский король старался триста лет с лихвой. Российский царь — полтора ста лет. Почти полтысячелетия мой народ, оставленный и преданный своими высшими и средними слоями, норовили, каждый на свой лад, сделать "истинным". Не вышло. Остался он, верный своему предназначению, белорусским народом, выйдя, однако, из столь длительной инквизиторской лаборатории духовно надломленным. Почти без своих писателей, историков, философов, художников, композиторов.

Четыреста лет позволялось ему только рожать для более могущественных соседей Костюшек, Мицкевичей, Достоевских. Не позволялось зато передавать детям своим собственный язык, посредством него — дух и мудрость народа. И вырастали дети, забывшие своих родителей, сменялись поколения, не помнившие уже своего первоизданного родства и имени. И сами белорусы уже было основательно засомневались в своей самости, "явив" почти в центре Европы этнографическую диковинку — мужицкий народ, именовавший себя "тутэйшым".

Должно быть, значительный "масштаб совершенства" (И.Гердер) изначально был сообщен этому народу, коль встряхнулся он от духовной снудки и замятывания именно тогда, когда история уже, казалось, завершила в этой части земли поименную инвентаризацию всех народов и государств.

Богушевич, Кунала, Колас, Богданович, Тетка, Ядвигин, братья Луцкевичи... Из недр белорусских являются люди и стремятся выразить — пусть не все одинаково верно и удачно — идею своего народа, скрытую под его домотканым рубищем. И как раз с *возрождения белорусского языка* начинают они свою великую и нелегкую работу.

Этот язык еще четырьмя столетиями раньше звучал во дворцах литовско-белорусских канцлеров и магнатов, выразил совершеннейшее по тем временам законодательство (Литовский статут), гением Франциска Скорины явил белорусам и всему восточному славянству первый перевод "Библии", содействуя "научению простых людей рускаго (не смешивать с русским — авт.) языка" и "леншаму выразумлению люду християнскаго и посполитого". Этот язык, столь обещающе заявивший о себе во времена Ренессанса, оказывается на несколько веков (ирония геополитик и геокультур?) оттесненным со всех улиц и перекрестков публичной культуры и политики и загоняется в курные крестьянские лачуги. Этот язык в его собственном доме низводят до положения гадкого утенка. Ускорившая свою поступь история начинает обходить его стороной вместе со своими научными и художественными открытиями, творениями, промышленно-техническими переворотами, политическими революциями — всеми теми явлениями, в общении с которыми развивались, совершенствовались (впрочем, и засорялись) другие европейские языки.

Белорусский язык, подавший на рубеже XIX-XX веков свой измученный, но еще достаточно живой голос, напоминал чем-то робкую, застенчивую Золушку, решившуюся отправиться на королевский бал. С тем отличием, что первые белорусские подвижники, взявшиеся сопровождать выход своего "мужицкого языка" на мир людской, не располагали ни вол

шебством доброй Феи, ни могуществом принца. Белорусской Золушке предстояла нелегкая задача разубедить высокомерную и самоуверенную публику в том, что за ее простой внешностью скрывается не простоватость, а нечто более существенное и не менее благородное и что ее словотворческие способности имеют мало общего с налепливаемыми на них эпитетами "трапка", "парадак" и т.п.

"Ради жизни язык свой берегите" — с таким наказом вступили белорусы в XX век, одновременно наверстывая дела эпох минувших, некогда их обошедших, и осуществляя веления новой эпохи. Вполне добротные результаты крупномасштабной и многоплановой работы невозможно представить вне белорусского языка, к многожилности которого прибавляется немало иных достоинств, позволяющих ему шествовать "вровень с веком" и поднимать свой, уже далеко не мужицкий народ до уровня современной эпохи.

Судите сами. В 1906 году усилиями небольшой группы мелкошляхетских интеллигентов-белорусов вышли первые газеты на белорусском языке "Наша доля" и "Наша нива", не без раздражения встреченные тогдашней русофильствующей и полонофильствующей публикой как нечто надуманное и противоестественное. (10). 70 лет спустя представитель ООН с благодарностью принимает от моих соотечественников 12 томов "Белорусской Советской Энциклопедии" на хранение в книжных архивах Объединенных наций. К языкам более или менее могучим нашего СССР и других стран, давно и постоянно осваивающим более и менее лучшие творения белорусов, недавно прибавился английский язык. Уолтер Мэй, переводчик антологии "Белорусской поэзии", стремился передать английскому читателю "красоту, музыкальность белорусского языка, его искренность и силу, раскрыть источник мужества и непоколебимой веры народа в лучшее будущее, все то, что он так любил в белорусской поэзии и в белорусах" ("Звезда", 10 октября 1976 г.). С доброй ласки советской космической промышленности "мова моя" в творениях Якуба Коласа устами Петра Климчука поднялась в космическое пространство, где ее услышал второй обитатель корабля русский брат Севостьянов.

Словом, наказ Мацея Бурачка, отца белорусского возрождения, не забыт. Живет и развивается язык белорусский, а с ним — народ Беларуси. И если кому-то кажется, что это развитие — к закату, то в таком заблуждении меньше всего повинны белорусы.

Вопрос, с которого началось это письмо не выражает — повторяю — ни интересов, ни воли белорусского народа. Но отражает определенное отношение к белорусам со стороны. Так уж ведется издавна, — Вы это видели, — что роковое "со стороны" далеко не всегда "угадывало" то, что для белорусов лучше и что хуже. Казалось бы, канули в Лету причины, в силу которых этот народ долгое время оставался объектом сторонних интересов и политик, а состояние нашего языка не перестает вызывать вопросы и недоумения.

*Почему же* так происходит? Почему и сегодня белорусам приходится тратить немало усилий на расчистку завалов, препятствий с пути развития



своего языка, своей культуры? Почему история, сообщив им необходимое ускорение, не оградила это ускорение от пут инерции и консерватизма, в силу чего культурное восхождение не свободно от холостых оборотов и даже попятных движений?

Исчерпывающие ответы на эти вопросы не по моим силам, как бы не удлинялось и без того растянувшееся письмо. Не уверен, что такие ответы вообще возможны сегодня. (Приходится помнить к тому же: живем мы не только в век братства, но в век доносительства тоже. По этой причине молчание перед несправедливостью даже в почете не меньшем, чем, скажем, святая сама справедливость.).

Тем не менее решаюсь привлечь Ваше внимание к одной существенной стороне вопроса, способной, может быть, раскрыть и сам вопрос. А именно: к остаткам "русского дела" в ... суверенной социалистической Белорусской Республике.

\* \* \*

Вот что свидетельствует "Лысая гора", литературный памятник белорусского народного творчества семидесятых годов XX века:

Был час, был век, была эпоха,  
Когда, наловшись в отвал,  
Кой-кто уверовал в панчошу —  
Надежно - сытый идеал.

Когда в родной столице Минске  
Культурно вскормленный нахал  
Самоуверенно по-свински  
Родную речь мою пинал.

Когда иной артист народный,  
Не зная двух народных слов,  
За сытый харч "творил" здесь плодно  
К усладе тутошних ослов.

Они давно готовы были,  
/Давя с трибуны души крик,  
/Лобить на нет, свести в могилу  
Купалы-Коласа язык.

Когда бы партия по-русски  
Не укрощала волчью прыть,  
Они и дух наш белорусский  
Живьем не прочь бы проглотить.

Не вижу нужды в более веских доказательствах, хотя частных фактов по существу проблемы придется еще касаться. Политические обобщения такого накала не вырастают сами по себе. В них — кровоточащая рана белорусов. Не тех, которые в начале века, пожелав "людьми зваться", понесли

на изможденных плечах "свою кривду". Дети и внуки тех белорусов уже стали людьми и потому-то не могут прикинуться с ущемлением их национального достоинства. Тогда вопль белорусов сочувственно услышала Россия Горького и Ульянова-Ленина. Я не знаю имени России, которая прислушивается к сегодняшней печали моих соотечественников, хочется верить, что эта печаль не останется не услышанной.

В чем причины ассимиляции? Кто ее непосредственные виновники? И эти вопросы заслуживали бы специального рассмотрения. Но кое-что нам подсказывают только что процитированные четверостишья.

Зло отчасти — в самой эпохе, позволяющей "панчохе" котироваться идеалом высшего порядка. Трудно понять — откуда возникают такие "идеалы" (вследствие неудачной стыковки обеих революций или из природы одной из них), но они налицо и чтобы в этом убедиться, не обязательно ехать в столицу Белоруссии. Когда же "панчоха" находит себе пристанище в политике, в культуре, результаты не замедляют сказаться. И только ли в Белоруссии?

Признаюсь Вам: рассматривая полки и витрины книжных магазинов Москвы, вчитываясь в заголовки русских газет, в чем-то недалеко ушедших от "казенных громкоговорителей" (М.Кольцов), не нахожу картину с моим языком более мрачной, нежели нынешнее обращение с языком Пушкина, Гоголя, Твардовского, Шолохова. Какая доля из словарного запаса этого языка находится сегодня в общеупотребительном обиходе? Не уверен в том, что эта доля — достаточная для успешного обслуживания двух революций одновременно и тем более — для подготовки грядущей "революции духа". К тому же "окраинам" не безразлично, с каким багажом жалует к нам "великий и могучий". Со словами: революция, коммунизм, социализм, коллектив (пусть себе и заимствованными), или — со словами и словосочетаниями: блат, бронь (билет на поезд, в театр и т.д.), дефицит (почти во всем), очередь (почти за всем, за водкой — в особенности), бардак (почти везде), в долгу не останусь (намек на взятку) и бесчетным множеством им подобных, вкroppившихся в жизнь и быт белорусов (только ли их?). Куда печальнее, когда развитый и великий язык становится средством для целей отнюдь не великих, причем не обязательно в руках русских. "Панчошные" дела небезыскусно обделывают сегодня сами белорусы, превосходя, порой, казалось бы, не превосходимых в этом смысле потомков "черты оседлости".

Так, недавно они приняли закон БССР о народном образовании, записав в нем, что учащимся средней школы предоставляется возможность обучения на родном языке или на языке другого народа СССР, а родители имеют право выбирать для детей по желанию школу с соответствующим языком обучения. А вот политика, действующая "по закону": "Открывая широкие возможности для изучения белорусского и русского языков, мы считаем *непозволительным* какие-либо шаги, создающие предпочтительные условия для любого из них, подчеркивающие приоритет того или другого". (11).

Стоит Вам заглянуть в Белоруссию, чтобы убедиться в том, как спра-

ведливая буква закона и внешне безобидные слова политика о равенстве обоих языков оборачиваются на практике "равенством" Красной Шапочки и Серого волка, как резко сокращается количество школ с белорусским языком обучения, как учащиеся повально ("по желанию родителей") стремятся освободиться от изучения родного языка, а если и принуждаются к изучению (кто-то же должен, коль существует Белоруссия, изучать и белорусский...), то "изучают" его со всей изобретательностью усвоения не ахти любимых предметов. Таков "языковой" климат формирования будущих "капитанов" дальнего и ближнего плавания.

На следующей ступени учащегося будут, скажем, в Бобруйске учить палехскому промыслу, но не традиционной белорусской росписи, еще выше — учить проектному и строительному делу, главным образом в ракурсе железа и бетона, в век НТР действительно "безнациональных". Таким образом вырастают художники, готовые зарабатывать, но не способные творить. Появляются проектировщики, обделенные чувством национального своеобразия, исторической преемственности, и в своем изобретательстве не способные подняться выше фантазии обитателей города Глупова.

К примеру, белорусские глуповцы хотя и не Волгу "толоком замесили", зато живую Немигу засыпали песком и укатали асфальтом, снеся заодно единственный в Минске старинный квартал — сердце древнего города. На сим месте нынче царствует роскошный пустырь. Со временем, говорят, он украсится не менее роскошными торговыми рядами (непрененно "самыми-самыми"). И наша бедная историческими достопримечательностями белорусская столица обогатится, наконец, уникальным сооружением — памятником Головотяпству НТР-овской эпохи.

Проблема, разумеется, не только в развитии художественных промыслов, архитектуры. Живопись, скульптура, графика, плакат, музыка, кино, хореографическое искусство — словом, состояние всей белорусской культуры нельзя понять вне проблемы белорусского языка. Понимая под языком не столько функцию общения между людьми, сколько, и прежде всего дух и способ жизнедеятельности и самовыражения людей. Можно, без большого риска ошибиться, предположить, что на сегодняшний день в белорусской культуре, за некоторым исключением литературного цеха, много специалистов, кадров с высшим образованием и мало, до обидного мало интеллигентов. Белорусских интеллигентов.

Что же в том предосудительного, спросите Вы, если люди охотнее предпочитают русский язык — белорусскому? Как же можно не считаться с желаниями людей? Но в том-то и суть проблемы — кощунственная суть, — что внешние и случайные (привнесенные многолетними неблагоприятными обстоятельствами) признаки выдаются порой за естественное волеизъявление.

Следуя такой сомнительной логике, можно было, к примеру, и в 1922 году внять настроению слупкого мужика, отказывавшегося поддерживать школу в деревне его лишь на том основании, что там "молиться не учат, а некую белорусскую мову вводят". (12). Кстати, и тогда находились люди, которые сносили видеть в белорусской крестьянской отсталости ве-

ление времени. Эти люди — уже не царские сатрапы, а бурсевестники революции, — выступавшие в первые годы советской власти против "искусственного насаждения" белорусской национальности (13), видимо, считали себя правыми, полагаясь на тогдашнее настроение усредненного белоруса, еще не совсем очнувшегося от четырехсотлетней спячки. Бурсевестникам светлого будущего еще предстояло усвоить элементарный урок истории, что ни соединение пролетариев всех стран, ни установление всемирного братства народов немыслимы над национальностями и тем более — вопреки им. Жизнь вскоре заставит их признать, что революция — если не сводить ее к обыкновенному политическому перевороту — не преподносится народу в качестве подарка; она совершается *самим* народом сообразно его историческому опыту и духу.

Только на этой основе белорусы, втянувшись в перестройку жизни, смогли строить новую жизнь, как бы заново создавая и самих себя: людей со своим именем, языком, со своей культурой.

Условия социалистического строительства не всегда были благоприятными. Из 60 лет советской власти отнимите 20 лет на территориальную расчлененность белорусского организма (Западная Белоруссия под гнетом буржуазной Польши), 7 лет на две войны, вдоль и поперек перепугавших этот край, лет 10 — на послевоенную нормализацию (проблемы куска хлеба и крыши над головой). Остается всего лишь 20 с небольшим лет, да и те не лишены крайностей или обыкновенного авантюризма в национальной политике.

За столь короткий срок стало возможным понастроить в Белоруссии заводов и городов, осушить болота (перестарались, говорят, и здесь, сводя местами осушение к иссушению), обеспечить социальные блага. Но не успелось — и не могло успеться — завершить национальное возрождение, достижение народом национальной культуры. Когда белорусская речь в форме литературного языка *вернулась бы* (уже не в дворцы канцлеров и магнатов), а в кабинеты судей и политиков, в залы заседаний, в детские сады, школьные классы и студенческие аудитории, в театры и клубы (не только и не столько на сцену), на улицы и площади городов и поселков...

Трудно сказать, когда придет поколение белорусов, окончательно излечившихся от комплекса языковой неполноценности, от своеобразной национальной стыдливости. Но формирование этого поколения — уже сегодня не призрак, а живая реальность, тянущаяся к солнцу молодыми побегами на обновленной белорусской ниве. Политики, допущенные к этому необратимому процессу, могут его ускорять или замедлять (чаще, к сожалению, они предпочитают последнее), но не в состоянии "переделать" его внутреннюю логику даже с помощью вводимых законов, открывающих путь к... беззаконию.

"Охранителям" равенства прав обоих языков в Белоруссии почему-то невдомек, что сие "равенство" на *неравных* исходных возможностях того и другого и что более сильному больше предоставляется... привилегий (14). Им — всерьез, видимо, считающими себя марксистами-ленинцами, невдомек, что после многовековых преследований, сильно затормозивших и де-

формировавших развитие белорусского языка, следует прежде всего устранить *фактическое неравенство* — огромные историко-культурные диспропорции в уровне обоих языков, словом, обеспечить "выравнивание уровней" в соответствии с природой социализма, как ее понимали Маркс и Ленин. Не покуснитесь для вчерашнего "гадкого утенка" льготами в тепле и пище; и лишь когда тот, обретя силу, взмахнет окрепшими крыльями и займет свое место в ровной журавлиной цепи — тогда ваша прокурорская "непозволительность" может иметь какой-нибудь смысл.

Но если "потребность" или "угода дьяволу" способны заслонить отдельным деятелем историческую перспективу, от этого сама перспектива еще не исчезает. Некоторым "законодателям" 30-х годов, отмеченных тотальным наступлением на юные, еще не окрепшие силы белорусской интеллигенции (Порецкий, Игнатовский, Александрович, Шекоцихин, Галавач, Чарот...) тоже было, видимо, невдомек, что их р-р-революционное наступление на "буржуазный национализм" в социалистической Белоруссии недалеко отошло от самой махровой контрреволюции, прикрывающей грязную работу красным стягом. И что через каких-нибудь двадцать лет время реабилитирует жертвы, хотя (пока) не назовет истинным именем инициаторов и исполнителей "нероновщины XX века". Белорусская культура еще не скоро оправится от кровопускания над первым поколением ее интеллигенции, брошенным в пасть угольно-золотых разработок Крайнего Севера и Восточной Сибири.

Даже социально справедливый строй, как видим, оказывается бессильным там, где политика отчуждается от нравственности. Преодоление этой отчужденности — в интересах более благоприятного развития родного языка и не только — могло бы значительно содействовать белорусской интеллигенции. Сама она, как Вы знаете, страдает недугом безъязыкости. В этом ее и вина и беда. В этом, может быть, одна из острейших проблем белорусской национальной жизни...

Что происходит на практике? После 400-летнего изгнания нашему родному языку позволили, наконец, существовать рядом с русским, однако на условиях, чем-то напоминающих условия приживальщика (на своей собственной земле!): он вытеснен из сферы дошкольного (город), отчасти — школьного, профессионального, среднего специального, высшего воспитания и образования; не позволили ему закрепиться ни в партийном, ни в советском аппарате, обслуживающем всю официальную жизнь Республики. (15).

Подготавливаемые и живущие при таких обстоятельствах интеллигенты, не усвоив как следует родного языка и не свыкшись с ним, не в состоянии передавать его своим детям. Чаще дети таких интеллигентов впитывают с молоком матери язык... не материнский. Можно понять позднюю реакцию на изучение белорусского языка в школе, как и повательные старания родителей (благо — закон освящает) оградить своих крошек от чрезмерной учебной нагрузки.

Не усваивает эта интеллигенция глубоко и чужого языка — понятно, го, доступного, но не одухотворяющего. На этом языке она создает элект-

ронно-вычислительные машины, пишет канцелярские справки и политические доклады. Но не в состоянии развивать *культуру*, которая во все века вырастала на конкретной земле...

И все же возможности денационализации белорусской интеллигенции не беспредельны. О бесперспективности отмеченного явления можно судить по глубинным тенденциям как самого белорусского общества, так и сопредельных с ним народов — поляков, украинцев, литовцев, латышей; всего современного человечества, у которого тяжелое, прерывистое дыхание необузданного "прогресса" вызывает к жизни новые и более сильные национальные импульсы, способные врачевать и возвышать человеческий дух над "свинными помоями" века.

Белорусская интеллигенция со временем пояснит миру, что ее межнациональная коммуникативность вырастает из ее собственных национальных достоинств, но никак не в стороне от них и что вненациональный "интернационализм" имеет столько же общего с природой и духом социалистического строя, как и бесчисленные "дворянские гнезда", "дома бедноты" — лесные и городские "палаццо" *слуг народа*, упражняющихся на народном теле лишь постольку, поскольку народ еще не сказал своего извечного: досыщ! — довольно!

Веру мою питают физики-страшники, спасающие от "научно-технического" варварства живопись древнего Полесья (остатки усадьбы Достоевского спасти не успели они). В их подвижничестве — грядущий день белорусской интеллигенции в широком смысле этого слова.

Можно надеяться также: со временем и русский язык в отношениях с "беларускай моваю" найдет оптимальное сочетание величия с великодушием. Тем более, что эта гармония заложена в природе языка братского народа, следуя которой всеми чтимый великоросс В.И.Ульянов-Ленин стремился сам и нам наказывал "защищать российских инородцев от нашествия того истинно русского человека великоросса-шовиниста, в сущности подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ." (16).

Наученные историей, мы различаем благотворное влияние языка русского народа и тлетворное "не п.п.отерплю", "р...разорю" "истинно русского держиморды", обличье которого дополняет сегодня обюрокращенная и обезнационаленная часть белорусского общества. Часть, однако, не сводимая к целому и не имеющая ничего общего с внутренним состоянием и исторической динамикой целого.

О части более существенной и органически слитой с целым можно узнать по иным источникам. Хотя бы вот по этому:

Речь родная звучала недаром,  
Единая шеренги бойцов.  
С ней во пламени битв и пожаров  
Зашеклась белорусская кровь.  
От глумленья ее защищая,  
Шли в атаки, горели живьем —

Чтоб народ мой, неволи не зная,  
Жил и славил бы счастье свое.

(Нил Гилевич).

Возможно, одного этого восьмистишья оказалось бы достаточно, чтобы "снять" Ваш вопрос, и не следовало утомлять Вас так растянувшимся и не совсем "причесанным" письмом? Но не моя в том вина, что, мучась над строками, думалось не только о друзьях. О неблагожелателях — тоже. Тех последних Господь, как известно, обошел даром понимать с полуслова. Вот они и низвергают обличительные водопады там, где следовало бы вынять голосу разума и совести. Их самоуверенная безапелляционность отчасти и поощряет на длинноты в вопросах, в общем-то ясных.

Далеский от намерения в чем бы то ни было просвещать Вас, я не мог не надеяться на понимание и поддержку русскими друзьями сегодняшних стремлений белорусов, частично обозначенных в этом письме. Надежда моя покоится на глубоком уважении к русской идее с ее (насколько она доступна моему пониманию) отрицанием религии власти и утверждением религии духа. Естественна также наша солидарность с возрождением вашей идеи; без духовного самоочищения русского народа и нам трудно рассчитывать на успех своего дела. Белорусы не обладают, возможно, соборными, комюпаторными качествами, но по своей сути они — также народ богочеловеческий и чуждый человекобожеству.

Накрепко породненным столетиями, быть нам вместе и в грядущем испытании, уготованном Славянству. Выстоим тем успешнее, чем раньше избавимся от остатков внутреннего пан-монголизма, научившись у в а ж а т ь то, что отличает каждого из нас. Как научились мы дорожить драгоценными нашего родства.

Наше стремление находится в полном согласии с пониманием всеславянского единства его непревзойденными выразителями: "Было бы очень прискорбно, если бы, например, подражая политике канцлера Бисмарка, мы поставили вопрос о наших окраинах на почву принудительного и прямолинейного обрусения". (17). Провидению угодно было заставить Россию поступиться как "своими" окраинами, так и частью своей государственности в пользу родственных народов. Ни могущество и слава русского народа, ни уважение к нему со стороны белорусов, украинцев (поляков, финнов — тем более) от этого не могут пострадать, а братские чувства — если они действительно существуют — надежнее всего искать в наше время.

Внимая голосу Провидения, да будем последовательны!

1976-77 гг.

#### П р и м е ч а н и я:

1. Конституция БССР. Минск, 1973.
2. Разве что осмелюсь порекомендовать небезынтересное пособие: "Белорусский язык для небелорусов". Минск, 1973.

3. Н.И.Костомаров. Правда Москвичам о Руси. — "Основы", СПб., 1861, кн. 10, стр. 4.
4. Цит. по: Игнатовский В., Смолич А. Белоруссия. Минск, 1926, стр. 26.
5. Цит. по: Любавский М.И. Основные моменты истории Белоруссии. М., 1918, стр. 11.
6. Там же.
7. История Белорусской ССР в пяти томах. Т. 1. Минск, 1972, стр. 119. (На белорусском языке).
8. Можно поэтому снизить к тогдашнему мнению небезызвестного великорусского патриота, чья историко-философская культура в наших глазах оказывается весьма поколебленной: "Северо-западный край — точно такая же Россия и на точно таких же основаниях, как сама Москва" (Данилевский И.А. Россия и Европа). Хотя уже тогда и Северо-западный и Юго-западный края начинают доставлять свидетельства, опровергающие свою русскую "истинность" в московском (великорусском) разумении: "Польские политики прикладывали к Белоруссии и Украине мерку шляхетской республики и католической административной нетерпимости, московские стали применять к ним аршин боярской монархии и нетерпимости православно-обрядовой" (Драгоманов М.П. Собр. полит. соч. Т. 1. Париж, 1905, стр. 16). "Бросив самый поверхностный и беглый взгляд на прошлое и современное Белоруссии, мы находим в ней весьма поучительные черты, а именно то общее явление, что как энергично ни насаждалась культура в народе, она никак не может привиться, если не соответствует духу народа и если она не проистекает из органической потребности национальной жизни". (Данила Баровик. Письма о Белоруссии. СПб., 1882. Цит. по: С.Х.Александрович. Пути родного слова. Мн., 1971, стр. 60 — на белорусском языке).
9. Есть, вопреки допущенному в начале огульному утверждению, своя интеллигенция в Белоруссии. Правда, в пропорциях, уступающих количеству кадров с высшим образованием, но способная сообщить народу национально-интеллектуальное ускорение, сдержать которое не в состоянии самая многочисленная рать чиновников и "генералов".
10. К тем временам восходят бытующие кое-где и поныне суждения: "Культура русская и культура польская слишком сильны, чтобы допустить возможность образования между ними третьей искусственной культуры — белорусской, не имеющей под собой реальной почвы ни в истории, ни в литературе, ни в жизни" ("Белорусская жизнь", 1911, № 20). Этот тезис имел авторитетного предшественника еще в 1867 году: "Дело идет об истреблении полонизма, а белорусы, как будто уже избавленные от опасности, хлопочут не о спасении от польского ига, а о сохранении местных особенностей! Да и есть ли эти особенности?" (Из письма И.С.Аксакова к М.О. Кояловичу. Цит. по: Самбук С.М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине XIX века. Мн., 1976, стр. 141). Великорусскому "молоту" вторила польская "наковальня": "Белорусский народ никогда не имел и не имеет своей литературы. Создала ее польская интеллигенция. Создана она искусственно." ("Правда", Варшава, 1910, на польском



языке).

11. Кузьмин А. Интернациональное воспитание... — "Полит. самообраз.", 1977, № 2, стр. 42.

12. Якуб Колас. Избранные произведения. Т. 2. Минск, 1976, стр. 34. (На белорусском языке).

13. "Мы считаем, — писал секретарь Северо-западного комитета РКП(б) В.Кнорин, — что белорусы не являются нацией и что те этнографические особенности, которые их отделяют от русских, должны быть изжиты" ("Звезда", 6.X.18 г.). На XI съезде партии наркому И.Сталину пришлось специально останавливаться на заблуждениях национальных нигилистов, противившихся самоопределению белорусской нации (см.: Стенографический отчет XI съезда РКП(б). М., 1963, стр. 213). Кто победил бы тогда в споре — пессимисты или оптимисты — сказать трудно, не выйди к тому времени "мужицкий язык" из-под соломенных стрех на бурлящие перекрестки эпохи. Белорусское движение той поры вместе со своими героями еще дождется достойного внимания и уважения потомков.

14. Напр., в БССР из 88 журналов 58 выходят на русском языке, 30 — на белорусском. На Украине соотношение (соответственно) — 185:75:108. Лишены белорусы, в отличие от украинцев, своего исторического журнала, "Иностранной Литературы" и т.д.

15. Между тем, когда-то юная революция и в этом направлении сделала было первый и, как оказалось, последний шаг, ставя задачу "дальнейшего углубления и расширения белорусизации в партийном и советском аппарате", выдвигая не менее благородный лозунг: "чтобы вся КП(б)Б заговорила на белорусском языке" (XI съезд КП (большевиков) Белоруссии. Минск, 1928, стр. 424 — на белорусском языке). Сегодня белорусская парторганизация — единственная, пожалуй, из всех республиканских, не жалующая свою родную речь на заседаниях, совещаниях, бюро, пленумах, сессиях, собраниях. Не думаю, чтобы и эта "интернационалистская" черта долго оставалась нерушимой. В частных беседах и в "урезать — так урезать" и здесь начинают все чаще отводить душу родным, незаменимым словом.

16. В.И.Ленин. Полн. собр. соч. Т. 45, стр. 357.

17. Вл. Соловьев. Национальный вопрос в России. СПб., 1888, стр. 106.

*От Редакции: "Письмо Русскому Другу" попало на Запад по каналам белорусского Самиздата. Настоящий текст печатается (с незначительными изменениями стилистического характера) с издания Белорусской Ассоциации Великобритании (Лондон, 1979).*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Содержание на английском языке . . . . .	3
Английское резюме некоторых материалов номера . . . . .	5

### *В СВЯЗИ С 20-ЛЕТИЕМ "СОВРЕМЕННОКА".*

ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. "Двадцать лет спустя..." . . . . .	6
ЛЕВ ФАБРИЦИУС. Памяти предшественников. . . . .	11

### *ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. СТИХИ И ПЕРЕВОДЫ.*

НИНА МУРАВИНА. Новые дороги и старые споры. . . . .	14
ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. Поэма без Предмета. . . . .	35
АЛЕКСАНДР ГИДНИ. Иосиф и его небратья. Повесть. . . . .	65
МАРИЯ ВОЛКОВА. Два стихотворения. . . . .	99
ГЕНРИХ ШАХНОВИЧ. Паспорт для Виктора Лурье. Памфлет. . . . .	101
ГАЛИНА РУМЯНЦЕВА. С т и х и. . . . .	115
П. ПЕТРОВ. Карл и Ингрид. Новелла. . . . .	119
ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ. Два стихотворения. . . . .	124
ДИМИТРИЙ ПАНИН. Четыре в одном. . . . .	125
А. РОСТОВСКИЙ. Два стихотворения. . . . .	132
ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Задачи русской интеллигенции. . . . .	133
Г. РЫСКИН. Из "Дневника коммунальной квартиры". Поэма. . . . .	148
БЕСЕДА С ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ. . . . .	151
ГЕННАДИЙ ПАНИН. А к р о с т и х. . . . .	160
ЕВГЕНИЙ ВЕРТЛИБ. Чем люди живы и чем мертвы? . . . . .	161
П. БОРИСОВ. Американская классика. С о п е т. . . . .	169
С. ТОЛ. Стихотворение. . . . .	169

### *ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ.*

ФРАНЦ КАФКА. Доклад в Академии Наук. Перевод с немецкого Т. ПРОКОПОВОЙ. . . . .	170
ТАТЬЯНА ФИЛАНОВСКАЯ. Жизнь после жизни. . . . .	177
ТОМАС ХАРДИ и АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ. Переводы РОЗЫ КРАСИЛЬЩИКОВОЙ. . . . .	181
ЕВГЕНИЙ КАРМАЗИН. Несказочное Королевство. . . . .	183
А. РИВИН. Казнь Хлебникова. П о э м а. . . . .	187

### *ИСТОРИОГРАФИЯ И ФИЛОСОФИЯ.*

АНДРЕЙ ДРУЖИНИН. Техника философской лжи. . . . .	190
ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Одиноким великан. . . . .	215
ГАРАС ГУНЧАК. Панславизм или панрусизм. . . . .	221

## К А Н А Д А

ОЛЕГ БУКОВ. Канадские перемены. ....	228
Хроникальная Заметка. ....	231
А.ГИДНИ. История философии в Канаде. (Глава из книги) ....	232
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН. Виражи канадской гимнастики. ....	241

## Ф О Р У М

ДИМИТРИЙ ПАНИН. Оценка оценке рознь. ....	243
Заметки Редактора. ....	246
Реплика. ....	249
АЛЬФРЕД ВЕДОМ. Спорить по-доброму. ....	251
ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ. Ответ Нефедову. ....	255
БАРУХ ШИЛЬКРОТ. Джунгли свободы. ....	259
О. Б. Докатился... ....	261
КАСТУСЬ АКУЛА. Когда претензии выше знания. ....	263
АЛЕКСАНДР УДОДОВ. Советско-китайская война? ....	266
МИХАИЛ АРМАЛИНСКИЙ. Сексуальная контрреволюция в США. . .	270
ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗА ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ. ....	279
Хроника. ....	281
К литературной общественности. ....	283

## Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Петр Болдырев. *Обзор журнала "Русское Возрождение"*, Виктор Темин. *Обзор журналов "Континент", "Эхо" и "Ковчег"*. Владимир Рудинский. *В.Максимов. Ковчег для незваных. А.Солженицын. Сквозь чад.* Кастусь Акула. *Майкл Эддоуис. Дело Освальда. Патриот или предатель?* (О Драже Михайловиче). Юрий Гидони. *Джордж Радвански. Трудно.* Михаил Белый. *Свидетельство. Мемуары Д.Шостаковича.* 284—315

Объявления. Обращения. ....	316
П р и л о ж е н и е. ПИСЬМО РУССКОМУ ДРУГУ. ....	321
Содержание на русском языке. ....	341

## РЕДКОЛЛЕГИЯ "СОВРЕМЕННОКА":

К.И.Акула, П.М.Болдырев, Л.Е.Гендлин, А.Г.Гидони, Е.Л.Кулешова,  
Г.А.Румянцева, У.А.Самчук, Л.Е.Фабрициус, Ю.Н.Харьян.

### Представители "Современника":

в США (Нью-Йорк) — П. Болдырев **Peter M. Boldyrev.**

**P.O. Box 243. Valley Cottage N.Y. 10989 U.S.A.**

в США (Бостон) — Ю.Кроль

**Y. Krol, 53 Colborne Rd., Brighton, Ma 02135 USA**

в США (Сан-Франциско) — Е.Вертлиб **E. Vertlieb.**

**1060 Roosevelt St. Monterey, CA 93940 U.S.A.**

**Tel. (408) 649-3810**

во Франции (Париж) — Е.Кармазин

**E. Karmazin. 21 rue de Chabrol. Paris, 10. France.**

в Канаде (Монреаль) — Ю.Борик

**Y. Borik, 5260 Victoria Ave., Apt. 1, Montreal, Canada**

в Израиле — Л.Гендлин

**L.Gendlin, Tapuz 3 / 8, Kfar Saba, Israel**

### ПОДПИСНОЙ КУПОН



Ваши Имя, Отчество и Фамилия . . . . .  
(Пожалуйста, печатными латинскими буквами!)

Ваш адрес: . . . . .  
. . . . .

Приложите Ваш чек или мани-ордер, выписанный на "Современник", и пошлите по адресу редакции: **SOVREMENNİK PO Box 2217, Station 'C'**  
**Downsview, Toronto, Ont. CANADA M3N 2S9**

Пожалуйста, включите посылное пожертвование в Ваш чек. Это — Ваша реальная поддержка "Современника" — независимого русского литературно-общественного журнала, хранителя и продолжателя лучших свободлюбивых традиций великой русской литературы.

Подписка на 1980-й год: ☐ \$15 ☐ \$20 Пожертвование журналу: ☐ \$

Всего: . . . . . долларов.

Ваша подпись: . . . . .

*Спасибо Вам!*

## ОПЕЧАТКИ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

В повести А.Гидони "Иосиф и его небратья" (стр. 32, строка 14 снизу надо читать: сомневаешься? На стр. 39 (строки 10-11 снизу): воспользовался вашим двойником?..

В стихотворении М.Волковой (стр. 54) первая строка должна читаться: Бывают минуты насыщенной лет.

В стихотворении И.Буркина (стр. 72) третья строка сверху должна читаться: От человека ответвляется книжка.

В статье В.Цукермана (стр. 113, строка 16 сверху) надо читать: "В другом отрывке и т.д.

В статье П.Болдырева (стр. 143, строка 18 сверху) следует читать: сужение проблематики и т.д. На стр. 152 пропущена сноска № 21: Н.Л.Данилевский. Россия и Европа. Нью-Йорк, 1966.

В статье Е.Кармазина (стр. 179, строка первая) нужно читать: своего рода ИЭП.

В его же статье "Оглянись во гневе, "Русская Мысль" (стр. 250, строка 3 сверху) надо читать: берет из медицины и т.д.

В статье А.Дыникова (стр. 186, строка 8 снизу) следует читать: Грибоедов.

В его же статье (стр. 186, строка 20 снизу) надо читать: Павел и т.д.

В статье Е.Кулешовой (стр. 196, первая строка снизу) следует читать: Самобичевание и т.д.

В статье Д.Панина "Возражения Солженицыну", на стр. 199 (5 строка сверху) следует читать: переворота.

В "Заметках Редактора" (стр. 210, первая строка снизу — в сноске) следует читать: 10 июня 1979 года.

В рецензии Е.Кармазина (стр. 268, строка 10 снизу) надо читать: отметить и т.д., а в рецензии О.Букова (стр. 279, строка 2 снизу) — поворот судьбы и т.д.

На стр. 258, в перечне книг и авторов "Книжного обозрения" В.Рудинского, после текста: Вацлав Сольски. Палач и его хозяин. Париж, 1979 — пропущено указание: (на французском языке).

**\$14.00**

**Special Issue**

**ISSN 0038-5948**

**"SOVREMENNİK" Publishing Ass., Inc.**

**P.O. BOX 2217, STATION 'C'  
DOWNSVIEW, ONTARIO, CANADA M3N 2S9**